

И. БАБЕЛЬ

ИЗБРАННОЕ



КРИТИКА
И КОММЕНТАРИИ

ТЕМЫ И РАЗВЕРНУТЫЕ
ПЛАНЫ СОЧИНЕНИЙ

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К УРОКУ

ШКОЛА КЛАССИКИ

КНИГА ДЛЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ



Книги
серии «Школа классики»

- *посвящаются писателям, чье творчество изучается в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях;*

- *содержат произведения, включенные как в базовую, так и в углубленную программы курса литературы;*

- *отличаются от обычных изданий классики тем, что предоставляют учителям богатый справочный и методический материал;*

- *помогают учащимся расширить представление о месте и роли писателя в литературном процессе (вступительная статья, высказывания критиков, комментарии, библиография, темы сочинений, развернутые планы некоторых из них и т. п.)*

Книги серии «Школа классики» незаменимы также для выпускников и абитуриентов.

Книга для ученика и учителя

И. БАБЕЛЬ

ИЗБРАННОЕ

МОСКВА
АСТ
ОЛИМП
1996

УДК 82
ББК 84(2Рос-Рус)6
Б 12

Серия «Школа классики» — ученику и учителю

Составление, предисловие, комментарии *Е. Шкловского*
справочно-методические материалы *Л. Страховой*

Бабель И. Э.
Б 12 Избранное. — М.: Олимп; Издательство АСТ, 1996. — 592 с. — (Школа классики).

ISBN 5—7390—0346—6 (общ.)
ISBN 5—7390—0307—5 (Олимп)
ISBN 5—7841—0073—4 (Издательство АСТ)

Настоящее издание кроме произведений И. Э. Бабеля, творчество которого изучается в школе, содержит много дополнительных материалов в помощь ученику и учителю. Это — вступительная статья, комментарии, летопись жизни и творчества писателя, материалы к биографии, высказывания критиков, темы сочинений и рефератов, задания для самостоятельной работы и др.

Книга адресована учащимся, выпускникам и абитуриентам.

ББК 84(2Рос-Рус)6

СТРАСТЬ И БОЛЬ ХУДОЖНИКА

Немногим российским писателям, оказавшимся в центре литературного процесса 1920-х годов, удалось пережить свое время и стать не только достоянием истории литературы, но — частью литературы, которая читается во все времена. Между тем Исаак Эммануилович Бабель (1884—1940) был не менее, чем, скажем, А. Серафимович или Л. Сейфуллина, Вс. Иванов или Д. Фурманов, прописан в своей эпохе и стремился к ее осмыслению.

Жить идеями и страстями своего времени в те годы грандиозного исторического разлома, происшедшего именно в России, быть свидетелем и участником этих «эхтонических» сдвигов для молодого, входящего в литературу писателя было не только необходимостью, но и мощнейшим творческим импульсом.

Первая мировая война, революция, гражданская война, разрушение многовекового уклада жизни с его традициями — все это взывало к осознанию и художественному запечатлению.

Не случайно именно в те годы появилось множество новых писателей, прошедших через все эти исторические испытания, с большим жизненным опытом. Эти писатели чувствовали себя летописцами эпохи, творцами новой литературы. Новой не только по форме, хотя многие из них стремились и к этому, понимая, что происходящее на их глазах требует каких-то иных, нетрадиционных способов и средств художественного выражения, напряженно искавших их, что сделало 20-е годы — годами расцвета в литературе, годами обещаний и надежд.

Бабель входил в литературу именно в это время. Появившись в 1916 году в Петербурге после окончания Коммерческого института, он показал несколько произведений Горькому, и тот опубликовал в своем журнале «Летопись» два его рассказа — «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла». Оба рассказа имели неожиданный резонанс. За один из них Бабеля обвинили в стремлении ниспровергнуть существующий строй, за второй — в порнографии, и, если бы не февральские события 1917 года, не исключено, что молодому писателю действительно пришлось бы оказаться на скамье подсудимых.

В рассказах двадцатидвухлетнего Бабеля был явлен новый, совершенно индивидуальный и непохожий на другие голос и взгляд. И дело не столько даже в проблематике, в тех ранних рассказах не такой уж и необычной (писатель будет постоянно обращаться к ней): еврейский мещанский быт, детство, эротические мотивы и т. д., но прежде всего — в художественном видении писателя, в его интонации, в его поэтике. Бабель и не скрывал, что ориентируется на французскую литературу, неоднократно заявлял, что в русской литературе должен появиться свой Гюи де Мопассан.

В те годы, по словам самого Бабеля, он писал по рассказу в день, носил их Горькому, но тот так же методично их отвергал. В конце концов Горький посоветовал ему «пойти в люди», что Бабель и сделал, переменив в последующие несколько лет ряд занятий: «был солдатом на румынском фронте, служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и Тифлисе и проч.». И хотя в эти годы в прессе появляются его очерки, только в 1923 году он вновь всерьез принимается за литературную работу.

Сомнения в собственном мастерстве, строжайшая требовательность к себе как писателю всегда были присущи Бабелю, работавшему очень медленно и мучительно. В 1927 году он писал из Парижа, переживая очередной творческий кризис: «Жизнью своей я не совсем доволен, можно бы сделать больше, чем я делаю, но все же мне кажется, что медленная моя работа подчинена законам искусства, а не халтуры, не тщеславия, не жадности».

Между тем его медлительность и долгое молчание становились источниками разных слухов и предположений. Бабель же в письмах главному редактору журнала «Новый мир», одному из наиболее тонких своих критиков Вяч. Полонскому, как и другим знакомым, пытался объясниться и опровергнуть ложные измышления о своем литературном «политиканстве».

Стиль писателя, собственно, и выделивший его сразу как яркую художественную индивидуальность, требовал труда кропотливейшего, чтобы благополучно пройти рифы вычурности и цветистости, не впасть в чрезмерную литературность. Как верно отметил А. Холковский, конфликт между «точностью» и «пышностью», фактографией и литературностью — ведущая ось бабелевского стиля. Именно конфликт, напряжение между двумя полюсами, а не простое решение в пользу «правды» или чистого художества.

Сам Бабель говорил об особенностях своего труда: «...Полученные от действительности впечатления, образы и краски я забываю. И потом возникает одна мысль, лишенная художественной

плоти, одна голая тема... Я начинаю развивать эту тему, фантазировать, облекать ее в плоть и кровь, но не прибегая к помощи памяти... Но удивительное дело! То, что кажется мне фантазией, вымыслом, часто впоследствии оказывается действительностью, надолго забытою и сразу восстановленною этим неестественным и трудным путем. Так была создана «Конармия», причем даже фамилии героев, которые, казалось мне, я придумал, оказались подлинными именами людей».

Бабель умел быть предельно точным и простым, что доказывают некоторые его рассказы и очерки. Однако, не в этом заключалась та особенность, которая и делала его оригинальнейшим художником. Тем не менее в письме Горькому от 25 июня 1925 года он признавался: «В начале нынешнего года — после полуторагодовой работы — я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычуры и цветистость».

Бабелевская проза — штучная работа, неподвластная тиражированию. Каждый рассказ писателя требовал обтачивания и обтачивания, слово к слову — для единственного и неповторимого сочетания всех пропорций, которое находила писательская интуиция. И запоминаются бабелевские рассказы не сюжетами или событиями, какими бы те необычными и яркими ни были. Они памятны уникальной интонацией и цветовой гаммой, контрастами и сочетанием слов, афористичностью и своеобразием речи персонажей, как, впрочем, и самого рассказчика.

Дар Бабеля — сведение воедино всех этих разноплановых стилевых элементов текста, часто противоречащих друг другу, — патетики и иронии, заурядной обыденности и экзотики, физиологизма и лирики, возвышенного и низменного, веселого и печального и т. д., нахождение некой равнодействующей, превращавшей рассказ в стихотворение, переплавляющей прозу в поэзию.

Много говорилось о романтизме Бабеля. Наверно, первоначальный творческий импульс в нем действительно был романтическим. Но в его творчестве присутствует опять же противоречивое единство романтизма и реализма, острого чувства жизненной правды и потребности ее поэтического преображения, которое часто перехлестывало через все границы, создавая уникальное своеобразие бабелевских сочинений.

Живший с детского возраста в Одессе, писатель впитал в себя горячее солнце юга и страсть считал основополагающим началом человеческого бытия, без которого невозможна полнота жизни и счастье. Он всегда питал интерес к наиболее сокровенным и интимным моментам человеческого существования, в которых человек может раскрыться полнее и неожиданнее, чем в повседневно-рутинном бытовании, к мгновениям наибольшей жизненной ин-

тенсивности, наибольшей остроты чувств (и чувственности в том числе), где реальность как бы проявляется в наиболее чистом виде.

Рассказчику постоянно видится мираж полноты и концентрации жизни, недоступной ему самому, превосходящей привычное — в страсти ли, жизненном ли действии, в искусстве ли. Он стремится запечатлеть именно эти мгновения, ловит их в самых разных человеческих проявлениях — как, например, в раннем рассказе «Вдохновение» — о приятеле, который хотел стать писателем и, несмотря на неодаренность, настолько отдавался творчеству, что, по сути, сгорал в этом огне.

Бабель может пересказать чужое произведение, включая литературу в литературу («Гюи де Мопассан») как закономерную и органическую часть жизни, описать театральный спектакль, если в нем обнаружится этот всегда волновавший его сюжет полноты и концентрации.

Так, в рассказе «Ди Грассо», где повествуется о детстве и о пользовавшемся огромным успехом в Одессе спектакле с участием знаменитого итальянского актера ди Грассо, рассказчик с сочувствием замечает: в его игре каждое слово и движение утверждали, что «в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира».

Вот и самого Бабеля как художника интересовали не «безрадостные правила мира», а исступление страсти, далеко, увы, не всегда благородной, но всегда дающей богатый материал для размышлений о человеке.

Надо сказать, что писатель жадно искал этот материал, постоянно выходя за пределы обыденности. Или в самой этой обыденности находил вспышки человеческого исступления, одержимости, в чем бы они ни выражались — в революционном ли насилии, в приводящей к убийству ревности («Улица Данте») или кровавой безжалостности еврейского погрома («История моей голубятни»).

Про Бабеля нельзя сказать, что он, как многие романтики, противопоставляет высокое и низкое, видит высоту человеческого духа, но изображает грязь человеческой жизни. Он не только не противопоставляет «высокого» и «низкого» в изображении реальности, для него как бы не существует не только границы между ними, но и самих этих категорий, этого романтического дуализма — противополагающего ли дух и плоть, ум ли и сердце. Почти все его рассказы выдержаны в высоком стилистическом регистре, проникнуты почти библейским пафосом.

В рассказе «Пан Аполек» автора восхищает «прелестная и мудрая жизнь» героя, местного художника, изобразившего на иконах в ликах святых окрестных жителей. Тому не кажется зазорным расписывать стены костела лицами простых людей, и

приглашенные туда ксендзом именитые граждане вдруг узнают в апостоле Павле — выкреста Янека, «боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца», а в Марии Магдалине — «еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей».

Нет низкого и высокого, есть — человеческая жизнь, святая и грешная одновременно, горячая и исступленная, судорожная и мятущаяся, тревожная и страстная. Нет, Бабель не возводит ее в категорию святости, но выступает в качестве ее апологета. Как пишет он в начале того же рассказа «Пан Аполек», «сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету». Все эпитеты и определяемые ими существительные здесь — из разряда романтических. Автор отказывается именно от дуалистического взгляда на жизнь, противопоставляющего «низкую» и «грязную» реальность, — «высокой» и «чистой».

Своей неповторимой риторикой, богатством палитры своей метафорической речи Бабель приподнимает изображаемую реальность, как бы удостоверяя ее истинность, какой бы отвратительной и неблагообразной она ни казалась. В ней, несмотря на частый ее комизм и даже пародийность, для него все равно присутствует высокий лад.

Страсть — постоянно в центре бабелевского внимания, даже если самими персонажами она не осознается, а воспринимается как нечто вполне ординарное. Зато художник находит в ней материал для исследования.

Не случайно сложными были отношения Бабеля с религией, особенно христианской. Для него неприемлемыми были ее отрицание страсти, желания, плоти, горячего полнокровия человеческого мира, его выхолащивание и подмена страстями мертвенными, лишенными огня живой жизни.

В рассказе «Конец св. Ипатия» Бабель пишет о закрытии монастыря, переданного для заселения работницам ткацкой фабрики. «Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде...»

Именно мертвенность, холодность — мотив, сопровождающий сцены, связанные так или иначе с религией. Отметим, что бабелевское отношение к смерти — какое-то особенно прямолинейное и подчеркнуто материалистическое. Покойник для него не просто мертвое тело. Покойник для него — труп, то есть нечто вещное, тяжелое и холодное. Вот изображение мертвого в рассказе «Эскадронный Трунов»: «Крышка гроба была открыта, полу-

денное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье».

Писатель намеренно избегает какой бы то ни было красивости или эвфемизмов в изображении смерти и смертного. Можно было бы предположить, что это пришло к Бабелю после того, как он насмотрелся ужасов гражданской войны, отразив это в «Конармии», где изображение смерти, ставшей неотъемлемой и если не совсем привычной, то во всяком случае вполне обыденной частью реальности, часто предельно натуралистично.

Однако и ранние рассказы Бабеля, написанные еще до «Конармии», где взгляд писателя во многом сходен, свидетельствуют, что стилевые установки его прозы хотя и изменялись в сторону большей простоты и натуралистичности, но в своих мировоззренческих истоках оставались во многом неизменными.

Смерть принадлежит в художественном мире Бабеля к тем экзистенциалиям, в которые писатель всматривается особенно пристально, как и в страсть. Смерть — начало, которое равно присуще жизни и от которого невозможно уйти. В рассказе «Баграт-Оглы и глаза его быка» он так описывает смерть животного: «Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть и пал на землю в неизмеримых страданиях». Пожалуй, это единственный в прозе Бабеля взгляд в глаза умирающему. В остальных смерть равняется смерти, в ее изображении нет толстовского стремления заглянуть «по ту сторону». Автор не отворачивается, но как бы внутренне смиряется перед неизбежностью смерти, описывая ее только внешне, усиливая изображение экспрессией стиля. Можно сказать, что Бабель таким образом вытесняет «неизмеримые страдания», признавая статус-кво смерти в бытии человека. Он как бы говорит: да, смерть ужасна и неизбежна, но так дано и ничего с этим не поделать. Приукрашивание же ее — от внутренней слабости. Поэтому он предлагает другой взгляд — прямой и мужественный, может, более трудный, чем какой-либо иной.

Однако именно так увиденная реальность становится в его произведениях своего рода гиперреальностью. Она встает со страниц произведений Бабеля как нечто фантастическое, гиперболичное, играя ослепительными красками, поражая своей резкостью. Она почти не знает полутонов, почти всегда дана в превосходной степени.

Плоть мира в прозе Бабеля как бы обнажена, подчеркнуто физиологична и особенно осязаема. Боцман в рассказе «Ты проморгал, капитан!» — «колонна из красного мяса, поросшая красным волосом», и эта характеристика повторяется в ряде других его произве-

дений. Исследователи обращали внимание на то, что в женщине он всегда выделяет прежде всего грудь — как важнейшее природное начало, как его символ. Грудь — «добрая», «пудовая» и т. д. В изображении писателем человека и его проявлений есть нечто раблезианское, преувеличенное, демонстрирующее именно природную телесную мощь, которой художник упоен и зачарован.

В рассказах Бабеля — яркий солнечный свет, и все, что мы видим в них, безжалостно и резко происходит на пронзительном свету, лишая предметы мягкости очертаний и, наоборот, высвечивая грани и углы. В очерке «Одесса» писатель прямо говорит о том, что в русской литературе не хватает солнца. «Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной суете». Ему близко «плодородящее яркое солнце», которое он находит иногда у Гоголя, пришедшего из Украины, у Горького, в любви которого к солнцу «есть что-то от головы», и у того же Мопассана.

Но он любит и лунный свет. Луна сопровождает многие события в его рассказах, которые случаются именно ночью, луна у него — зрак ночи, но вместе с тем она несет свет и оттого ночь редко бывает темной. Но главное, что луна — тоже знак некоей полноты и насыщенности жизни, как и солнце, она тоже придает миру не только романтическую приподнятость и отчасти даже загадочность, но и праздничность.

Удивительно, но Бабель даже в самых своих трагических сочинениях из циклов «Конармия» и особенно «Одесские рассказы» почти всегда праздничен. Например, в рассказе «Переход через Збруч» картина перехода войск через реку с выстрелами, взрывами и людскими криками напоминает скорее картину ярмарочного торжища, нежели бой. «Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям». И только, пожалуй, космическо-батальные образы вроде «штандартов заката», веющих над головами, и брутально-апокалипсические вроде оранжевого солнца, которое «катится по небу, как отрубленная голова», своей экспрессией напоминают, что речь идет о войне и о смерти.

Эта особенность бабелевского художественного мира, причисленная к характерной для него парадоксальности, сразу была отмечена в критике. Як. Бенни писал: «Мучительные противоречия, встречающие мечтателя-Бабеля на пороге жизни, не могут оттолкнуть его даже тогда, если жизнь предстает ему как страстная, жестокая, грубая, кипящая борьба. Бабель оглядывается, нечто видит и забывает себя... Тогда лицом к лицу остается Бабель художник и сверкающая, кипящая, великолепная в своей

самозаконности действительность, даже малый оттенок которой ни в звуке, ни в краске, ни в боли и радости, в трагедии так же, как в смешном, не избежит превратившегося в сплошные глаза художника».

М. Горький уместно сравнил конармейцев Бабеля с запорожцами из гоголевского «Тараса Бульбы». Вот как автор описывает начдива Савицкого в рассказе «Мой первый гусь»: «Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты». Если учесть и «красоту его гигантского тела», то перед читателем не столько конармеец, сколько былинный герой. Похоже писатель рисует и одесских налетчиков вроде Бени Крика или Фроима Грача, «старика в парусиновом балахоне, громадного как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой».

В изображении человека у Бабеля есть некоторая театрализованность — и эффектная статуарность поз, и броская красочность одежды, и лаконичная афористичность фраз, ставших впоследствии поговорками — вроде широко известных из «Одесских рассказов»: «Маня, вы не на работе» и т. д.

В рассказах Бабеля диалоги не столько диалоги, сколько монологи, направленные в никуда, риторика как средство самовыражения и самоутверждения персонажей. В рассказе «Закат», позже на основе которого была написана пьеса, Беня Крик несколько раз в разных местах повторяет одну и ту же афористическую и вполне театрально-риторическую фразу. «Еще не время», отвечает Беня Крик своему брату Левке на предложение убить их отца Менделя Крика, «но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка». Бабелевские персонажи говорят не столько друг с другом, сколько с миром, емкой спрессованной фразой как бы заявляя себя и о себе. Любая фраза — это их выход на просцениум бытия, как в античной трагедии. И в этом плане бабелевские рассказы — удивительный сплав эпоса, трагедии и лирики. Вместе с тем Бабель замечательно передает образ речи своих героев — в том сложном противоречивом стилистическом сплаве, который выражает не только их происхождение, но и образ мышления. Как точно заметил автор одного из первых откликов на появившиеся в периодике сочинения Бабеля Г. Горбачев, писатель обладал исключительным чутьем к разнородным стихиям современного разговорного и литературного языка. «В передаче Бабеля на фоне утрированного часто до пародии литературного приподнято-романтического языка великолепно ощущаются: язык крес-

тьянски-солдатский с внедренными в него элементами традиционно-торжественного («поклон от бела лица до сырой земли») или сказочного («я там был, самогон-пиво пил») народного стиля и вульгаризованного газетно-митингового жаргона («Письмо», «Соль», «Тимошенко и Мельников»): одесский полублатной жаргон налетчиков-евреев; речь талмудистов западного края; переработанная мещанским бытом города крестьянская речь с искаженными отражениями языка церковной поэзии, бульварно-трактирного говора и обыденного интеллигентского жаргона...»

Между тем, оставаясь прежде всего художником, Бабель сумел показать истинное лицо революции. Реакция насилия, охватившая страну вместе с гражданской войной и в связи с другими кровопролитиями первой трети века, стала для Бабеля объектом художественного исследования. Всматриваясь в природу человека, в самые простые и вместе с тем самые глубинные проявления его природы, он писал о насилии как о проникающей внутрь человека заразе, когда человек становится зверем, когда ему мало убить, а нужно мучить и истязать себе подобных. Бабель рисует истязания именно как жертвоприношение — богу войны, богу, требующему крови и мук. Спокойствие, с каким он это делает, на которое обращали внимание все его критики, — спокойствие естествоиспытателя и спокойствие ужаса, пытающегося преодолеть самое себя перед лицом человеческой одержимости — той самой, которая так увлекала молодого Бабеля.

Его лирический рассказчик в «Конармии» Кирилл Васильевич Лютов, с которым не надо путать самого автора, хотя они во многом и близки, отдает себе отчет в собственном «некотором щегольстве кровожадностью». Автор же показывает реальную кровожадность — равнодушную либо агрессивную и оправдывающую саму себя, которая проявлялась так страшно в самой жизни. И дело не только в том, что, как говорит один из персонажей, «таперя кажный кажного судит... И на смерть присуждает, очень просто...», но и в желании причинить боль и муку.

Вот как говорит об этом другой персонаж: «Стрельбой... от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...»

Не случайно мотив безумия — лейтмотив конармейского цикла. Человек теряет ощущение подлинной реальности, теряет сознание, как это описано в рассказе «Измена», где три красноармейца, охваченные навязчивой идеей измены, пишут объяснительную следователю по поводу учиненного в госпитале дебоша.

Бабель не случайно во многих рассказах предоставляет слово самому персонажу, стилизует произведение под документ, будь то докладная, письмо, объяснительная или сказ. Главное, что в этих формах ярко выражается сознание тех людей, которые были захвачены вихрем революции и гражданской войны, принеся в нее свои представления, часто смутные и фантастические.

Бабель с уважением относится к этой революционной стихии, к этим людям, жаждущим правды и справедливости, ничуть не сомневающимся в правоте своего дела, но это не мешает ему выявлять те извороты непроясненного сознания, которое часто руководит их действиями. В исследовании этого сознания Бабель двигался в одном направлении с другим большим художником советской эпохи — А. Платоновым, который строил микрокосм своих произведений на основе того же фантастического сознания.

В знаменитом рассказе «Соль» тот же самый Балмашев, который «кончает» мешочницу, так объясняет ей ее вредность: «Как присужденные каторжане вытягивают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать...» и т. д.

Заметим, что весь монолог этот выдержан в стилистике плаката: генерал с вострой шашкой на тысячном коне. Ленин и Троцкий, выводящие темную массу на вольную дорогу жизни, — все это броско, укрупнено, как в «Сказке о Мальчише-Кибальчише» А. Гайдара. И это не риторика, но формы сознания, в которых боец осознает реальность. Герой не просто видит мешочницу, но «несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются...». Плакат, лозунги, газетные штампы большевистской пропаганды впитаны этим сознанием и слиты в гремучую и весьма действенную смесь. Сознание это, подобно первобытному, наделено почти художественным воображением, оно творит миф из осколков плохо переваренных идеологем, слухов и пр., но — человек живет в этом мифе, и тот заслоняет от него не только подлинную реальность, но и универсальные, непреходящие нравственные ценности.

Лирический рассказчик в «Конармии» (как во многом и сам автор) ощущает свою внутреннюю отдельность от той общей массы, которая, погружая каждого в отдельности в эту стихию коллективного бессознательного, наделяла его вместе с тем почти былинной силой. Стихия притягивает его возможностью слиться с ней и тем самым тоже обрести силу и твердость, преодолеть со-

мнения. Но она и отталкивает его, не способного полностью отрешиться от впитанной культуры и общечеловеческих ценностей.

Эта неспособность (как и желание) становится в рассказах Бабеля предметом напряженной экзистенциальной и лирической рефлексии. Не желая отстраняться от событий, больше того — находясь в самой их гуще, рассказчик и для себя попытался выработать новый взгляд, найти новую цельность, чтобы перестать чувствовать себя чужим.

В рассказе «Мой первый гусь» эта рефлексия носит иронический и даже юмористический характер: казаки принимают нового человека в очках (очки — символ интеллигента, грамотного, из «киндербальзамов») только тогда, когда он выказывает некоторую похожесть на них, а именно совершает мародерский поступок — не выдержав голода, убивает гуся у местной крестьянки. Отношение к грамотности у конармейцев презрительно-агрессивное, как и вообще к культуре.

Эта же тема варьируется и в рассказе «Песня», где рассказчик, уже заматерев и привыкнув к насилию, учуяв мясо в щах хозяйки, требует себе еды, потрясая оружием. Он устал, голоден, ему не до сантиментов». Война так же, как и других, расчеловечивает его. В этом рассказе насилию противостоит песня, которую поет боец и которая действует на хозяйку в гораздо большей степени, чем угрозы. Песня здесь — символ все той же культуры, которая делает людей более человечными, возвращает к их истинной сущности.

В рассказе «Смерть Долгушова» эта тема приобретает еще более драматический характер. Раненный насмерть телефонист просит Лютова «стратить» на него патрон, поскольку ему все равно не жить, смерть была бы только избавлением от лишних мук, к тому же «наскочит шляхта — насмешку сделает». Но Лютов не готов к этому — вот так запросто лишить жизни человека. Он отходит, не в силах выполнить просьбы Долгушова. Но уверенности в своей правоте в нем нет, так что он почти с благоговением рассказывает о решительности, с какой исполняет просьбу Долгушова взводный Афонька Бида. Ему претит собственная мягкотелость, как отвратительна она и Афоньке Биде, который потом порывается рассчитаться с ним, переложившим на него это тяжкое дело. «Уйди, — ответил он бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...»

Здесь правота Афоньки для рассказчика очевидна. Показывая растерзанное тело Долгушова («Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны»), он внутренне на стороне Афоньки. Жалость и жестокость в силу обстоятельств меняются здесь местами, жалость становится жестокостью, и это настраивает рассказчика на переоценку ценностей, заставляет усом-

ниться в них, теряющих свою актуальность, а главное, абсолютность в конкретных жизненных ситуациях, которые выворачивает наизнанку война. Не случайно этот мотив — переоценки ценностей — появляется и в других рассказах, как, например, в рассказе «После боя», где Лютов снова оказывается не на высоте и вымаливает у судьбы «простейшее из умений — уменье убить человека».

Бабель прекрасно понимал, что происходившие события имеют мировой масштаб, что революционная ломка старого мира неизбежно сопряжена с насилием и кровью, что приход масс в революцию влечет за собой и общее раскультуривание. Даже сочувствуя человеку, стремящемуся к справедливости, даже стараясь принять действительность такой, как она есть, он все равно оставался приверженным старой культуре, все равно не мог отделаться от предчувствий гибельности избранного страной пути.

В рассказе «Гедали» старый еврей Гедали, владелец лавки, где есть все — от золоченых туфель и корабельных канатов до сломанной кастрюли и мертвой бабочки, мечтает о «сладкой революции» и «Интернационале добрых людей» и ужасается стихии, которая, как и контрреволюция, хочет стрелять и не может не стрелять. Он ужасается революции, которую, как самоуверенно отвечает старику рассказчик, «кушают с порохом и приправляют лучшей кровью...».

Мечта о «сладкой» революции была свойственна многим, тогда как в реальности та пахла «сырой кровью и человеческим прахом». Бабель видел это своими глазами и нисколько ее не идеализировал. Об этом красноречиво свидетельствует его дневник тех лет, который он вел в походе Конармии, делая записи впечатлений прямо по горячим следам событий (отрывки из его дневника включены в настоящий сборник). Революция приходила вместе с насилием, которое развязывало самые низменные инстинкты в человеке, а главное — обесценивала человеческую жизнь.

Жестокость и кровь врываются в рассказы Бабеля, окрашивая реальность в багряные тона. Что ни рассказ, то убийство или изображение смерти, мародерство или насилие. В рассказе «Письмо» приводится послание мальчика Курдюкова матери о том, как сначала папаша, деникинский «стражник при старом режиме», убивает брата мальчика, а спустя некоторое время другой брат, мстя за него, «кончает» самого папашу. «Кончает!» из «верного винта» мешочницу красноармеец в рассказе «Соль». В рассказе «Берестечко» описывается, как казак Кудря из пулеметной команды убивает за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался, и тогда Кудря «взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря

правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись».

Примеры можно множить, и неудивительно, что одни из лучших критиков Бабеля Вяч. Полонский и А. Воронский в статьях, включенных в эту книгу, каждый старался прикрыть писателя от возможных обвинений со стороны идеологически ортодоксальной критики (а вскоре сам С. Буденный, легендарный командарм, выступил с гневным протестом против очернительства и окарикатуривания своих бойцов) в том, что он дискредитирует революцию и Красную Армию.

Оба критика писали, что Бабель приветствует революцию, несмотря на все ее противоречия и перехлесты. О том же писал М. Горький, отвечая Буденному, что Бабель не только не очернил, но, напротив, украсил конармейцев изнутри, — явно романтическое преувеличение самого Горького.

В самом деле, что уж такого замечательного можно усмотреть в изображенных писателем казаках-конармейцах, в этой жестокой, малокультурной, темной массе, слепо рвущейся к обещанному светлому будущему? Да так ли и рвущейся? Будничные интересы персонажей сосредоточены в основном вокруг лошадей, еды, женщин, награбленных вещей.

Самоотверженность — да, одержимость и исступление — безусловно. В остальном же — усталость от долгих дней затянувшейся войны, развязанные инстинкты, желание грабить, мучить и разрушать, прикрываемые все той же идеей мировой революции. Писатель видит их «правду» — правду живых людей, возмечтавших о неведомом лучшем будущем, почти насильно втянутых в войну, подхваченных стихией вседозволенности и бесконтрольности. Однако эта правда не только не утешает, но, напротив, внушает тревогу и растерянность, сомнение в правоте революционного дела.

Мотив осквернения проходит через большинство рассказов Бабеля. В них конармейская вольница самым настоящим бедствием проходит через селения и городки Западной Украины и Галиции, разрушая небогатый, но налаженный быт и многовековую католическую культуру, как и культуру еврейских местечек.

О еврейской теме в творчестве Бабеля необходимо сказать особо, так как в работах о нем ее долгое время старались обходить. Это была большая боль Бабеля. Российское еврейство, долгое время не имевшее права селиться в больших городах (за небольшими исключениями), концентрировавшееся главным образом в черте оседлости (Одесса была одним из крупнейших центров этой

оседлости), не имевшее доступа к высшему образованию, принадлежало к числу угнетаемых в империи национальных меньшинств. Возможность избавиться от этого гнета, получить равные с русским большинством права, жажда справедливости влекли евреев, как образованных, так и необразованных, к революции. Бабель принадлежал к их числу.

В конармейских рассказах писатель изображает еврейский провинциальный местечковый мир, захваченный революцией и страдающий как от белых, так и от красных. Бабель никогда не принадлежал к ортодоксальному иудейству, хотя в детстве, как и большинство еврейских детей, изучал Талмуд и Тору. Но эта среда была хорошо знакома ему и далеко не безразлична. С какой теплотой нарисованы им мудрый старик Гедали, раввин Моталэ Брацлавский или его непокорный сын Илья, юноша «с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини»...

Бабель запечатлевает неповторимое своеобразие этого мира с его хасидской привязанностью к земным радостям, с его оригинальной жизнеутверждающей философией и поэзией, впитавшей в себя многовековую историю еврейского народа. Писатель сострадает ему в его бедствиях, страницы, посвященные ему, полны грусти, но вместе с тем этот мир уже далек от него, он кажется ему косным и обреченным перед наступающим новым миром.

Другим, почти прямо противоположным, предстает еврейский мир в «Одесских рассказах», праздничных, полных юмора и искрометного задора. И наверно, не случайно оба главных цикла создавались Бабелем почти одновременно, находясь в сложном взаимодействии друг с другом, своего рода взаимном притяжении-отталкивании.

«Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе!» Мир налетчиков с Молдаванки тоже представляется каким-то ненастоящим, хотя и он связан с насилием и кровью. Правда, кровь здесь отодвигается на задний план, задергивается завесой иронии и стилизации. Мир Молдаванки патриархален в такой степени, что обедающий за столом в кругу семьи самый страшный бандит, «король» Беня Крик или пытающийся выдать замуж великовозрастную дочь биндюжник и пахан Фроим Грач почти не воспринимаются как убийцы и грабители.

Впрочем, не так уж были не правы те критики, которые упрекали писателя за романтизацию бандитов, пусть и возникавшую невольно. Это суд реализма над искусством иного плана. Как верно писал один из наиболее интересных исследователей творчества Бабеля Л. Ливщиц, «условный, лукаво-иронический, романтически стилизованный мир «Одесских рассказов» — прихотливая, веселая и странная мечта слабости о силе, мечта тоскливого,

крохоборческого существования о яркой, праздничной, нерасчетливой жизни. Мечта человека социально и национально униженного о справедливости...».

Истории о знаменитом Бене Крике сводятся в основном к повествованию о его благородстве. Когда один из его сподручных случайно убивает при ограблении ни в чем не повинного человека, Беня устраивает ему пышные похороны, заботится о пенсионе его матери, а убийцу отправляет на тот свет. Другая история — о том, как Беня Крик разобрался с собиравшимся его взять приставом, спалив здание полиции как раз тогда, когда городовые собирались на облаву.

Беня окружен ореолом Робин Гуда, благородного борца с богатыми, отчаянным, бесстрашным и хладнокровным экспроприатором чужого добра. Правда, все это изображается не слишком серьезно, напротив, с постоянной насмешливой улыбкой.

Бабель говорит о Короле восхищенным языком легенды, языком мифов Молдаванки, говорит колоритно, с навсегда вошедшими в повседневную речь и ставшими летучими фразами, говорит так, как рассказывают притчи.

Этот мир, так красочно и весело нарисованный писателем, живет по своим законам, как бы изолированный от остального мира — мира унижений и страданий. Праздник кончается тогда, когда Бабель пишет действительно реалистические рассказы, будь то «Закат», где Беня Крик предстает уже совсем в другом свете — безжалостным и циничным «хозяйчиком», недрогнувшей рукой отстраняющим от дела отца, или драматические рассказы о детстве — «История моей голубятни» и «Первая любовь», где, в частности, повествуется о еврейских погромах.

Именно в рассказах о детстве Бабеля с огромной силой запечатлена неизжитая потрясенность — потрясенность и растерянность ребенка перед непостижимой жестокостью людей, в том числе и знакомых. Один из них — инвалид, охваченный общей кровавой страстью, отнимает у ребенка только что купленного на рынке голубя и убивает его, измазав внутренностями раздавленной птицы лицо ребенка. Или тот мужик с голубыми глазами, который разбивал деревянным молотом раму в еврейском доме, «замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы».

Бабеля мучила загадка этой «доброй улыбки» — загадка бессознательности, граничащей с безумием. Загадка стихии, превращающей вроде бы обычных нормальных людей даже не в разъяренных зверей, а в спокойных и хладнокровных убийц, наслаждающихся своей силой и властью. Нечто похожее, с чем столкнулся он и в Первой Конной.

Бабель остро чувствовал противоречивость человеческой приро-

ды. Парадоксальность его художественного мира в том, что жизнеутверждающая красота и яркость этого мира, его экспрессивный лиризм, его патетика сочетаются с изображением часто не самых привлекательных человеческих проявлений и поступков.

Писатель неутомимо искал свой материал, постоянно выходя на самые болезненные и трудно проходимые в те времена все усиливающегося идеологического диктата темы, странствуя по стране и за рубежом, встречаясь с самыми разными людьми — от крестьян до наркома внутренних дел. Он пытался постичь не только смысл исторических событий и процессов, которым был свидетелем, но и сложность человека, захваченного мощным потоком истории. Сложность, уходящую в глубину.

Бабель мало печатался, но работал много. Некоторые из его сохранившихся рассказов («Закат», «Справка», «Колывушка», «Фроим Грач» и ряд других) были опубликованы только в 60-е годы. Пробовал он писать и произведения крупной формы, по свидетельству современников, работал над романом о ЧК, над повестью «Еврейка». По утверждению В. Шенталинского, автора журналистского расследования о последних днях Бабеля, во время ареста в 1937 году у писателя было изъято двадцать четыре папки с рукописями. К сожалению, они так и не найдены.

Но и того немногого, что им создано и стало достоянием читателя, оказалось достаточно, чтобы его имя прочно вошло в первый ряд русских писателей двадцатого столетия.

Евгений Шкловский

РАССКАЗЫ 1913-1924 гг.



СТАРЫЙ ШЛОЙМЕ

Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем наперечет, хотя Шлойме прожил в городке 60 лет безвыездно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было 86 лет. Глаза его слезились: лицо, маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, редко менял платье, и от него дурно пахло; сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, запрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме, и, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые, изломанные кости, скушать хороший кусок жирного, сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый; жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. На Шлойме было противно смотреть в то время, когда он ел: вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над Шлойме: за столом она как будто случайно обходила его; старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным, беззубым ртом; он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется, но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба, эта с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, что шутки забывались и старый Шлойме получал свою порцию.

Так и жил он в своем углу — ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось,

давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме был очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда, слышите, выселяют, гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойме медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать.

С этого дня Шлойме начал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько, с надрывом плакала.

У Шлойме нашлось теперь занятие — он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. «Их гонят отсюда!» Шлойме знал, за что их гонят. «Но ведь он не может уехать! Ему 86 лет; он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро... Нет, Шлойме никуда не уйдет. Ему некуда идти, совсем некуда». Шлойме забился в свой угол, и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. «Он вырос здесь, прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище». В минуты таких дум Шлойме неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но... он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойме, весь съежившись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорит сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика, и пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко: невестка забыла, что Шлойме еще не

умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Колеблющимися шагами, грязный и всклокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, несколько раз покачал головой, и впервые за много-много лет слезы выкатились из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка... Шлойме хотел обогреться. Ему сделалось холодно.

С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего бога, бога униженного и страдающего народа— этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими, старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что ж? Шлойме расскажет богу, как его обидели, бог ведь есть, бог примет его». В этом Шлойме был уверен.

Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно... Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку,

успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис...

Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору.

ДЕТСТВО. У БАБУШКИ

По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал высеку, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.

Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.

Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.

Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покрови-

тельственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался.

Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.

Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас, — это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.

Итак, нас было трое — я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти г. Сор[окин], учитель музыки, и г. Л., учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок и пот[ом], м[ожет] б[ыть], Peysson[1], учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Л. я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы — какая тоска! Сначала я принялся за уроки. Разложил тетради, стал

[1] Пейсон *(фр.)*.

тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу — они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.

Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» — так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги, я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось, ясные слова, описания, разговоры, но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижима, и даже жаркий одуряющий воздух стоял не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, прозрачно тихо, не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрученная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист — только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сор[окин]. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную визгливую музыку. Надо признать, этот Сор[окин] был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи

холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате, перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул.

Я выдержал и следующий час — урок господина Л., дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь.

Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор — глубокую клетку — ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой; темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» — спросила она. Я ответил: «Нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне досаждает комиссар до смерти. Просите за меня бога». — «Иди с миром, — сказал ему цадик. — Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с багровым вздутым лицом.

Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахала хвостом. Она была голодна.

— В старину люди верили, — промолвила бабушка. — Было проще жить на свете. Когда я была девушкой — взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещен-

ные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против солдат и скомандовал: «пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование.

Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахару.

— Твой дед, — заговорила она, — знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом.

И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь, он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет.

— Учись, — вдруг говорит она с силой, — учись, ты добьешься всего — богатства и славы. Ты должен знать все. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца.

Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко — навеки — ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую [голову?].

В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка, — гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. — Я здесь хозяйка. Ты добро уничтожаешь. Вон». Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспо-

щадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди», — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты.

Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят — я не знаю. После ужина она...[1]

Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате.

ЭЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если он не выедет из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь, — ответил Гершкович, — к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два, — сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

. . . .

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

---

[1] Фраза обрывается. Заключительный абзац написан на отдельном листке. — *Примеч. сост.*

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э, — поморщился Гершкович, — какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко, — сказал Гершкович, — пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

. . . .

— Э, — снова поморщился Гершкович, — я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка, — медленно промолвила проститутка, — это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку, — сказала женщина.

Гершкович вернулся.

— Постели мне, — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. — Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля...— неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла...

. . . .

— Нивроко, — сказал Гершкович. — Откормилась.

Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле, — сказал он. — Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы, — ответил Гершкович, — первый город, хороший город, — и он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо, — сказала Маргарита.

— И правда, — ответил Гершкович. — Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак, — промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. — Люди злые.

— Нет, — сказал Гершкович, — люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.

— Ты занятный, — медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жи́ла ты, жи́ла. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься, — говорила Маргарита. — Занятие такое, что дешевкой оденешься — щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе, — подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части, — за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности, — промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, наверное, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пани.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда, Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу, — сказала она, — привет...

— Спасибо, — ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свиданья, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

МАМА, РИММА И АЛЛА

С самого утра день выдался хлопотливый.

Накануне раскапризничалась и ушла прислуга. Варваре Степановне пришлось все делать самой. Во-вторых, рано утром прислали счет на электричество. В-третьих, квартиранты, братья Растохины, студенты, предъявили совершенно неожиданную претензию. Ночью ими была якобы получена из Калуги телеграмма о том, что отец их болен и необходимо к нему выехать. Поэтому они освобождают комнату и просят возвратить им 60 рублей, выданные Варваре Степановне заимообразно.

Варвара Степановна на это ответила, что странно осво-

бождать комнату в апреле, когда никто ее снимать не станет, и что деньги она затрудняется возвратить, потому что они были даны ей не заимообразно, а в виде платы за помещение, платы, выданной, правда, вперед.

Растохины с Варварой Степановной не согласились. Разговор принял замедленный и недружелюбный характер. Студенты были упрямые и недоумевающие остолопы в длиннополых и чистеньких сюртуках. Им показалось, что плакали их денежки. Старший предложил тогда, чтобы Варвара Степановна заложила у них свой буфет из столовой и трюмо.

Варвара Степановна побагровела и возразила, что она не позволит разговаривать с собой в таком тоне, что предложение растохинское совершеннейшая дичь, что законы она знает, муж ее членом окружного суда на Камчатке и прочее. Младший Растохин, вспылив, ответил, что наплевать им с высокого дерева на то, что муж ее членом окружного суда на Камчатке, что если попадет к ней копейка, то ее уж когтями не выдерешь, что пребывание свое у Варвары Степановны — весь этот сумбур, грязь, бестолковщину — они никогда не забудут и что окружной суд на Камчатке далеко, а мировой судья на Москве близко...

Так эта беседа и окончилась. Растохины ушли надутые, злобно-тупые, а Варвара Степановна направилась в кухню варить кофе другому своему квартиранту, студенту Станиславу Мархоцкому. Из комнаты его уж несколько минут доносились резкие и длительные звонки.

Варвара Степановна стояла в кухне перед спиртовой машинкой, на толстом носу ее было разъехавшееся от старости никелевое пенсне, седоватые волосы растрепались, утренняя розовая кофта была в пятнах. Она варила кофе и думала, что никогда эти мальчишки не разговаривали бы с ней в таком тоне, если бы не вечный недостаток в деньгах, если бы не эта несчастная необходимость перехватывать, прятаться и хитрить.

Когда кофе и яичница Мархоцкого были готовы, она отнесла завтрак ему в комнату.

Мархоцкий был поляк — высокий, костлявый, беловолосый, с холеными ногтями и длинными ногами. В то утро на нем была домашняя щегольская серая куртка с бранденбурами.

Встречена была Варвара Степановна с неудовольствием.

— Мне надоело, — сказал он, — то, что никогда нет

прислуги, приходится звонить по часу и опаздывать на лекции...

Прислуги, действительно, часто не бывало, и звонил Мархоцкий подолгу, но на этот раз причина его неудовольствия была в другом.

Накануне вечером он сидел с Риммой, старшей дочерью Варвары Степановны, на диване в гостиной. Варвара Степановна видела, как они поцеловались раза три и в темноте обнимались. Сидели они до одиннадцати, затем до двенадцати, потом Станислав положил голову на грудь Риммы и заснул. Кто в молодости не дремал в углу дивана на груди случайно встретившейся на жизненном пути гимназисточки? Худа в этом большого нет, последствий часто тоже не бывает, но все же надо считаться с окружающими, с тем, что девочке, может быть, в гимназию на следующее утро надо.

Только в половине второго Варвара Степановна довольно кисло заявила, что пора бы и честь знать. Мархоцкий, исполненный польского гонора, поджал губы и обиделся. Римма метнула на мать негодующий взгляд.

Тем дело и обошлось. Но Станислав, очевидно, и на следующее утро помнил об этом. Варвара Степановна подала ему завтрак, посолила яичницу и вышла.

Было 11 часов утра. Варвара Степановна открыла в комнате дочерей шторы. Легкие, блестящие лучи нежаркого солнца легли на грязноватый пол, на разбросанную повсюду одежду, на запыленную этажерку.

Девушки уже проснулись. Старшая, Римма, была худенькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла была моложе на год — всего семнадцать лет — крупнее сестры, белая, медлительная в движениях, с нежной, рыхловатой кожей, с сладостно-задумчивым выражением голубых глаз.

Когда мать вышла, она заговорила. Полная голая рука ее лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились.

— Я видела сон, Римма, — сказала она. — Представь себе — странный городок, маленький, русский, непонятный... Светло-серое небо стоит очень низко, и горизонт совсем близко. Пыль на уличках тоже серая, гладкая, покойная. Все мертво, Римма. Ниоткуда ни звука, нигде ни одного человека. И вот мне кажется, что я иду по незнако-

мым мне переулочкам, вдоль маленьких, тихих деревянных домиков. То упираюсь в тупички, то выхожу на дорогу, из которой мне видны только десять шагов пути, и все же я иду по ней бесконечно. Впереди меня где-то вьется легкая пыль. Я подхожу ближе и вижу свадебные кареты. В одной из них Михаил с невестой. Невеста в фате, и лицо у нее счастливое. Я иду рядом в каретами, мне кажется, что я выше всех, и сердце у меня побаливает. Потом все замечают меня. Кареты останавливаются. Михаил подходит ко мне, берет меня за руку и медленно уводит в переулок. «Мой друг Алла, — говорит он монотонно, — все грустно, я знаю. Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю вас». Я иду рядом с ним, сердце у меня все вздрагивает, и новые серые дорожки открываются перед нами.

Алла замолкла.

— Дурной сон, — прибавила она. — Кто знает? Может быть, потому что худо — все пойдет к лучшему и получится письмо.

— Черта с два, — ответила Римма, — раньше надо было умнее быть и не бегать на свидания. А у меня, знаешь, с мамой сегодня разговор будет... — неожиданно сказала она.

Римма встала, оделась, пошла к окну.

Весна была на Москве. Теплой сыростью блестел длинный, мрачный забор, тянувшийся на противоположной стороне почти во всю длину переулка.

У церкви, в палисаднике, трава была влажная, зёленая. Солнце мягко золотило потускневшие ризы, мелькало по темному лику иконы, поставленной на покосившемся столбике у входа в церковную ограду.

Девушки перешли в столовую. Там сидела Варвара Степановна и много, и внимательно ела, поочередно пристально вглядываясь через очки в бисквитки, в кофе, в ветчину. Кофе она пила громкими и короткими глотками, а бисквиты съедала быстро, жадно, точно украдкой.

— Мама, — сурово сказала ей Римма и гордо подняла маленькое личико, — я хочу поговорить с тобой. Не надо вспыхивать. Все будет спокойно и раз навсегда. Я не могу жить с тобой больше. Дай мне свободу.

— Пожалуйста, — спокойно ответила Варвара Степановна, поднимая на Римму бесцветные глаза. — Это за вчерашнее?

— Не за вчерашнее, а по поводу него. Я задыхаюсь здесь.

— Что же ты делать будешь?

— На курсы пойду, изучу стенографию, теперь спрос...

— Теперь стенографистками хоть пруд пруди. Ухватятся за тебя...

— Я не прибегну к тебе, мама, — визгливо проговорила Римма, — я не прибегну к тебе. Дай мне свободу.

— Пожалуйста, — еще раз сказала Варвара Степановна, — я не задерживаю.

— И паспорт дай мне.

— Паспорта я не дам.

Разговор был неожиданно тихий. Теперь Римма почувствовала, что из-за паспорта можно раскричаться.

— Это мне нравится, — саркастически захохотала она, — где же меня пропишут без паспорта?

— Паспорта я не дам.

— Я на содержание пойду, — истерически закричала Римма, — я жандарму отдамся...

— Кто тебя возьмет? — Варвара Степановна критически осмотрела дрожащую фигурку и пылающее лицо дочери. — Не найдет жандарм получше...

— Я на Тверскую пойду, — кричала Римма, — я к старику пойду. Я не хочу жить с ней, с этой дурой, дурой, дурой...

— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь, — с достоинством поднялась Варвара Степановна, — в доме нужда, все разваливается, недостаток, я хочу забыться, а ты... Папа это будет знать...

— Я сама напишу на Камчатку, — в исступлении прокричала Римма, — я получу у папки паспорт...

Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъерошенная Римма возбужденно шагала по комнате. Отдельные гневные фразы из будущего письма к отцу носились в ее мозгу.

«Милый папка! — напишет она. — У тебя свои дела, я знаю, но я должна все сказать тебе... Оставим на маминой совести утверждение, будто Стасик спал на моей груди. Он спал на вышитой подушечке, но центр тяжести в другом. Мама твоя жена, ты будешь пристрастен, но дома я не могу оставаться, она тяжелый человек... Если хочешь, я приеду к тебе на Камчатку, но паспорт мне нужен, папка...»

Римма шагала, а Алла сидела на диване и смотрела на сестру. Тихие и грустные мысли ложились ей на душу.

«Римма суетится, — думала она, — а я несчастна. Все тяжело, все непонятно...»

Она пошла к себе в комнату и легла. Мимо нее прошла Варвара Степановна в корсете, густо и наивно напудренная, красная, растерянная и жалкая.

— Я вспомнила, — сказала она, — Растохины съезжают сегодня. Надо отдать 60 рублей. Грозятся в суд подать. На шкапчике яйца лежат. Завари себе, а я схожу в ломбард.

Когда часов в шесть вечера Мархоцкий пришел с лекций домой, он застал в передней упакованные чемоданы. Из комнаты Растохиных доносился шум: очевидно, ссорились. Там же, в передней, Варвара Степановна как-то молниеносно и с отчаянной решимостью одолжила у него 10 рублей. Только очутившись в своей комнате, Мархоцкий рассудил, что сделал глупость.

Комната Мархоцкого отличалась от прочих помещений в квартире Варвары Степановны. Она была чисто убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На столах в порядке были разложены принадлежности для черчения, щегольские трубки, английский табак, костяные белые ножи для разрезывания бумаги.

Станислав не успел еще переодеться в свой домашний костюм, когда в комнату тихо вошла Римма. Прием она встретила сухой.

— Ты сердишься, Стасик? — спросила девушка.

— Я не сержусь, — ответил поляк, — я попросил бы только избавить меня от необходимости быть свидетелем эксцессов вашей матери.

— Скоро все кончится, — сказала Римма, — скоро я буду свободна, Стасик..

Она села рядом с ним на диванчик и обняла его.

— Я мужчина, — начал тогда Стасик, — это платоническое прозябание не для меня, у меня карьера впереди...

Он раздраженно говорил все те слова, с которыми обычно, в конце концов, обращаются к некоторым женщинам. Говорить с ними не о чем, нежничать с ними скучно, а переходить к существенному они не хотят.

Стасик говорил, что его снедает желание; это мешает ему работать, вселяет беспокойство; надо кончить в ту или иную сторону; каково будет решение — ему почти все равно, лишь бы решение.

— Отчего сейчас же эти слова? — задумчиво промолвила Римма. — Отчего сейчас же «я мужчина» и что-то «надо кончить», отчего такое злое и холодное лицо? Неужели нельзя поговорить ни о чем другом? Ведь это тяжело, Стасик. На улице весна, так красиво, а мы злимся...

Стасик не ответил. Оба молчали.

У горизонта потухал пламенный закат, заливая алым блеском далекое небо. С другого конца его нависала легкая, медленно густевшая тьма. Комната была озарена последним румяным светом. На диване Римма все нежнее склонялась к студенту. Происходило то, что случалось у них обычно в этот прекраснейший час дня.

Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутоленной страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Римма, с запекшимися губами и с кругами под глазами, подставляла поцелуям свои губы и с искривленной, скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Римма заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.

Они открыли дверь не скоро. Оказалось, что к Станиславу пришел товарищ. Он проводил плохо скрытым насмешливым взглядом проскользнувшую мимо него Римму. Украдкой она пробралась к себе, переменила кофточку и постояла у оконного стекла, чтобы остыть.

В ломбарде за фамильное серебро Варваре Степановне выдали всего сорок рублей. Десять рублей она одолжила у Мархоцкого, за остальными деньгами пешком бегала к Тихоновым, от Страстного на Покровку. В растерянности упустила даже из виду, что можно было поехать в трамвае.

Дома, кроме бушевавших Растохиных, ее ждал по делу помощник присяжного поверенного Мирлиц, высокий молодой человек с гнилыми корешками вместо зубов и с влажными серыми глуповатыми глазами.

Несколько времени тому назад Варвара Степановна, из-за недостатка денег, затеяла заложить по доверенности домик мужа на Коломне. Мирлиц принес текст закладной. Варваре Степановне казалось, что дело обстоит не совсем ладно, что следовало бы посоветоваться с кем-нибудь

прежде, чем кончать дело, но слишком много всяких тревог, сказала она себе, выпало на ее долю... Бог с ними со всеми, с квартирантами, с дочерьми, с грубостями.

После делового разговора Мирлиц раскупорил принесенную им с собой бутылку крымского Мускат-Люнеля — он знал слабость Варвары Степановны. Выпили по стаканчику, готовились к повторению. Голоса зазвенели громче, мясистый нос Варвары Степановны покраснел, кости от корсета выпирали и были все наперечет. Мирлиц рассказывал что-то веселое и заливался. Римма в новой, перемененной кофточке безмолвно сидела в уголке.

После того как выпили Мускат-Люнель, Варвара Степановна и Мирлиц вышли погулять. Варвара Степановна почувствовала, что она чуть-чуть опьянела, ей было стыдно этого и в то же время было все равно, потому что слишком много тягости в жизни, Бог с ней совсем.

Вернулась Варвара Степановна раньше, чем предполагала, потому что не застала Бойко, к которым ходила в гости. Вернувшись, была поражена тишиной, господствовавшей в квартире. Обыкновенно в это время девочки дурачились со студентами, хохотали, бегали. Только из ванной комнаты доносилась возня. Варвара Степановна пошла в кухню, через оконце которой можно было видеть, что делается в ванной...

Она подошла к окошку и увидела необыкновенную, странную картину, увидела вот что:

Печка, в которой нагревают воду, была накалена докрасна. Ванна была наполнена кипящей водой. У печки на коленях стояла Римма. В руках ее были щипцы для завивания волос. Она накаливала их на огне. У ванны стояла Алла, нагая. Длинные косы ее были распущены. Из глаз катились слезы.

— Подойди сюда, — сказала она Римме. — Послушай, может быть, бьется...

Римма приложила голову к ее чуть вздутому, нежному животу.

— Не бьется, — ответила она. — Все равно. Сомневаться нельзя.

— Я умру, — прошептала Алла. — Вода обожжет меня. Я не выдержу. Не надо щипцов. Ты не знаешь, как делается.

— Все так делают, — проговорила Римма. — Не хнычь, Алла. Не рожать же тебе.

Алла собралась уж сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий хрипловатый голос матери:

— Что вы делаете, дети?

Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степановны. Она рассказала все. Ей было легко. Она казалась себе маленькой девочкой, у которой было смешное детское горе.

Римма бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку, в которую недели две уж забывали влить масла, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой.

Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение, как-то странно и легко, бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Римма приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала.

Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу:

«Милый Николай! Сегодня приходил Мирлиц, очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступаю как следует, но становлюсь все беспокойнее, потому что не полагаюсь на себя.

Я знаю — у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать, но дом наш, Николай, как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует — курсы, стенографию — девочки хотят больше свободы. Нужен отец, накричать, может быть, нужно, но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка — твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный, там очень светлая квартирка сдается.

Римма похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочной, напротив, сливки, дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок, и печень не тревожит. Приезжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются. Целую тебя крепко. Твоя *Варя*».

ДЕВЯТЬ

Их девять человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его — Сардаров. Профессия — куплетист. Просьба — издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно — может быть и послесловие.

Редактор внимает. Человек он задумчивый, медлительный, видавший виды. Спешить ему некуда. Номер составлен. Просматривает куплеты:

Ах, жалобно стонет Франц — Иосиф ив в Вене —
Ах, у мене уже совсем нету терпенья...

Редактор отвечает, что, к сожалению, и прочее. Журнал нуждается в статьях по кооперации, в заграничных корреспондентах...

Сардаров выпячивает грудь, до жестокости бонтонно извивается и с шумом уходит.

Вторым номером идет барышня — худенькая, застенчивая, очень красивая. Приходит она в третий раз. Стихи ее не для печати. Она очень хочет узнать — только этого она хочет, — стоит ли ей писать? Редактор говорит с ней ласково. Он видит ее иногда на Невском с высоким господином, изредка очень обстоятельно покупающим полдесятка яблок. Обстоятельность эта опасна. Стихи об этом свидетельствуют. В них бесхитростная история жизни.

«Ты хочешь тела, — пишет девушка, — возьми его, мой враг, мой друг, но где душе найти мечту?»

Редактор думает. Тело он возьмет скоро. К этому идет. Очень уж у тебя растерянные, слабые и красивые глаза. Мечту душа найдет менее быстро, а как женщина ты будешь пикантна.

В стихах девушка описывает жизнь «безумно-отпугивающую» или «безумно-прекрасную», прочие маленькие неприятности, и еще «звуки, звуки, звуки вокруг меня, пьянящие, звуки без конца»...

Есть уверенность, что по удачном завершении дела, затеянного обстоятельным господином, девушка перестанет писать стихи и начнет ходить к акушеркам.

После девушки к редактору входит литератор Лунев, маленький и нервный человек. История здесь сложная. Лунев когда-то разругал редактора. Человек он растерян-

ный, семейный, талантливый и неудачливый. В суетливости своей, в погоне за рублем — не совсем разбирает, кого можно ругать, кого нельзя. Сначала выругался, а потом понял, что все это глупо, что трудно жить на свете и что не везет, ах, как не везет. В приемной у него было небольшое сердцебиение, в кабинете ему заявили, что «вещица» недурна, но, au fond[1], это же не литература, это же... Лунев лихорадочно согласился, неожиданно забормотал, что «вы-то, Александр Степанович, хороший человек, а я-то — к вам нехорошо, — все это можно разно понять, вот и все, я именно хотел оттенить, но все это глубже, честь имею»... У Лунева выступает уморительный румянец, дрожащими пальцами он собирает листки рукописи, и хочет он сделать вид, что не то он спокоен, не то он ироничен, а впрочем, бог его знает, чего он хочет...

Лунева сменяют два очень обычных в редакциях персонажа. Первый персонаж — дама, розовая, жизнерадостная, белокурая дама. Идет от нее теплая волна духов. Глаза у нее светлые и наивные. Есть у нее сынок — девяти лет, и вот этот сынок — «вы знаете, — он пишет по целым дням, мы сначала не обращали внимания, но все знакомые в восторге, уж на что мой муж, он служит в мелиоративном отделе, уж на что положительный человек, совсем не признает новой литературы, ни, знаете, Андреева, ни Нагродскую, но и он искренно смеялся, я принесла вам три тетради»...

Второй персонаж — Быховский. Он из Симферополя. Славный человек, жизнерадостный. Литературой он не занимается, дела у него к редактору, в сущности, нет, говорить ему, собственно, не о чем, но он подписчик, приехал он так — побеседовать и поделиться впечатлениями, окунуться в эту, знаете, петроградскую жизнь. Он и окунается. Редактор мямлит что-то о политике, о кадетах, — Быховский расцветает и уверен, что принимает деятельное участие в общественной жизни страны.

Самый печальный посетитель — это Корб. Он еврей, истинный Агасфер. Родился в Литве, был ранен во время погрома в одном из южных городов. С тех пор у Корба очень болит голова. Потом он был в Америке. Во время войны очутился почему-то в Антверпене и 44-х лет от роду поступил в иностранный легион. У Мобежа его контузили в голову. Она у него трясется. Каким-то образом Корба эвакуировали в Россию, в Петроград. Он получает откуда-то

[1] По существу *(фр.)*.

пособие, снимает на Песках угол в смрадном подвале и пишет драму: «Царь Израильский». У Корба очень болит голова, по ночам он не спит, а ходит по подвалу и думает. Хозяин его, упитанный и снисходительный человек, курящий черные сигары по 4 коп. штука, сначала сердился, но потом, побежденный кротостью и трудолюбием Корба, исписывавшего сотни листов, полюбил его. На Корбе старый выцветший антверпенский сюртук. Подбородок не брит, в глазах — и усталость, и фанатическое к чему-то стремление. У Корба болит голова, но он пишет драму, и эта драма начинается так: «Звони в колокола, погибла Иудея»...

После Корба остаются трое. Один из них молодой человек из провинции, неторопливый, размышляющий, долго усаживающий в кресло и долго на нем сидящий. Его медлительное внимание привлекают картины на стенах, вырезки на столе, портреты сотрудников... Что ему, собственно, угодно? Собственно, ему ничего не угодно... Он работал в прессе... В какой прессе? В провинциальной... А вот интересно, в скольких экземплярах расходится ваш журнал, какая оценка труда?.. Молодому человеку объясняют, что на такие вопросы не всегда отвечают и что если он пишет, то — пожалуйста, а если не пишет, то... Молодой человек ответствует, что писать-то он не пишет, специальности у него нет, но он мог бы быть, например... редактором.

Выходит «редактор», входит Смурский... Тоже с биографией человек. Служил агрономом в Кашинском уезде Тверской губернии. Спокойный уезд, славная губерния. Но Смурского влекло в Петроград. Он предложил свои услуги в качестве агронома, кроме того, он принес в одну из редакций 20 рукописей. Из них две были приняты. Смурский пришел к убеждению, что ему везет в литературе. Услуг своих в качестве агронома больше не предлагал. Нынче ходит в визитке и с портфелем. Пишет каждый день и много. Печатают мало.

А девятый посетитель вот кто — Степан Драко, «путешественник пешком вокруг света, король жизни и лектор».

ОДЕССА

Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница», там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очарова-

тельнейшем городе в Российской Империи. Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями — создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты — в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще — одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (qui sait[1]), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, — одесских певиц (я говорю об Изе Кремер, с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным — то грустным, то трогательным — чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно — quand meme et màlgrè tout[2] — интересной.

Я видел Уточкина, одессита pur sang[3], беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или мор-

---

[1] Кто знает? *(фр.)*

[2] Все же и несмотря ни на что *(фр.)*.

[3] Чистокровный *(фр.)*.

фий, заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин... За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку — «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания — поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса, — в конце концов скажет читатель, — такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так-то так, и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, parole d'honneur[1], в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна — все это верно, — но все

---

[1] Честное слово *(фр.)*.

же, quand meme et màlgrè tout[1] необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, — был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее.

Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины: если о чем-нибудь стоит петь, то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает — почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть — все знает; громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а

[1] Все же и несмотря ни на что *(фр.)*.

дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все.

В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут все это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, м[ожет] б[ыть], «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морей.

ВДОХНОВЕНИЕ

Мне хотелось спать, и я был зол. В это время пришел Мишка читать свою повесть. «Запри дверь», — сказал он и вытащил из кармана бутылку вина.

«Сегодня мой вечер. Окончил повесть. Мне кажется — это настоящее. Выпьем, друг».

Лицо у Мишки было бледное и потное.

«Дураки те, кто говорят, что нет счастья на земле, — сказал он. — Счастье — это вдохновение. Я писал вчера всю ночь и не заметил, как рассвело. Потом гулял по городу. Рано утром — город удивителен: роса, тишина и совсем мало людей. Все прозрачно, и движется день — холодно-голубой, призрачный и нежный. Выпьем, друг. Я неошибочно чувствую: эта повесть — «перелом в моей жизни». Мишка налил себе вина и выпил. Пальцы его вздрагивали. У него была удивительной красоты рука — тонкая, белая, гладкая, с утончающимися в конце пальцами.

«Понимаешь — эту повесть надо пристроить, — продолжал он. — Везде примут. Теперь гадость печатают. Главное — протекция. Мне обещали. Сухотин все сделает...»

«Мишка, — сказал я, — ты бы просмотрел свою повесть, она у тебя совсем без помарок...»

«Пустяки, потом... Дома, понимаешь, смеются. Rira bien, qui rira le dernier[1]. Я, понимаешь, молчу. Через год увидим. Ко мне придут...»

Бутылка подходила к концу.

«Брось пить, Мишка...»

«Возбудиться нужно, — ответил он, — вот за вчерашнюю ночь я 40 папирос выкурил»... Он вынул тетрадь. Она была очень толстая, очень. Я подумал — не попросить ли оставить мне ее. Но потом посмотрел на его бледный лоб, на котором вспухла жила, на криво и жалко болтавшийся галстучек и сказал:

«Ну, Лев Николаевич, автобиографию писать будешь — не забудь...»

Мишка улыбнулся.

«Мерзавец, — ответил он, — ты совсем не ценишь моего знакомства».

Я удобно уселся. Мишка склонился над тетрадью. В комнате были тишина и сумрак.

«В этой повести, — сказал Мишка, — я хотел дать новое произведение, окутанное дымкой мечты, нежность, полутени и намек... Мне противна, противна грубость нашей жизни...»

«Довольно предисловий, — ответил я, — читай...» Он начал. Я слушал внимательно. Это было нелегко. Повесть была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под ее окнами. Она уехала. Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута.

Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтесанные деревяшки. Ничего не было видно — каков человек конторщик, какова она.

Я посмотрел на Мишку. Глаза его разгорались. Пальцы комкали потухавшие папиросы. Лицо его — тупое и узкое, тягостно обрубленное ненужным мастером, толстый, торчащий и желтый нос, бледно-розовые, вспухшие губы, все светлело, медлительно, с неотвратимо внедрявшейся силой исполнялось творческого и радостно-уверенного восторга.

Он читал томительно долго, а когда кончил, неуклюже спрятал тетрадь и посмотрел на меня...

---

[1] Смеется тот, кто смеется последним (*фр.*).

«Видишь ли, Мишка, — медленно сказал я, — видишь ли, об этом надо подумать... Идея у тебя очень оригинальная, есть нежность... Но, видишь ли, разработка... Надо, понимаешь, разгладить...»

«Я вынашивал эту вещь три года, — ответил Мишка, — конечно, есть шероховатости, но главное?..»

Он что-то понял. У него дрогнула губа. Он сгорбился и ужасно долго закуривал папиросу.

«Мишка, — тогда сказал я, — ты написал прекрасную вещь. У тебя мало еще техники, но ça viendra[1]. Черт побери, много же у тебя в голове помещается...»

Мишка обернулся, посмотрел на меня, и глаза его были, как у ребенка, — ласковые, сияющие и счастливые.

«Выйдем на улицу, — сказал он, — выйдем, мне душно...»

Улицы были темны и тихи.

Мишка крепко сжимал мою руку и говорил:

«Я неошибочно чувствую — у меня талант. Отец хочет, чтобы я искал себе службу. Я молчу. Осенью — в Петроград. Сухотин все сделает». Он замолчал, зажег одну папиросу об другую и заговорил тише: «Иногда я чувствую вдохновение, от которого мне мучительно. Тогда я знаю, что то, что делаю — я делаю, как нужно. Я дурно сплю, всегда кошмары и тоска. Мне нужно три часа проваляться, чтоб заснуть. По утрам голова болит, тупо, ужасно. Я могу писать только ночью, когда одиночество, когда тишина, когда душа горит. Достоевский всегда ночью писал и выпивал за это время самовар, а у меня папиросы... Знаешь, дым стоит под потолком...»

Мы подошли к Мишкиному дому. Лицо его осветил фонарь. Порывистое, худое, желтое, счастливое лицо.

«Мы еще повоюем, черт возьми! — сказал он и сильнее сжал мою руку. — В Петрограде все выбиваются».

«Все-таки, Мишка, — сказал я, — работать надо...»

«Сашка, друг! — ответил он. И крепко, покровительственно усмехнулся. — Я хитер, что знаю — то знаю, не беспокойся, не почию на лаврах. Приходи завтра. Посмотрим еще разок».

«Ладно, — проговорил я, — приду».

Мы расстались. Я пошел домой. Мне было очень грустно.

---

[1] Это придет (*фр.*).

DOUDOU

Я был тогда санитаром в Н-ском госпитале. Однажды утром генерал С. — попечитель госпиталя — привел с собой молодую девушку и порекомендовал ее в качестве сестры милосердия. Конечно, приняли.

Звалась новая сестра la petite Doudou[1], была содержанкой генерала и по вечерам танцевала в кафешантане.

У нее была гибкая, вязкая гармоничная походка, прелестная, но чуть угловатая походка танцовщицы. Для того чтобы увидеть ее, я пошел потом в шантан. Она удивительно танцевала tango acrobatique[2], с неясной нежной страстностью и целомудренно, сказал бы я.

В госпитале она благоговела перед всеми солдатами и ухаживала за ними, как прислуга. Однажды, когда старший врач, проходя по палате, увидел, как Doudou, стоя на коленях, тужится застегнуть кальсоны у корявого, апатичного мужичонки Дыбы, он сказал:

«Ты бы, брат Дыба, постыдился. Мужику поручил бы».

Doudou подняла тогда ласковое, тихое лицо и промолвила: «Oh mon docteur[3], разве я не видела мужчин в кальсонах?»

Помню, на третий день Пасхи привезли к нам разбившегося летчика-француза — m-r Drouot. У него были раздроблены обе ноги. Он был бретонец, сильный, черный и молчаливый. Твердые щеки чуть отливали синевой. Так странно было видеть — мощное туловище, точеная крутая шея и разбитые, беспомощные ноги.

Положили его в отдельной комнатке. Doudou часами просиживала у него. Они тихо и душевно разговаривали. Drouot рассказывал о полетах, о том, что он одинок: никого из близких, и все так грустно. Он влюбился в нее (это чувствовалось ясно), но смотрел на нее так, как нужно: нежно, страстно и задумчиво. А Doudou, прижимая руки к груди, с тихим удивлением говорила в коридоре сестре Кирдецовой:

«Il m'aime, ma soeur, il m'aime»[4].

В ночь на субботу она была дежурной и сидела у Drouot. Я находился в соседней комнате и видел их. Когда Doudou пришла, он сказал:

---

[1] Крошка Дуду *(фр.)*.

[2] Акробатическое танго *(фр.)*.

[3] О, доктор *(фр.)*.

[4] Он любит меня, сестра, любит *(фр.)*.

«Doudou, ma bien aimée»[1], — склонил голову ей на грудь и медленно стал целовать темно-синюю шелковую ее кофточку. Doudou стояла недвижимо. Пальцы ее вздрагивали и теребили пуговицы кофточки.

«Чего Вы хотите?» — спросила Doudou.

Он ответил что-то.

Doudou задумчиво, внимательно оглядела его и медлительно отвернула кружево воротника. Показалась мягкая белая грудь. Drouot вздохнул, вздрогнул и припал к ней. У Doudou от боли призакрылись глаза. Все же она заметила, что ему неудобно, и расстегнула еще и лиф. Он притянул Doudou к себе, но сделал резкое движение и застонал.

«Вам больно! — сказала Doudou, — не надо больше, Вам нельзя...»

«Doudou, — ответил он, — я умру, если Вы уйдете».

Я отошел от окна. Все же я видел еще жалкое и бледное лицо Doudou, видел, как растерянно старалась она не сделать ему больно, слышал стон страсти и боли.

История получила огласку. Doudou уволили, проще — выгнали. В последнюю минуту она стояла в вестибюле и прощалась со мной. Из глаз ее выкатывались тяжелые и светлые слезы, но она улыбалась, чтобы не огорчить меня.

«Прощайте, — сказала Doudou и протянула мне тонкую руку в светлой перчатке, — adieu, mon ami...»[2] Потом помолчала и добавила, глядя мне прямо в глаза: «Il gèle, il meurt, il est seul, il prie, dirai-je non?»[3]

В это время в глубине вестибюля проковылял Дыба — грязнейший мужичонка. «Клянусь Вам, — промолвила тогда Doudou тихим и вздрагивающим голосом, — клянусь Вам, попроси меня Дыба, я сделала бы то же».

ШАБОС-НАХАМУ[4]

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть

---

[1] Дуду, моя любимая *(фр.)*.

[2] Прощайте, мой друг... *(фр.)*

[3] Его знобит, он умирает, совсем один, он просит меня, неужели сказать «нет»? *(фр.)*

[4] Шабос-нахаму — еврейский праздник.

домой. Дома еврей выпивает рюмку водки — ни бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две, — съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидел во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь, — ответил он. — И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь, — ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечки тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко. Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Прошло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя.

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

«Хорошо, Гершеле, — сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни».

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил:

— Я пойду пешком к рабби Борухл.

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять, — Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле

взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженицы перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен.

В комнате было тихо, кипела вода и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду. — Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг:

— Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнъ. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму?

«Эге, — подумал Гершеле. — Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне: когда придет шабос-нахаму — мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь, — все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил Гершеле. — Сам бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть — шабос-нахаму, хозяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка.

— Это я и есть — шабос-нахаму, — подтвердил Гершеле. — Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех наших.

— И от тети Песи, — закричала хозяйка, — и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершеле. — Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут, — уныло промолвил Гершеле. — Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там, — продолжал Гершеле, — холодно и голодно. Они же едят как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша... — прошептала пораженная хозяйка.

— На пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки...

— Бедная тетя Песя, — задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде. — Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершеле не докончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно неслась к нему — тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и налив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, — что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через

Гершеле решила послать на тот свет — папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме того, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем, — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. — Или погодите немного, скоро муж придет.

— Нет, — ответил Гершеле. — Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на свете живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек с большими кулаками, толстыми щеками и длинным кнутом. Если он придет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света, — ответил Гершеле уныло. — Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил, — завопил корчмарь. — И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать — какой дорогой, — горько прошептал Гершеле. — Если хотите, дайте мне вашу лошадь,

я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Тут Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря понуро повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СКОБКАХ

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Сможете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

...Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

...Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался

на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «primo de primo»[1], к тому же специалисты по своей бранже[2]. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное слово, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Беня.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы — природа и дикий виноград.

— Так и так, Беня, — говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я Королю, — так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит не кто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

— Детка, — сказал ей тогда Беня, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

— В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита...

---

[1] Первые из первых *(лат.)*.

[2] Бранжа — дело *(угол.)*.

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично, — подхватывает Беня Крик, — напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, — обращается ко мне король, — в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности, — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? — По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, — сказал я ему, — вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum[1], как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом: Мотя с Голов-

---

[1] И с этим покончено *(нем.)*.

ковской взялся за телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя, — сказал он, — когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно, — ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция, — прошептал кто-то невоздержанный, — тикай, бо задавим...

— Молчать, — произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. — Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье, Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну вот, — прокричал тогда Колька. — Беня хочет меня убить, это довольно интересно...

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

Один король не смеялся.

— В Одессе скажут, — начал он дельным голосом, — в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз, — ответил ему Штифт. — Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля, — торжественно и тихим голосом продолжал король, — веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, король?

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиревший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость

этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они встали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу за шею руки, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля, — спросил наконец король, — кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Беня, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет, — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах, — закажешь, Фроим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты коечто начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра, или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что, — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз, — он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой...

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случи-

лось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

— За что серчать на моего Цудечкиса, — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением, — за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Бенчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король, — нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

ИИСУСОВ ГРЕХ

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты идтить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто про-

шел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Диствительно, — качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина, — да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем... Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая...

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе. Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню...

И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут спаситель.

— Околоточный небось потащит...

— Околоточный, — поник головою господь, — я об ём не подумал... Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года? — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи...

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница дева Арина, — возвестил тут господь во славе своей, — шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на че-

тыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет...

— Это мне и надо, — взмолилась дева Арина, — я от их серьезности, почитай, три раза в два года помираю...

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божия Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой...

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому — при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается, и побежала Арина с Альфредом, обнявшись, по шёлковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки, — вон ведь куда баба метнула, — купила она Альфреду (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное, — говорит, — мы, дружочек, дома найдем...

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мою и прошу вас без скандалу удалиться...

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий, — эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в мо-

мент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, — так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи...

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина...

— Что ж, господи, — отвечает ему женщина неслышным голосом, — я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу, одинокую, глупую, выдумала...

— Не желаю я с тобой вожжаться, — восклицает господь Иисус, — задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда...

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там уж море по колено. Серега гуляет напоследях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок, — говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу...

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой иделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, — отвечает ему Арина, — нету.

ВЕЧЕР У ИМПЕРАТРИЦЫ

В кармане кетовая икра и фунт хлеба. Приюта нет. Я стою на Аничковом мосту, прижавшись к Клодтовым коням. Разбухший вечер двигается с Морской. По Невскому, запутанные в вату, бродят оранжевые огоньки. Нужен угол. Голод пилит меня, как неумелый мальчуган скрипичную струну. Я перебираю в памяти квартиры, брошенные буржуазией. Аничков дворец вплывает в мои глаза всей своей плоской громадой. Вот он — угол.

Проскользнуть через вестибюль незамеченным — это не трудно. Дворец пуст. Неторопливая мышь царапается в боковой комнате. Я в библиотеке вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Старый немец, стоя посредине комнаты, закладывает в уши вату. Он собирается уходить. Удача целует меня в губы. Немец мне знаком. Когда-то я напечатал бесплатно его заявление об утере паспорта. Немец принадлежит мне всеми своими честными и вялыми потрохами. Мы решаем — я буду ждать Луначарского в библиотеке, потому что, видите ли, мне надобен Луначарский.

Мелодически тикающие часы смыли немца из комнаты. Я один. Хрустальные шары пылают надо мной желтым шелковым светом. От труб парового отопления идет неизъ-

яснимая теплота. Глубокие диваны облекают покоем мое иззябшее тело.

Поверхностный обыск дает результаты. Я обнаруживаю в камине картофельный пирог, кастрюлю, щепотку чая и сахар. И вот — спиртовая машинка высунула-таки свой голубоватый язычок. В этот вечер я поужинал по-человечески. Я разостлал на резном китайском столике, отсвечивавшем древним лаком, тончайшую салфетку. Каждый кусок этого сурового пайкового хлеба я запивал чаем сладким, дымящимся, играющим коралловыми звездами на граненых стенках стакана. Бархат сидений поглаживал пухлыми ладонями мои худые бока. За окном на петербургский гранит, помертвевший от стужи, ложились пушистые кристаллы снега.

Свет сияющими лимонными столбами струился по теплым стенам, трогал корешки книг, и они мерцали ему в ответ голубым золотом.

Книги — истлевшие и душистые страницы, — они отвели меня в далекую Данию. Больше полустолетия тому назад их дарили юной принцессе, отправлявшейся из своей маленькой и целомудренной страны в свирепую Россию. На строгих титулах, выцветшими чернилами, в трех косых строчках, прощались с принцессой воспитавшие ее придворные дамы и подруги из Копенгагена — дочери государственных советников, учителя — пергаментные профессора из лицея, и отец-король и мать-королева, плачущая мать. Длинные полки маленьких пузатых книг с почерневшими золотыми обрезами, детские евангелия, перепачканные чернилами, робкими кляксами, неуклюжими самодельными обращениями к Господу Иисусу, сафьяновые томики Ламартина и Шенье с засохшими, рассыпающимися в пыль цветами. Я перебираю эти источившиеся листки, пережившие забвение, образ неведомой страны, нить необычайных дней возникает передо мной — низкие ограды вокруг королевских садов, роса на подстриженных газонах, сонные изумруды каналов и длинный король с шоколадными баками, покойное гудение колокола над дворцовой церковью и, может быть, любовь, девическая любовь, короткий шепот в тяжелых залах. Маленькая женщина с притертым пудрой лицом, пронырливая интриганка с неутомимой страстью к властвованью, яростная самка среди преображенских гренадеров, безжалостная, но внимательная мать, раздавленная

немкой, — императрица Мария Федоровна развивает передо мной свиток своей глухой и долгой жизни.

Только поздним вечером я оторвался от этой жалкой и трогательной летописи, от призраков с окровавленными черепами. У вычурного коричневого потолка по-прежнему спокойно пылали хрустальные шары, налитые роящейся пылью. Возле драных моих башмаков, на синих коврах застыли свинцовые ручейки. Утомленный работой мозга и этим жаром тишины, я заснул.

Ночью по тускло блистающему паркету коридоров я пробирался к выходу. Кабинет Александра III — высокая коробка с заколоченными окнами, выходящими на Невский. Комнаты Михаила Александровича — веселенькая квартира просвещенного офицера, занимающегося гимнастикой, стены обтянуты светленькой материей в бледно-розовых разводах, на низких каминах фарфоровые безделушки, подделанные под наивность и ненужную мясистость семнадцатого века.

Я долго ждал, прижавшись к колонне, пока не заснул последний придворный лакей. Он свесил сморщенные по давней привычке выбритые щеки, фонарь слабо золотил его упавший высокий лоб.

В первом часу ночи я был на улице. Невский принял меня в свое бессонное чрево. Я пошел спать на Николаевский вокзал. Те, кто бежал отсюда, пусть знают, что в Петербурге есть где провести вечер бездомному поэту.

СКАЗКА ПРО БАБУ

Жила-была баба, Ксенией звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была. Кабы нам с вами!

Мужа на войне убили. Три года без мужа прожила, у богатых господ служила. Господа на день три раза горячее требовали. Дровами не топили никак, — углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют.

Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите же!

На четвертый год к доктору пошла, говорит:

— В голове у меня тяжко: то огнем полыхает, а то слабну...

А доктор возьми да ответь:

— Нешто у вас на дворе мало парней бегает? Ах ты, баба...

— Не осмелиться мне, — плачет Ксения, — нежная я...

И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие с горьковатою слезой.

Старуха Морозиха тут все дело спроворила.

Старуха Морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные. Им бы пировать, а там хоть трава не расти.

— Я, — грит, — тебя, Ксения, обеспечу. Суха земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, сырой, вонюченькой.

И привела. Валентин Иванович называется. Неказист, да затейлив — умел песни складывать. Тела никакого, волос длинный, прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай, что ли, нужен? Песни складывает и мужчина — лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со сто, пирог с изюмом. На кровати у Ксении три перины положены, а подушек шесть, все пуховые, — катай, Валя!

Приспел вечер, сбилась компания в комнатенке за кухней, все по стопке выпили. Морозиха шелковый платочек надела, вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет:

— Ах, дружочек мой Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами, — разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости...

Слово по слово. Выпили, конечно, водки две бутылки полных, а вина и все три. Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло, — не шутка!

Валентин мой румянец получил прямо коричневый и стихи сказывает таково зычно.

Морозиха со стола тогда отодвинулась.

— Я, — говорит, — Ксенюшка, отнесусь, господь со мной, — промеж вас любовь будет. Как, —говорит, — вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними. Мужчины, — на них не настираешься...

А хмель-то играет. Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их.

— У меня, — говорит, — виденья. Я как выпью — у меня виденья. Вот вижу я — ты, Ксения, мертвая, лицо у тебя омерзительное. А я поп — за твоим гробом хожу и кадилом помахиваю.

И тут он, конечно, голос поднял.

Ну, не больше чем женщина, она-то. Само собой, она уже и кофточку невзначай расстегнула.

— Не кричите, Валентин Иванович, — шепчет баба, — не кричите, хозяева услышат...

Ну, рази остановишь, когда ему горько сделалось?

— Ты меня вполне обидела, — плачет Валентин и качается, — ах, люди — змеи, чего захотели, душу купить захотели... Я, — грит, — хоть и незаконнорожденный, да дворянский сын... видала, кухарка?

— Я вам ласку окажу, Валентин Иванович...

— Пусти.

Встал и дверь распахнул.

— Пусти. В мир пойду.

Ну, куда ему идти, когда он, голубь, пьяненькой. Упал на постелю, обрыгал, извините, простынки и заснул, раб божий.

А Морозиха уж тут.

— Толку не будет, — говорит, — вынесем.

Вынесли бабы Валентина на улицу и положили его в подворотне. Воротились, а хозяйка ждет уже в чепце и в богатейших кальсонах; кухарке своей замечание сделала.

— Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь то же самое. Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня, говорит, дочь-девица в семье...

До синего рассвету плакала баба в сенцах, скулила:

— Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что ты со мной, с молодой бабой, исделала? Себя мне стыдно, и как я глаза на божий свет подыму, и что я в ем, в божьем свете, увижу? — Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидючи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся.

— Промашка, — отвечает ей Морозиха, — тут попроще был надобен, нам Митюху бы взять...

А утром завело уже свое хозяйство. Молочницы по домам уже ходят. Голубое утро с изморозью.

ЛИНИЯ И ЦВЕТ

Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатория Оллила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацаре-

ном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был ему другом.

Итак — Оллила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О Гельсингфорс, любовь моего сердца! О небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица!

Итак — Оллила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо — норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти, — сказал я, — как она хороша...

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес, — сказал я, — он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех, — ответил Керенский, — но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада там, у реки.

Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас...

— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...

Вечером я уехал в город. О Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья...

БАГРАТ-ОГЛЫ И ГЛАЗА ЕГО БЫКА

Я увидел у края дороги быка невиданной красоты.

Склонившись над ним, плакал мальчик.

— Это Баграт-Оглы, — сказал заклинатель змей, поедавший в стороне скудную трапезу. — Баграт-Оглы, сын Кязима.

Я сказал:

— Он прекрасен, как двенадцать лун.

Заклинатель змей сказал:

— Зеленый плащ пророка никогда не прикроет своевольной бороды Кязима. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и бычка, которому не было пары. Но Алла велик...

— Алла иль Алла, — сказал я. — Алла велик, — повторил старик, отбрасывая от себя корзину со змеями. — Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии. Мемед-хан, сосед, заболевший завистью, оскопил его этой ночью. Никто не приведет больше к Баграт-Оглы коров, ждущих зачатия. Никто не заплатит Баграт-Оглы. Он рыдает у края дороги.

Безмолвие гор простирало над нами лиловые знамена. Снега сияли на вершинах. Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть и пал на землю в неизмеримых страданиях.

— Путник, — воскликнул тогда мальчик с лицом, розовым, как заря, — ты извиваешься, и пена клокочет в углах твоих губ. Черная болезнь вяжет тебя канатами своих судорог.

— Баграт-Оглы, — ответил я, изнемогая, — в глазах твоего быка я нашел отражение всегда бодрствующей злобы соседей наших Мемед-ханов. В их влажной глубине я нашел зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших Мемед-ханов. Мою юность, убитую бесплодной, увидел я в зрачках изувеченного быка и мою зрелость, пробивавшуюся сквозь колючие изгороди равнодушия. Пути Сирии, Аравии и Курдистана, измеренные мною трижды, нахожу я в глазах твоего быка, о, Баграт-Оглы, и их плоские песни не оставляют мне надежды. Не-

навистъ всего мира вползает в отверстые глазницы твоего быка. Беги же от злобы соседей наших Мемед-ханов, о, Баграт-Оглы, и пусть старый заклинатель змей взвалит на себя корзину с удавами и бежит с тобою рядом...

И, огласив ущелье стоном, я поднялся на ноги. Я ощутил аромат эвкалиптов и ушел прочь. Многоголовый рассвет взлетел над горами, как тысяча лебедей. Бухта Трапезунда блеснула вдали сталью своих вод. И я увидел море и желтые борты фелюг. Свежесть трав переливалась на развалинах византийской стены. Базары Трапезунда и ковры Трапезунда предстали передо мной. Молодой горец встретился мне у поворота в город. На вытянутой руке его сидел кобчик с закованной лапой. Походка горца была легка. Солнце всплывало над нашими головами. И внезапный покой сошел на мою душу скитальца.

ТЫ ПРОМОРГАЛ, КАПИТАН!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн, — сказали негры, — сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах, — ответил О'Нирн, — шторм имеет девять баллов, и он усиливается; возле Санжейки замерз во льдах «Биконсфильд», барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов. — Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом, — есть, сэр, — и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развевающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал — капитан.

КОНЕЦ СВ. ИПАТИЯ

Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых.

Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича.

Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в костромских лесах.

Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты.

Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.

Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском.

В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни.

Угодники — бесноватые нагие мужики с истлевшими бедрами — корчились на ободранных стенах, и рядом с ними была написана российская богородица: худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки.

Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников.

Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне.

Тогда я распахнул врата Ивана Четвертого, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды.

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега; мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта.

Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.

Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество

баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны.

Женский хохот гремел над горой, самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах.

Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору — на гору святого Ипатия, — младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу.

— Черти, — закричал я, увидев их, и отступил перед наслыханным нашествием. — Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?

— Ну тебя к шуту! — ответила мне баба и выступила вперед. — Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ль, от тебя нести?

И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру № 19 в архиерейских покоях.

И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею.

И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры и что сегодня они переселяются в монастырь.

Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев; потом он позвал меня чай пить и в молчании поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых.

Мы пили чай из этих чашек до поту, бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках: бабы мыли стекла на новых местах.

Потом дым повалил из всех труб, точно сговорился, незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил, чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам.

Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка; багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной

стене показывал 40 градусов мороза, исполинские костры, изнемогая, метались на реке, — все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами — лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв: СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ



КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи трясские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана.

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

—...Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— ...Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал — самолюбие мне дороже...

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».*

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом.

Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и не угасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движе-

нием руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, — Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских банди-

тов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня, — холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

. . . .

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужас-

ном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене

Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида», или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка Бык и компания» произвела на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам ***Бенцион Крик****».*

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — ***Рувим Тартаковский****».*

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь наконец за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Бенчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек, и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто был, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день надели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и мо-

лока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами, выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не

видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, и вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Дочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего

зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач поехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь! — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она надела мужские штиблеты и оранжевое платье, она надела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к

публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого хотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера про-

водила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он надел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стек-

лянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, не похо-

жим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач. — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Ту-

рецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди...

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь. Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баськe и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровные лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор. овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям

Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живут еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая

женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами в

ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала по лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дитя ваше, такое дитя, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов.

Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадает у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием:

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мис-

теру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

КОНАРМИЯ



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.

— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи

пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть, — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне... И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элита, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога стояли

навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанно-

го гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

— Прочь, — сказал я себе, — прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами...

ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли...» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы видать мало, и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их

видали, — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеб по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать, то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильевич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семена Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двес-

ти верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили за польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и свой жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты

блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымается...

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого

седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — А ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Пред-

вестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индельгильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые

мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.

— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов

была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой го-

ловой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю... — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня

в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен чловек! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен чловек не умрет на своей постели... Тего чловека забиют людове...

— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы евангелист Марк и евангелист Матфей, — то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаж-

давщей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец...

— Где же он? — вскричал я.

— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, — цо вы мувите? То же есть немыслимо...

— Так, так, — съежился Аполек и схватил Готфрида, — так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служака. — Тен чло́век не умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался

мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео изза туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«...пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...

Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цека, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не

любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости, — черт с ними...

А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну без всякого плана. Кто же захочет, чтобы ратник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери...

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

В цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто, — он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...

Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об

этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот передо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, наверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани», — отвечаю я революции. «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в

тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу... Пане товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... Мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут..

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пу-

говицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — *возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...»*

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек, пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дёл я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами...

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами, снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков,

когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

РАББИ

— ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город, — сказал рабби, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал цадик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. — Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын рабби, Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо разорванных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими мона-

шескими пальцами, — благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицам, — начал взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицам, — скучает Христос на кресте. И подлетает к кресту всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает

духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И тоже самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парием среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки. Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери...»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жо-

виальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо

рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь ... — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.

— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, — и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице, груши околачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство, — ответил он печально.

— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются? — ответил он еще печальнее, — зачем сватання, венчання, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь... Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Бежишь, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук, — не дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста...

КОМБРИГ ДВА

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас, гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и

желтой наготе полей мы увидели ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Кононада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в поселке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христосом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью.

Это все так было.

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Гроз-

ный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели пить чай. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч. — Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой... Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам...

И сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они

много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей...

— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи

рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.

И во дворе, под немеркнувшей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи...

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга... я порубаю тебя, Сашка...

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генерального моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христосом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей зава-

линки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, — уродись он в Австралии, Матвей наш свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.

— Зачем, — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись, — говорит, — она желает.

И вот я являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею. — Настя, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня

бегом и бежит из последних сил, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне...

И я отвечаю ей:

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тот он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному воля, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в самделе, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует...

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на полюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, ро́дные мои братья, пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок... Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте,

пожалуйста. Принимайте, барин, гостя, или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюшка, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился; судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина...

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни приказываю Павличенке, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению». Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

А он мне: нет!

— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные

взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Я с тобой, как с Российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало глядели. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресла садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...

КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните.

Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображение раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывает о себе...

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки

рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв тылов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние», и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и

ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали

на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше десяти и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

«*Коммунистическая партия,* — было сказано в этом заявлении, — *основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...*»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь,

по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им

ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

«Ладно, — думаю, — будешь моя, раскинешь ноги...»

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не моге, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежь меня, только Буденному отдам я мою саблю...

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан, — кричу я и плачу и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина, взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую доро-

гу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre hetit héros achève sept semaines...»[1]

---

[1] «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель...» *(франц.)*

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, — господнего дерма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги

ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и мужа не захочет!..

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детьми при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей ле-

жанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немного стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе, насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Если видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

ВЕЧЕР

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина.

И подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый, он облит луной, торчащей там, наверху, как

дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза...

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая:

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку.

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин. — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое, волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотой. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невиданного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным

видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака[1]. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

---

[1] Масляков — командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре советской власти.

— Для смеху! — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. — Пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в

пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица — ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня — где его найдешь?

— Конь — он друг, — ответил Орлов.

— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него... Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.

У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные, они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за

моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он святился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих

лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиски в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество, Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться

святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая фигура в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для

того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитируя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачов рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов...

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью

по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем

белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, продвигаясь и пришептывая, — впору... — и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружало Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился. — Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущуюся к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в трикотажной фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать, — ответил я. — Видно, не для тебя приказы пишут, Павел...

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди, — сказал он, — эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачову от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

«*Имея погибнуть сего числа*, — написал он, — *нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному...*»

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята... — и пошел в пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. — Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.

ИВАНЫ

Дьякон Аггев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.

— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий, — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепе-

тала над ослепительными зубами, — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам, или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам — законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит...

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобне́й, — сказал он дьякону не оборачиваясь, — еще удобне́й сидай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим, он свистел песню и помахивал вожжой. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из

прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я. — Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня, — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мной третьи сутки...

Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеле-

ное мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Аггеву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него под самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто...

— Или того лучше, — произнес Аггев и выпрямился, — убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая...

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью по-

ложил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам...

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому

«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию!» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»

Савицкий — Хлебникову

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из ком-

мунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке.

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщин утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой...

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, госпо-

дин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

...А он:

«Какой вы, — говорит, — есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

...Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь... — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели... вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка...» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня, — бормочет Левка и взмахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит?.. При ём сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ём говори...

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.

— Вот холуйское занятьё, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге...

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе,

Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Ше-

велеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик, — сказала она. — Иисус Христос мой, — легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко...

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб шестой кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники... — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке... — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евонную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.

ЗАМОСТЬЕ

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно ме-

тался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади. Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Ты женат, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос наш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также

могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, а также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарищей за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и

снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он

ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой...

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему. — Ведь у тебя ребер нету...

— Положил я на эти ребра... — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и протиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказы-

вает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою... — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладываю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя

моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, — говорит, — Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году...»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду.

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловала кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч...

— Бежит не бежит, — закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц,

вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — завороти мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороти коня...

— Кобылячий хвост заворoти, — ответил Гулимов и ог-

лянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед, — повторял он чуть слышно, — моя за тобой следом... — легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее. Я отвел лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш...

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду...

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. — Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видела я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору...

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозоч-

ный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет... — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. — Где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет...

— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством, — ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галичийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее

скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Ветер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона у станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с

собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням; из них многие были душевного, старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть...

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

А я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил... Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина...

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими

ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу...

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним впору, да вот такая тошнота стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

СЫН РАББИ

...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота, кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мерт-

вой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.

АРГАМАК

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с

Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, враскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль, — ответил он не оборачиваясь, — это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит... Боевой ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги бое-

вым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так, — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помиримся, Пашка. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Бизюков — тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием, — это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

ПОЦЕЛУЙ

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете; я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком, серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский казак, доложил мне обстановку: кроме парализованного старика в наличности оказалась дочь его, Томилина

Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам лягай, мы люди живые...

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает...

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам

приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали из рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги — она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в пле-

теном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет, — сказала она, вглядываясь в меня, — нет, дорогой мой, — и, обхватив мое лицо голыми, длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем. Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем, — сказал он в телефон, — приказание явиться к командиру бригады...

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь, — повторил он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку...

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Толщенской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали, — сказал он весело, — а то съездили бы...

— Нельзя, — ответил я, — хватятся ночью...

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым, беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь — был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских.

Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Помолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком.

— Главное, что время нет, — загородил мне дорогу Суровцев, — сидайте, поедем...

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть... Рано вспугнул...

— И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви, — кабы не старик, я и раньше бы вспугнул... А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал... Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся...

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

РАССКАЗЫ
1925-1938 гг.



ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому

экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина:

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в ко-

ридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику. — Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневы-

ми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всегда только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем ве-

чере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «Виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как ее можно любить; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом.

Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван

Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек.

Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы, — закричал Макаренко, задохся и сделал

такой звук, как будто он рыдает. — Видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь — все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошадки, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, что ль, бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам, что ль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека растормошил турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, — голуби, — повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша

и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые

двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча

девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, мы все увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву...

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в

Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький, — сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь, — прошептала она вдруг, — у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так, — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу? — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что...

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с, — сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки, — сказала мать нам навстре-

чу, — человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье — ты все им отдал... Паршивые копейки, — закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький, — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею...

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, — мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил, — сказал Кузьма, входя, — теперь

очень красивые лежат, — вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит, — проговорил дворник дружелюбно, — служке кишку напихать — служка цельную ночь богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика.

— Прошу вас, реб Аба, — сказал отец, — помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите, — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо, — я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело, — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России, — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот, — граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресеньем...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех, — вскричала она, высовываясь из-под ротонды, — я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом, — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл, — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом, — ой, Шойл, дорогой человек...

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус, — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь, — смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль, — сказал он боязливо, — нельзя передать тебе, как я жалею Шойла...

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист, — сказал Аба, подходя ко мне, — пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило...

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина, — сказала мать певучим, сильным голосом, — как мы беспокоим вас, и милую Надежду Ивановну, и всех ваших... Как мне стыдно, милая Галина...

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок, — шептала мать, — потерпи для мамы...

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда...

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня подвели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурые воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства.

КАРЛ-ЯНКЕЛЬ

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов. Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин

свое хозяйство; постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали, — сказал ему Бычач, — ты должен двинуть это дело...

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралловыми глазами, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфеткой кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, — ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис[1]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол... Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку: «Ты баран, Сема, — значи-

---

[1] Брис — обряд обрезания (*евр.*).

лось в записке, — убей его иронией, убивает исключительно смешное... *Твой Саша»*.

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтийский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району шестьдесят четыре тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала от того, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла... Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики...

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь,

казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. — Скажите, свидетельница, — повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

Если бы синедрион существовал в наши дни, Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками...

— Идем дальше, — сказал Лининг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть, — идем далее... Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?..

— На Нежинской улице, у доктора Дризо...

— Пользовали у доктора Дризо...

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку, — безжизненное лицо Лининга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове.

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала

она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена.

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля, — густым голосом прокричала старуха, — ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв, — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить, — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались...

— Припутана дочка, — сказал рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле...

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносились кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргиз-

ки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девочка, — ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой, — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора

о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не уви-

дела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Co, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки ликольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родив-

шись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, — он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, — Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал

своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним converting скввериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса, — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери — о чем думали четырнадцать лет твои родители?

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана... Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, почему это не пришло мне в голову... Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда

она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была даль-

няя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотанье, — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня за руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов

гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка бергмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские

дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнан-

ный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа за-

жигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за восемьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Он пленных приводил толпами в Рим,
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье?..

При виде нищеты он слезы лил, —
Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Вы видели во время Луперкалий,
Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал. Я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этим плащ знаком. Я помню даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке,
Где находился он, разбив неврийцев,
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в

окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, — и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстания в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были признесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в тысяча девятьсот одиннадцатом году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в тысяча девятьсот тринадцатом году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячневая каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть...

— Больно не будет, — вскричала Юдифь, — в мякоть не больно...

— У меня нет мякоти, — сказал Меер Бесконечный, — меня не во что колоть.

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье, — пробормотал он, — свет — бордель, люди — аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройлин ему отпускает, — этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы привить оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье, — повторил Меер Бесконечный, — люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велисипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон-Вольф, — нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализо-

ванного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб, — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, — ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего Арье-Лейб, — у меня нет времени...

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к кале-

кам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Федька, — нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей. — Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эл молей рахим»[1] над

---

[1] Заупокойная еврейская молитва.

разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим»[1], — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»[2]...

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в

[1] Суета сует (*евр.*).

[2] И всяческая суета (*евр.*).

шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч, — мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить... Со мной можно ладить... — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, — лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать. — Заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается...

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень, — опустив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

ДОРОГА

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ в городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, в мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф, Хаим...[1]

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра.

---

[1] Беги, Хаим... (*евр.*)

Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной... Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать обмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одеж-

ду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант, — он там теперь...

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне, — сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви.

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамках висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос — Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимая голову, — здорово... Тебя здесь надо...

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и... проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять...

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гар-

дин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majesté, l'Empereur de toutes les Russies[1], — было выгравировано на цинковой крышке, — от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была, — сказал он, — авось не считаны... Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское... А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей: она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе

[1] Его величеству, императору всероссийскому (*фр.*).

преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю...

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того чтобы там обменять на хлеб.

В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых, этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товары были перегружены на баржу. Трюм этой баржи превратился в самодельный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили

портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу; не обошлось без гармоник и балалаек.

Там же, на Увеке, нам придали буксир — «Иван Тупицын», названный по имени волжского купца, прежнего хозяина. На пароходе разместился «штаб» — Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже, под стойками.

Перегрузка заняла неделю. В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными немногословными людьми.

Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и масляными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела — так мне казалось — вкус и цвет малинового варенья.

Малышев рассчитал верно; торговля пошла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце. Солнце сияло на вершинах пшеничных холмов. Телеги тысячами точек спускались к Волге. Рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки голландских фермеров, переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме. Под патриархальным мхом бровей, в сети кожаных морщин, блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу; деревянные их башмаки стучали, как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих возков

охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом.

Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру. Лавка запиралась; охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали с бортов в Волгу, подожженную закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купанье сотрудников продовольственной в Самарскую губернию экспедиции (так назывались мы в официальных бумагах) представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие не досчитывали руки или глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илистые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая, калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружке обрубленные конечности. После купанья мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермаера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками — Августа и Анна — подавали нам котлеты — рыжие булыжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скирдами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую гороподобную эту еду подбавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошечек, вырезанных высоко, у потолка, шел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели Песков и Охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер наново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам. В сумерках мерцали радужные коровьи глаза.

Войны, казалось, не было и нет на свете. И все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бидермаер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому.

Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по дороге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским Саардамом. Августы и Анны, окаменев, слушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладины дрожали на реке, тьма была легка; она отступала к прибрежному песку; в порванном неводе загибались светящиеся черви.

Голос Селецкого был неестественной силы. Саженный детина, он принадлежал к тому разряду провинциальных Шаляпиных, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у Шаляпина — не то шотландского кучера, не то екатерининского вельможи. Он был простоват, не в пример божественному своему прототипу, но голос его, безгранично, смертельно раздвигаясь, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского забытья. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого в первый раз услышал я гречаниновскую «Смерть». Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой:

...Она не забудет, придет, приголубит,
Обнимет, навеки полюбит, —
И брачный свой, тяжкий, наденет венец!..

В мгновенной оболочке, называемой человеком, песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.

Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Боженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вацетис.

Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к баронской пристани пришвартовывался бело-розовый самолетский пароход «Иван-да-Марья».

Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно».

Командовал пароходом Коростелев, спитой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании.

Возвращаясь от Бидермаера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни «Иван-да-Марьи». Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке.

Волга катилась неслышно. Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, побледнев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками. От бидонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев, не отрываясь, смотрел с полу на своего комиссара латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон «Правды», читал его в свете плавящегося керосинового костра.

— Вот ты какой, — сказал с полу Коростелев, — продолжай то, что ты говорил... Мучай нас, если хочешь...

— Зачем я буду говорить, — отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном, — лучше я тебя послушаю...

На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик.

— Лисей, — сказал ему Коростелев, — водки.

— Вся, — ответил Лисей, — и достать негде...

Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стал выбивать:

— Российскому человеку выпить требуется, — латыш говорил с акцентом, — у российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде... Зачем тогда Волга называется?..

Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли.

— Мучай нас, — сказал он чуть слышно и вытянул шею, — мучай нас, Карл...

Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку:

— Ишь, Волгу ремизит... Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремизь, не порочь... Знаешь, как у нас песня играется: «Волга-матушка, река-царица...»

Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении.

— Вот никоим образом не пойму, — обратился к нам Ларсон (он, видимо, продолжал давнишний спор), — может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма?..

Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть.

— Что ты, друг, об Калуге знаешь, — успокоительно сказал Лисей, — в Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет: великолепный, если желаешь знать, народ...

— Водки, — произнес с полу Коростелев.

Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал.

— Мы-ста да вы-ста, — пробормотал латыш, придвигая к себе картон, — авось да небось...

Бурный пот бил на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня.

— Авось да небось, — он снова фыркнул, — мы-ста да вы-ста...

Коростелев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе.

— Ты не смеешь мучить Россию, Карл, — прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.

Тот надулся и поверх сползших очков осмотрел всех

нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил.

— Получил, — отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело, — и еще получишь...

Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по-собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол.

— Россия, — проговорил он под столом и забился, — Россия...

Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово — со свистом и стоном — можно было расслышать в его визге.

— Россия, — выл он, протягивая руки, и колотился головой.

Рыжий Лисей сидел на бархатном диване.

— С полдня завелись, — обернулся он ко мне и Селецкому, — все об Рассее бьются, все Рассею жалеют...

— Водки, — твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, замокшие в кровавой луже, падали на щеку.

— Где водка, Лисей?

— Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст, хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст... Там ноне храм, самогон обязан быть... Немцы, что хошь делай, не держат...

Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах.

— Мы калуцкие, — неожиданно закричал Ларсон.

— Не уважает Калугу, — вздохнул Лисей, — хоть ты што... А я в ей был, в Калуге... В ей стройный народ живет, знаменитый...

За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови Лисея поднялись.

— Никак в Вознесенское едем?..

Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты.

— Дмитрий Алексеевич, — крикнул вверх Селецкий, — нас-то отпусти, мы-то при чем?..

Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. «Иван-да-Марья» ворочал носом.

— Поехали, — сказал Лисей, вышедший на палубу, — поехали в Вознесенское за самогоном...

Раскручивая колесо, «Иван-да-Марья» набирал быстроту. В машине нарастала масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакены, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлащенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист, — вспомнил я фразу из учебника, — он изобилует мелями...» Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы.

— Полный, — сказал он в рупор.

— Есть полный, — ответил глухой невидимый голос.

— Еще дай...

Внизу молчали.

— Сорву машину, — ответил голос после молчания.

Факел сорвался с мачты и проволочился по крутящейся волне. Пароход качнулся; взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдюймовкой. Снаряд просвистел в мачтах. Поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатился по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по грязным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Изо рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замаслившихся цилиндров, кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода «Иван-да-Марья» была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня.

— Жид, — сказал мне рулевой, — что с детями будет?..

— С какими детями?

— Дети не учатся, — сказал рулевой, ворочая кругом, — дети воры будут...

Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрежетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок.

— Загрызу...

Я попятился от него. По палубе проходил Лисей.

— Что будет, Лисей?

— Должен довезти, — сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть.

Мы спустили его в Вознесенском. «Храма» там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, он вынырнул у самой воды, нагруженный бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная как лошадь. Детская кофта, не по ней, обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, как мы грузились.

— Сливочный, — сказал Лисей, ставя бидоны на стол, — самый сливочный самогон...

И гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река расстилалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на клочьях кустов. Глухие крашеные стены амбаров, тонкие их шпили медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы подходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелся. Тут все было — «Блоха» Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника: «Не мельник я — я ворон...»

Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинуто к небу, по нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход.

— Алеша, — сказал он в рупор, — самый полный.

И мы врезались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами в прошлый раз, разлетелась. Машину застопорили вовремя.

— Вот и довез, — сказал Лисей, оказавшийся рядом со мной, — а ты, друг, опасывался...

На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и остывали на берегу, только что оставленном водой. У самой пристани валялись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папахе и неподпоясанной рубахе сидел Макеев, ко-

мандир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки.

— Опять я, Костя, начудил, — сказал он с детской своей улыбкой, — все горючее извел...

Макеев боком сидел на ящике, клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашеной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся.

— Фу ты ну ты, — пролепетал Коростелев, весь светясь, — вот ты и рассердился... — Он шире расставил худые руки. — Фу ты ну ты...

Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще что-то хотел сказать, но не успел, вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки, лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон.

— Отшутились, — сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходен.

Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею Коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу, смотрела с борта на берег сощуренными, незрячими глазами.

— Я те погляжу, — сказал ей Макеев, — я научу горючее жечь...

Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу.

В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки.

До обеда мы ссыпали в баржу фридентальское зерно, к вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе «Тупицына». Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор:

— И правильно... Будь ты трижды хороший человек —

и в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный, — а вот горючее, сделай милость, не жги...

Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом.

ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованию были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенного розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела неподвижно во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце танцующими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на ро-

дине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры.

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржание и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с

перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом восемьдесят третьего года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France[1]... Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сид-

[1] Солнце Франции (*фр.*).

ром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle?[1]» — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабавимся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte...[2] За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux[3], за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

---

[1] Красавица (*фр.*).

[2] Этот пройдоха Полит... (*фр.*)

[3] Дружок (*фр.*).

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда спотыкаясь.

Ночь положила под голодную мою юность бутылку муската восемьдесят третьего года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты

стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках... Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

НЕФТЬ

«...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в «заграничном», начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. «Выросши», парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как говорит Харченко), что никуда не сдвинешь... Увиделись мы дня два тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или Советскую власть?.. Он понял, вильнул, сказал: «Звоните»... Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера — звонок: «Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефтесиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясная картина предприятия, коечто удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро

родит, перипетий было много... О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он. Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее и прочее, прочее... Зинаида, будучи женщиной двадцатого столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет, бледнеет, бормочет:

— Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

— Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать только — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем, — погляди, какой экземпляр у Ани, — да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащут младенца в воспитательный или на деревню к кормилке...

— Вздор, Зинаида, — говорю я ей, — другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя,

потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным, я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками, нефте- и продуктопроводами; как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собрании молодые инженеры из типа «всеядных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится», — вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости... На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с тысяча девятьсот тридцать первого года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва, Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я не

дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать, — спрашиваю, — или нет?

Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука.

— Нас двое, Клавдюша, — говорит она мне, — я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж и не помню, как живут люди без несчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Мориц, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее на кухню картошку чистить... Не смейся, приедешь — и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу — и снова трубят... Ушла она на кухню. Через минуту слышу крик. Прибегаю — Зинаида моя на полу, пульса нет, глаза закатились... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Андреевич, Васена и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку, — ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность. Я вижу: все перегорело в ней за эти часы и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша, — говорю я, — мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что не придешь... Можно мне звонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю — он говорит:

— Мне шестьдесят пять лет, Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все — бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой, — ну, вы знаете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство.

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась

прийти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно...

Придворная наша — все та же: розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе, — тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит, — я ему говорю. — Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет.) — Решили — Иваном, — Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум, — не то что нас — на Воробьевы горы... До свидания, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

Клавдия

...P. S. Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...

— Вот она, когда сражения пошла, — он мне говорит. — Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...»

УЛИЦА ДАНТЕ

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton»[1] поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу... В этом никто нам не откажет...

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie...[2]

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins[3].

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare[4]. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ри-

---

[1] Отель Дантон (*фр.*).

[2] Нужно переделать вашу жизнь... (*фр.*)

[3] Винный рынок (*фр.*).

[4] Вокзал Сент-Лазар (*фр.*).

вьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale[1]. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean...[2]

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы tailleur[3]. Мосье Анриш энглезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналя.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

---

[1] Королевская улица (*фр.*).

[2] О, Жан... (*фр.*)

[3] Английский дамский костюм (*фр.*).

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда пришла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean... и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon vieux, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle[1], — ответил он и стал ежиться, — то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, — все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее. Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли... куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен...

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечной любви на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en ai plein le dos...[2]

Он повеселел в кафе «Де-Пари» за рюмкой коньяку. Мы

---

[1] Эта женщина сумасшедшая (*фр.*).

[2] О, у меня достаточно хлопот... (*фр.*)

сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с Rue de la Gaîte[1]. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин.

— Ah, canaille![2] — сказал им вслед Бьеналь. — Два года назад с нее довольно было аперитива...

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон», синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печаль уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажи, — они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице

---

[1] Улица Веселья (*фр.*).

[2] А, каналья! (*фр.*)

Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и косьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila qui n'est pas gai, — сказал я, входя, — quel malheur![1]

— C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait...[2]

Под кружевцами вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore, — как эхо сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте. — Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore...[3]

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour, — наступая на меня, повторила мадам Трюффо, — c'est one grosse affaire, l'amour...[4]

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio, — произнесла синьора Рокка, — tu non perdoni quelli, chi non ama...[5]

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

---

[1] Вот кому невесело. Какой ужас! (*фр.*)

[2] Это любовь, сударь... Она любила его... (*фр.*)

[3] Любовь. Бог наказывает тех, кто не знает любви... (*итал.*)

[4] Любовь — это великое дело, любовь... (*фр.*)

[5] Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит... (*итал.*)

ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжими, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен,

кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновения, одна без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив его горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Теат-

ральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутылки вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»[1], но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

---

[1] «Граф Кентский» (*англ.*).

— Циленька, — называют эти мужья своих жен, — золотко, деточка...

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

СУЛАК

В двадцать втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в Галицию, вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышову и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хощеватое, на родину Сулака. Председателем сельрады оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый.

— Вы тут кувшина молока не расстараетесь, — сказал он нам, — в том Хощеватом людей живьем едят...

Расспрашивая о ночлеге, Чернышов навел разговор на хату Сулака.

— Можно, — сказал председатель, — у цей вдовы и хатына есть...

Он повел нас на край села, в дом, крытый железом. В горнице, перед грудой холста, сидела карлица в белой кофте навыпуск. Два мальчика, в приютских куртках, склонив стриженые головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой, белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота.

— Харитина Терентьевна, — неуверенным голосом сказал председатель, — хочу хороших людей к тебе постановить...

Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту.

— Ця вдова не откажет, — сказал председатель, когда мы вышли, — у ней обстановка такая...

Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что Сулак служил когда-то у желто-блакитных, а от них перешел к папе римскому.

— Муж у папы римского, — сказал Чернышов, — а жена в год по ребенку приводит...

— Живое дело, — ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее, — вы на эту вдову не глядите, что она недомерок, у ней молока на пятерых хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются...

Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач.

— Ганночка, божусь тебе, — бормотал наш хозяин, — божусь тебе, завтра до вчительки пойду...

— Разговорились, — крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной, — людям спать не даешь...

Всклокоченный председатель выглянул из-за печи; ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали книзу.

— Вчителька в школе трусов на развод давала, — сказал он виновато, — трусиху дала, а самого нет... Трусиха побыла, побыла, а тут весна, живое дело, она и подалась в лес. Ганночко, — закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке, — завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем...

Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой, он все вскрикивал «Ганночко», потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышов.

— Пошли, — сказал он.

Мы встали. На чистом, без облачка небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде Сулака, заросшем бу-

рьяном, торчали голые стебли кукурузы, валялось обломанное железо. К огороду примыкала конюшня, внутри ее слышался шорох, в расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них, запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни, на дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках.

— Здравствуй, Адриян, — сказал Чернышов, — ужинать собрался?..

Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили.

— Адриян, — сказал Чернышов и отскочил, — нам тебя живого надо...

Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул.

— С тобой как с человеком разговаривают, — сказал Чернышов и выстрелил. Сулак прислонился к желтой оструганной стене, потрогал ее, кровь вылилась у него изо рта и ушей, и он упал.

Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом с Чернышовым по мокрой, тускло блиставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок.

— Молочная, — сказал вдруг Чернышов, шагавший по дороге, — я тебе покажу молоко...

СУД

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard des Italiens[1] с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Rue de la Paix[2].

---

[1] Итальянский бульвар (*фр.*).

[2] Улица Мира (*фр.*).

— Accès de folie passagère[1], — определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар. Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Урса на арену цирка. В зале суда французы, в небрежно сшитых пиджаках, громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на возвышении, под мраморным гербом республики — сидел краснощекий мужчина с галльскими усами, в тоге и в шапочке.

— Eh bien, Nedatchine[2], — сказал он, увидев обвиняемого, — eh bien, mon ami[3]. — И картавя, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян Nedatchine, — звучно говорил председатель, — вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции... Офицер царской армии — вы эмигрировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе... Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности, — звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его, — разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж... В Париже... — Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу, — в Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогли овладеть... Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар...

Чужая речь сыпалась на Недачина как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

---

[1] Припадок временного безумия (*фр.*).

[2] Итак, Недачин... (*фр.*)

[3] Итак, друг мой (*фр.*).

—. Voyons[1], — сказал председатель неожиданно, — я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала, трясясь, жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам, — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом.

Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо — к иссохшему старику в тоге и в шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, мой друг, — кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— T'a encaisse dix ans[2], — сказал жандарм за его спиной, — c'est fini, mon vieux[3]. — И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

СПРАВКА

В ответ на ваш запрос сообщаю, что литературную работу я начал рано, лет двадцати. Меня влекла к ней природная склонность, поводом послужила любовь к женщине по имени Вера. Она была проституткой, жила в Тифлисе и

---

[1] Ну вот (*фр.*).

[2] Тебе дали десять лет (*фр.*).

[3] Все кончено, дружок (*фр.*).

слыла среди своих подруг деловой женщиной: брала в заклад вещи, покровительствовала начинающим и при случае торговала в компании с персами на восточном базаре. Каждый вечер выходила она на Головинский проспект и — рослая, белолицая — плыла впереди толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Я крался за ней безмолвно, копил деньги и, наконец, решился. Вера запросила десять рублей, прижалась ко мне мягким, большим плечом и забыла обо мне. В харчевне, где мы ели люля-кебаб, она, разгоревшись от волнения, убеждала кабатчика расширить торговлю, переехать на Михайловский проспект. Из харчевни мы отправились к сапожнику за туфлями, потом, оставив меня одного, Вера пошла к подруге, у которой были крестины в тот день. В двенадцатом часу ночи пришли мы в гостиницу, но и там нашлись дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Вера тискала коленями ее чемоданы, заворачивала в масляную бумагу пирожки. Старуха с рыжей сумкой на боку и в газовой шляпенке ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами.

Я ждал Веру в ее номере, заставленном трехногими креслами, с глиняной печью и сырыми углами в разводах. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи, каждая умирала по-своему; чужая жизнь шаркала и разражалась хохотом в коридоре. Прошла вечность, прежде чем явилась Вера.

— Сейчас сделаемся, — сказала она и прикрыла за собой дверь. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой, перелила согревшуюся воду в кружку, от которой отходила белая кишка. Она бросила кристалл в кружку и стала стягивать с себя платье.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала Вера, — поверишь, она нам как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

В постели, слепо уставившись на меня расплывшимися сосками, лежала большая женщина с опавшими плечами.

— Что сидишь невесел? — спросила Вера и потянула меня к себе, — или денег жалко?..

— Моих денег не жалко...

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?

— Я не вор, а мальчик...

— Вижу, что не корова, — зевнув, сказала Вера, глаза ее слипались.

— Мальчик... — повторил я и похолодел от внезапности моей выдумки.

Отступать было некуда, и я рассказал случайной моей спутнице такую историю:

— Мы жили в Алешках Херсонской губернии, — придумано было для начала, — отец работал чертежником, пытался дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, картежницу и лакомку. Десяти лет стал я воровать у отца деньги, а подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня со стариком. Звали его Степаном Ивановичем, я сошелся с ним, и мы прожили всего четыре года...

— Да тебе лет-то сколько было?..

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от человека, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили с ним четыре года, Степан Иванович оказался доверчивым человеком, всем верил на слово... Мне бы ремесло изучить за эти годы, но у меня на уме одно было — биллиард... Приятели разорили Степан Иваныча. Он выдал им бронзовые векселя, векселя предъявили ко взысканию...

Как взбрели мне на ум бронзовые векселя — кто знает? — но я сделал правильно, упомянув о них. Женщина всему поверила, услышав о векселях. Она закуталась в шаль, красный платок заколебался на ее плечах.

— ...Степан Иваныч разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд, я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, к церковному старосте...

Церковный староста... Это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца... Чтобы поправиться — я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья... Старик вскакивал по ночам и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь... Он скоро умер... Родственники прогнали меня. И вот я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане. Номерной гостиницы, где я остановился, обещал богатых гостей, но пока он приводит одних духанщиков...

И я стал молоть о духанщиках, о грубости их и корыстолюбии — вздор, слышанный мной когда-то... Жалость к

себе разрывала мне сердце, гибель казалась неотвратимой. Я замолчал. История была кончена; керосинка потухла. Вода закипела и остыла. Женщина неслышно прошла по комнате. Передо мной двигалась ее спина, мясистая и печальная.

— Чего делают, — прошептала она и развела створки окна, — боже, чего делают...

В квадрате окна уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. Остывающие камни посвистывали на улице. Запах воды и пыли шел от мостовой.

— Ну, а баб ты знаешь? — обернулась ко мне Вера.

— Откуда мне их знать... Кто меня допустит...

— Чего делают, — сказала Вера, — боже, чего делают...

Я прерву здесь рассказ для того, чтобы спросить вас, товарищи, видели ли вы, как рубит деревенский плотник избу для своего собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки от обтесываемого бревна?..

В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня немудрой своей науке. Я испытал в ту ночь любовь, полную терпения, и услышал слова женщины, обращенные к женщине.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки.

Когда испарина бисером обложила меня — я поставил стакан донышком вверх и придвинул к Вере две золотые пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не по-

лучили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера: в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, — сказал Миша, снимая шляпу, — мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. — Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, — ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твой дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека про прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха... — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце...

— Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебы-

вали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой, — тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пустой, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет, и в чоботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападение на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там, распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой конвоир, — помер и помер, все одинакие...

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дело по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы — власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернулся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер, — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

ПЬЕСЫ



ЗАКАТ

Пьеса в 8 сценах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.

Нехама — его жена, 60 лет.

Беня — их дети — щеголеватый молодой человек, 26 лет.

Левка — их дети — гусар в отпуску, 22 года.

Двойра — их дети — перезрелая девица, 30 лет.

Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.

Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.

Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.

Бен Захарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.

Фомин — подрядчик, 40 лет.

Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.

Маруся — ее дочь, 20 лет.

Рябцов — хозяин трактира.

Митя — официант в трактире.

Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.

Мадам Попятник — его жена. Сплетница с неистовыми глазами.

Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.

Семен — лысый мужик.

Бобринец — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.

Вайнер — гундосый богач.

Мадам Вайнер — богачиха.

Клаша Зубарева — беременная бабенка.

Мосье Боярский — владелец конфексиона готовых платьев под фирмой «Шедевр».

Сенька Топун.

Кантор Цвибак.

Действие происходит в Одессе в 1913 г.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы.

В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги.

Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар.

В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

Арье-Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Левка (*хохочет. В грубом его голосе движутся громы*). На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну.

Арье-Лейб. Это со всеми так делают или только с евреями?

Левка. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. При чем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Двойры.

Двойра. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Нехама (*ни на кого не глядя, бурчит себе под нос*). Посмотри в комоде.

Двойра. Я смотрела в комоде — нету.

Нехама. В шкафу.

Двойра. В шкафе нету.

Л е в к а. Какое платье?

Д в о й р а. Зеленое с гесткой.

Л е в к а. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Д в о й р а входит в комнату. Она высока ростом, дебела.

Д в о й р а (*деревянным голосом*). Ох, я умру!

Л е в к а (*матери*). Вы небось признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру?.. Она призналась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора.

Д в о й р а. Ох, я умру! (*Она разражается громовым плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.)* Нате вам!..

Н е х а м а. Издохни! Сегодня издохни...

Рыча и рыдая, Д в о й р а убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Б е н я (*вывязывает галстук*). Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Ты это про отца, Левка?

Л е в к а. Пусть не будет босяком.

А р ь е - Л е й б. Отец старше тебя на субботу.

Л е в к а. Пусть не будет грубияном.

Б е н я (*закалывает в галстук жемчужную булавку*). В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится...»

Л е в к а (*матери*). Сто раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить...

А р ь е - Л е й б. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, аминь!..»

Б е н я (*вывязал галстук, сбросил с головы малиновую*

повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки). Здоровье присутствующих!

Левка (*грубым голосом*). Будем здоровы.

Арье-Лейб. Чтобы было хорошо.

Левка (*грубым голосом*). Пусть будет хорошо!

В комнату вкатывается мосье Боярский, бодрый круглый человек. Он сыплет без умолку.

Боярский. Привет! Привет! (*Представляется.*) Боярский... Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

Арье-Лейб. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Боярский (*усаживается и берет из рук старухи стакан чаю*). Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

Арье-Лейб. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Боярский. Через день, как часы.

Арье-Лейб (*старухе*). Худо-бедно положите пятьдесят копеек в ванну.

Боярский. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони...

Арье-Лейб. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Боярский. Я захаживаю к Фанкони.

Арье-Лейб (*победоносно*). Он захаживает к Фанкони!.. (*Старухе.*) Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу — сорок.

Боярский. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

Арье-Лейб (*с упоением*). Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел!.. На тридцать рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

В комнату вплывает Двойра. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Б о я р с к и й (*вскакивает*). Привет! Боярский.

Д в о й р а (*хрипло*). Очень приятно.

Все садятся.

Л е в к а. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Б о я р с к и й. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

А р ь е - Л е й б. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться!

Б о я р с к и й. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом, — капитал — это ничтожество, — Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

А р ь е - Л е й б (*старухе*). Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу — десять...

Б о я р с к и й. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

А р ь е - Л е й б. И я вам отвечу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Б е н я (*разливает вино*). Исполнение обоюдных желаний.

Л е в к а (*грубым голосом*). Будем здоровы!

А р ь е - Л е й б. Чтобы было хорошо!

Л е в к а. Пусть будет хорошо.

Б о я р с к и й. Я начал про Фанкони. Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейня набита людьми, как синагога в Судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим некуда... Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз... Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный... поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-фран-

цузски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы...

Л е в к а. Крыша?

Б о я р с к и й. Сукно, верх для шубы... Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Л е в к а. Я люблю раков.

А р ь е - Л е й б. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Б о я р с к и й. ...и скушать десять раков...

Л е в к а (*грубым голосом*). Я люблю раков!

А р ь е - Л е й б. Рак — это же жаба.

Б о я р с к и й (*Левке*). Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и бильярдисты. Это говорю вам замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Б е н я. Боярский!

Б о я р с к и й. Я.

Б е н я. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Б о я р с к и й. Двубортный, однобортный?

Б е н я. Однобортный.

Б о я р с к и й. Фалды вы себе мыслите — круглые или отрезанные?

Б е н я. Фалды круглые.

Б о я р с к и й. Сукно ваше или мое?

Б е н я. Сукно твое.

Б о я р с к и й. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Б е н я. Какой лучше?

Б о я р с к и й. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Б е н я. Возьмем английское.

Б о я р с к и й. Доклад ваш или мой?

Б е н я. Доклад твой.

Б о я р с к и й. Сколько вам обойдется?

Б е н я. Сколько мне обойдется?

Б о я р с к и й (*осененный внезапной мыслью*). Мосье Крик, мы сойдемся!

А р ь е - Л е й б. Вы сойдетесь!

Б о я р с к и й. Мы сойдемся... Я начал про Фанкони.

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит М е н д е л ь К р и к с кнутом и Н и к и ф о р, старший кучер.

А р ь е - Л е й б (*оробел*). Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским...

Б о я р с к и й (*вскакивает*). Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

А р ь е - Л е й б (*заикаясь*). Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц...

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р (*прислонился к косяку двери и уставился в потолок*). Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

М е н д е л ь. Почему с нас люди смеются?

Н и к и ф о р. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию.

М е н д е л ь. Приказание дал?

Н и к и ф о р. Приказание дал.

Н е х а м а (*стянула сапог, размотала грязную портянку, Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы*). Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р. Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Б е н я (*отставив мизинец, пьет вино*). Обоюдное исполнение желаний.

Л е в к а. Будем здоровы.

Н и к и ф о р. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не

приказывал... А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пирог, варенье — все полетело на пол.

М е н д е л ь. Кто же твой хозяин, Никифор?

Н и к и ф о р (*угрюмо*). Вы мой хозяин.

М е н д е л ь. А если я твой хозяин (*он подходит к Никифору и берет его за грудь*), а если я твой хозяин, так бей того, кто вступит ногой в мою конюшню, бей его в душу, в жилы, в глаза... (*Он трясет Никифора и отшвыривает от себя.*)

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор. Старуха тащится на коленях к двери.

Н е х а м а. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

Молчание.

А р ь е - Л е й б. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил Высших женских курсов...

Б о я р с к и й. ...так я поверю вам без честного слова.

Б е н я (*подает Боярскому руку*). Зайдешь другим разом, Боярский.

Б о я р с к и й. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет! Зайду другим разом. (*Исчезает.*)

Беня встает, закуривает папиросу, перекидывает через руку щегольской плащ.

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...»

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.

Здрасте! Двойра получила истерику (*он разжимает ножом крепко стиснутые зубы сестры. Она верещит все пронзительнее*).

В комнату входит Н и к и ф о р. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Б е н я. Заложи мне гнедого в дрожки!

Н и к и ф о р (*из носу у него вытекает нерешительная струйка крови*). Расчет мне дайте...

Б е н я (*подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом*). Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, дружок мой...

ВТОРАЯ СЦЕНА

Ночь. Спальня Криков. Черные балки на низком потолке. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. С т а р и к и Н е х а м а на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит низким голосом, бубнит нескончаемо.

Н е х а м а. У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

М е н д е л ь. Дай жить, Нехама. Спи!

Н е х а м а. ...Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

М е н д е л ь. Дай дыхать, Нехама! Спи.

Н е х а м а. ...Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Н е х а м а. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья... Настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне...

М е н д е л ь (*сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой*). Чего не дадут евреи?

Н е х а м а. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья...

М е н д е л ь. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?

Н е х а м а. Не пустят, не пустят в синагогу.

М е н д е л ь. Карбованец с откусанным углом мне дали твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Н е х а м а. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

М е н д е л ь (*укладывается*). О, кляча на мою голову!

Н е х а м а. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два

года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

М е н д е л ь. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Н е х а м а. Горячий как печка.... Как мне стыдно, бог!.. (*Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотанье.*) В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама.

Н е х а м а (*плачет*). Люди цацкаются с внуками...

Входит Б е н я. Он в нижнем белье.

Б е н я. Может быть, хватит на сегодня, молодожены?

Мендель приподнимается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

М е н д е л ь (*встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье*). Ты... ты вошел?

Б е н я. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел?

Б е н я. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклокоченная грязно-серая голова Нехамы.

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел...

ТРЕТЬЯ СЦЕНА

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Р я б ц о в, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Безрадостные пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист М и р о н (в просторечии М а й о р) П о п я т н и к. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с С е н ь к о Т о п у н о м, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два м а т р о с а спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Ф о м и н. Его в чем-то горячо убеждает пьяная П о т а п о в н а. За передним столом стоит М е н д е л ь К р и к, пьяный, воспаленный, громадный, и У р у с о в, ходатай по делам.

М е н д е л ь (*бьет кулаком по столу*). Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант М и т я, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

М и т я. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело...

М е н д е л ь. Темно!

М и т я (*Рябцову*). Добавку освещения требует.

Р я б ц о в. Рупь.

М и т я. Получайте рупь.

Р я б ц о в. Получил рупь.

М е н д е л ь. Урусов!

У р у с о в. Есть!

М е н д е л ь. Скрозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

У р у с о в. По науке считается, скрозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели...

М е н д е л ь. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

У р у с о в. Свободно вполне. Сел и поехал...

Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.

П о т а п о в н а. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать?

М е н д е л ь. Сел, говоришь, и поехал?

У р у с о в. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

М е н д е л ь. А ты сказал — человек через моря лететь может?

У р у с о в. Может.

М е н д е л ь. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

У р у с о в (*с твердостью*). Может.

М е н д е л ь (*сжимая ладонями лохматую голову*). Конца нет, краю нет... (*Рябцову.*) Поеду. В Бессарабию поеду.

Р я б ц о в. А делать чего будешь в Бессарабии?

М е н д е л ь. Чего захочу, то и буду.

Р я б ц о в. А чего тебе хотеть?

М е н д е л ь. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Р я б ц о в. Не живой ты, если тебя бог убил.

М е н д е л ь. Когда это меня бог убил?

Р я б ц о в. Годов-то тебе сколько?

Г о л о с и з т р а к т и р а. Годков ему всех-всех шестьдесят два.

Р я б ц о в. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

М е н д е л ь. Рябцов, я бога хитрей.

Р я б ц о в. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

М и т я вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых д е в к и с засаленными грудями. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Ослепительный свет разливается по трактиру.

М и т я. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое его лицо.

Г о л о с и з т р а к т и р а. Из ночи день делаем, Мендель?

М е н д е л ь. Конца нет.

П о т а п о в н а (*дергает Урусова за рукав*). Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям к этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблонька задичится, я ее раздичу...

Г о л о с и з т р а к т и р а. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

П о т а п о в н а (*кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее*). Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послухайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я же садовница, я папочкина дочка!..

М е н д е л ь (*идет к стойке*). Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрей паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Р я б ц о в. Ставь. Кто тебя не пущает?

Г о л о с и з т р а к т и р а. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

Мендель. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

Колеблясь, срываясь, флейта выводит пронзительную мелодию. Мендель пляшет, топает чугунными ногами.

Митя (*Урусов шепотом*). Фомину приходить или рано?

Урусов. Рано. (*Музыканту.*) Прибавь, Майор!

Голос из трактира. И прибавлять нечего, хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — слепцы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец Пятирубель, азартный человек, друг Менделя.

Пятирубель. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

Мендель (*бросается к запевале, рябому рослому слепцу*). Федя, я в Бессарабию еду.

Слепой (*густым, глубоким басом*). Счастливо вам, хозяин!

Мендель. Песню, Федя, последнюю мою!..

Слепой. «Славное море» — споем?

Мендель. Последнюю мою...

Слепые (*настраивают гитары. Тягучие их басы запевают*).

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал:
Плыть молодцу недалечко.

Мендель (*швыряет в окно пустую бутылку. Стекло разлетается с треском*). Бей!

Пятирубель. Ох, и герой же, сукин сын!

Митя (*Рябцову*). За стекло сколько посчитаем?

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Слепые (*поют*).

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя...

М е н д е л ь (*ударом кулака вышибает оконную раму*). Бей.

П я т и р у б е л ь. Сатана, а не старик!

Г о л о с а и з т р а к т и р а:

— Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито... Обнаковенно гуляет.

— Обнаковенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер... Обнаковенно гуляет.

— А причина какая, по какой причине гуляет?

Р я б ц о в. Поди разбери причину. У одного деньги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет...

Песня гремит все могущественнее. Звон гитар бьется о стены и зажигает сердца. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь.
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

П о т а п о в н а (*пьяна и счастлива*). Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

П я т и р у б е л ь. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик! Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил...

Шел я ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

М е н д е л ь. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Г о л о с а и з т р а к т и р а:

— Чисто слон!

— У нас и слоны слезами плакали...

— Это врешь, слоны не плачут...

— Говорю тебе, слезами плакал...

— В зверинце я слона одного задражнил...

М и т я *(Урусову)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано.

Певцы поют во всю мочь. Песня грохочет. Гитары захлебываются, дрожмя дрожат.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Слышатся грома раскаты...

Страшными, радостными рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

Митя. И все?

Запевала. Хватит.

Мендель (*вскочил с пола и затопал*). Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

Митя (*Урусову*). Фомину взойти или рано?

Урусов. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Фомин. С приятным заседанием!

Урусов (*Менделю*). Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. (*Вытаскивает исписанный лист бумаги.*) Читать, что ли?

Фомин. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

Урусов. Сумму, что ли, читать?

Фомин. Согласен на такое ваше предложение.

Мендель (*во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается*). Я песни приказывал...

Фомин. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

Урусов (*читает очень картаво*). «...Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...»

Пятирубель. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

Урусов. «...А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...»

Мендель (*указывая пальцем на турка, безмятежно курившего кальян в углу*). Вон человек сидит, обсуждает меня.

Пятирубель. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! *(Фомину.)* Ей-богу, сейчас человека убьет.

Фомин. Авось не убьет.

Рябцов. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

Потаповна *(потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется)*. Папочкина дочка!

Фомин. Вот, дорогой, тут и распишись.

Потаповна *(хлопает Фомина по груди)*. Здеся у него, у Васьки, деньги, здеся они!

Мендель. Расписаться, говоришь?.. *(Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним)*. И што я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и што я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, — цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. Мендель бережно целует его в губы.

Фомин *(Потаповне)*. Значит, Янкеля со мной вертеть?

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

Мендель *(возвращается, мотает головой)*. Скука какая!

Митя. Вот те и скука — платить надо.

Мендель. Уйди!

Митя. Врешь, уплатишь!

Мендель. Убью!

Митя. Ответишь.

Мендель *(кладет голову на стол и плюет. Длинная его слюна тянется, как резина)*. Уйди, я спать буду...

Митя. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

Пятирубель. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

Митя *(распалился)*. Я мальчик злой, я покусаю!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Фомин *(Потаповне)*. Суешься поперед батьки... Стучишь языком, как собака бегает... Всю музыку испортила!

П о т а п о в н а *(выжимает слезы из грязных мятых морщин).* Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Ф о м и н. Жалеть умеючи надо.

П о т а п о в н а. Жиды, как воши, обсели.

Ф о м и н. Жид умному не помеха.

П о т а п о в н а. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Ф о м и н *(грозно, медленно).* А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА

Мансарда Потаповны. С т а р у х а, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.

Г о л о с с о с е д к и. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

П о т а п о в н а. Да приду к вам, проведаю...

Г о л о с с о с е д к и. А то в одном ряду на птичьей девятнадцать лет торговали, и хвать — нет ее, Потаповны.

П о т а п о в н а. Да авось я не присужденная к курям к этим. Видно, не век мне маяться...

Г о л о с с о с е д к и. Каково разбегаются-то! Счастья-то каждому подай. Испеки да подай...

П о т а п о в н а *(смеется, тучное ее тело сотрясается).* Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Г о л о с с о с е д к и. Девка-то, говорят, худая.

П о т а п о в н а. У кости, милая, мясо слаще.

Г о л о с с о с е д к и. Сыны, слышь, против вас копают...

П о т а п о в н а. Девка сынов перетянет.

Г о л о с с о с е д к и. И я говорю — перетянет.

П о т а п о в н а. Старик небось девку не бросает.

Г о л о с с о с е д к и. Сады, слышь, он вам покупает...

П о т а п о в н а. А еще чего люди говорят?

Г о л о с с о с е д к и. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

П о т а п о в н а. Разберем. Я разберу... Про полотно-то чего толкуют?

Г о л о с с о с е д к и. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

П о т а п о в н а. Пятьдесят!

Г о л о с с о с е д к и. Башмаков пару...

П о т а п о в н а. Три!

Г о л о с с о с е д к и. Очень смертно любят старики.

П о т а п о в н а. Видно, к курям-то мы не присужденные...

Г о л о с с о с е д к и. Видно, не присужденные. Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

П о т а п о в н а. Приду. Проведаю вас... Прощай, милая!

Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф. Взбирается на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входят М е н д е л ь, одетый по-праздничному, и М а р у с я.

М а р у с я *(очень звонко).* Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

П о т а п о в н а *(слезая со стула).* А чего купить?

М а р у с я. Кавуны купите, бутылку вина, копченой скумбрии полдесятка... *(Менделю.)* Дай ей рубль.

П о т а п о в н а. Не хватит рубля.

М а р у с я. Арапа не заправляйте! Хватит, еще сдачи будет.

П о т а п о в н а. Не хватит мне рубля.

М а р у с я. Хватит! Придете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ.)*

Г о л о с П о т а п о в н ы. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь.

М а р у с я. Ладно. *(Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ.)* ...Пришли на кладбище, глядим — первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен...

Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.

Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на*

кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.) Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иванович, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику и говорю... Что вы, говорю, Сергей Иваныч, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала, и проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили... *(Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.)* Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Иванычу *(Маруся раскрывает постель):* айда, Сергей Иваныч, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно подается туго.)* А у Ксеньки-то спина небось полна прыщей, и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустила *(Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем):* ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты се, на стариковы деньги позарилась, ну, тебя отошьют от этих денег... *(Маруся сняла платье и прыгнула в постель.)* А я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, моих собак... Сергей Иваныч слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет на пол.)* Ну, иди сюда, скажи — Марусичка...

М е н д е л ь. Марусичка!

М а р у с я. Скажи — Марусичка, солнышко мое...

Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.

(Ласково.) Ах ты, рыло!

ПЯТАЯ СЦЕНА

Синагога общества извозопромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона к а н т о р Ц в и б а к в талесе и сапогах. П р и х о ж а н е, красномордые извозчики, оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова ревут, как разбуженные волы. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда склонились два древних е в р е я, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, своротенными набок. А р ь е - Л е й б, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье т о л с т я к с оттопыренными румяными щеками зажал между коленями м а л ь ч и к а лет десяти.

Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Беня Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.

Кантор (*возглашает*). Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.

Арбоим шоно окут бдойр воoймар... (*Сдавленным голосом.*) Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Ширу ладонай шир ходош. Ой, пойте господу новую песню... (*Подходит к молящемуся еврею.*) Как стоит сено?

Еврей (*раскачивается*). Поднялось.

Арье-Лейб. На много?

Еврей. Пятьдесят две копейки.

Арье-Лейб. Доживем, будет шестьдесят.

Кантор. Лифней адонай ки во, ки во мишпойт Гоорец...[1] Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Довольно кричать, буян.

Кантор (*сдавленным голосом*). Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

Арье-Лейб (*безмятежно*). Лифней адонай ки во, ки во... Ой, стою, ой, стою перед господом... Как стоит овес?

Второй еврей (*не прерывая молитвы*). Рупь четыре, рупь четыре...

Арье-Лейб. С ума сойти!

Второй еврей (*раскачивается с ожесточением*). Будет рупь десять, будет рупь десять...

Арье-Лейб. С ума сойти! Лифней адонай ки во, ки во...

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун.

Беня (*склонился над молитвенником*). Ну?

Сенька (*за спиной Бени*). Есть дело.

Беня. Какое дело?

Сенька. Оптовое дело.

Беня. Что можно взять?

Сенька. Сукно.

---

[1] Перед лицом господа бога — силы моей... (*евр.*)

Б е н я. Много сукна?

С е н ь к а. Много.

Б е н я. Какой городовой?

С е н ь к а. Городового не будет.

Б е н я. Ночной сторож?

С е н ь к а. Ночной сторож в доле.

Б е н я. Соседи?

С е н ь к а. Соседи согласны спать.

Б е н я. Что ты хочешь с этого дела?

С е н ь к а. Половину.

Б е н я. Мы не сделали дела.

С е н ь к а. Докладываешь батькино наследство?

Б е н я. Докладываю батькино наследство.

С е н ь к а. Что ты даешь?

Б е н я. Мы не сделали дела.

Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные лица.

Т о л с т я к с р у м я н ы м и щ е к а м и. Цвибак, это босяцкая выходка!

К а н т о р. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

А р ь е - Л е й б. Ай, босяк, ай, хам!

К а н т о р *(указывает револьвером на убитую крысу)*. Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова...

А р ь е - Л е й б. Босяк, босяк, босяк!..

К а н т о р *(хладнокровно)*. Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й е в р е й. Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — на тебе!

А р ь е - Л е й б *(визжит)*. Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

С е н ь к а *(хлопает кулаком по молитвеннику)*. Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

К а н т о р *(торжественно)*. Мизмойр лдовид![1]

Все молятся.

Б е н я. Ну?
С е н ь к а. Есть люди.
Б е н я. Какие люди?
С е н ь к а. Грузины.
Б е н я. Имеют оружие?
С е н ь к а. Имеют оружие.
Б е н я. Откуда они взялись?
С е н ь к а. Живут рядом с вашим покупателем.
Б е н я. С каким покупателем?
С е н ь к а. Который ваше дело покупает.
Б е н я. Какое дело?
С е н ь к а. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз.
Б е н я *(оборачивается)*. Сказился?
С е н ь к а. Сам говорил.
Б е н я. Кто говорил?
С е н ь к а. Мендель говорил, отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы. Евреи завывают очень замысловато.

Б е н я. Сказился.
С е н ь к а. Все люди знают.
Б е н я. Божись!
С е н ь к а. Пусть мне счастья не видеть!
Б е н я. Матерью божись!
С е н ь к а. Пусть я мать живую не застану!
Б е н я. Еще божись, стерва!
С е н ь к а *(пренебрежительно)*. Дурак ты!
К а н т о р. Борух ато адонай...[2]

ШЕСТАЯ СЦЕНА

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Б е н я и чистит револьвер. Л е в к а прислонился к двери конюшни. А р ь е - Л е й б объясняет сокровенный смысл «Песни Песней» тому самому м а л ь ч и к у, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Н и к и ф о р без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

---

[1] Песнь Давида! (*евр.*)
[2] Благословен ты, господь бог... (*евр.*)

Б е н я. Время идет. Дай времени дорогу!

Л е в к а. Зарезать ко всем свиньям!

Б е н я. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

А р ь е - Л е й б. «Песня Песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?[1]

Н и к и ф о р *(указывает Арье-Лейбу на братьев).* Вон выставились коло конюшни, как дубы.

А р ь е - Л е й б. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это знать днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Н и к и ф о р. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Б е н я. Кричи больше.

Н и к и ф о р *(мечется по двору).* Я свое знаю... У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

А р ь е - Л е й б. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Н и к и ф о р. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Б е н я *(разбирает револьвер, чистит).* Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Н и к и ф о р *(кричит, но в голосе его нет силы).* Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

Б е н я. Кричи, кричи перед смертью.

Н и к и ф о р *(Арье-Лейбу).* Старик, скажи, зачем они так делают?

А р ь е - Л е й б *(поднимает на кучера выцветшие глаза).* Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Н и к и ф о р. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? *(Уходит.)*

Б е н я. Растревожился наш Никифор.

А р ь е - Л е й б. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

---

[1] Р а ш э — комментатор Священного Писания и Талмуда *(евр.)*.

М а л ь ч и к. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Б е н я. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят М е н д е л ь, Б о б р и н е ц, Н и к и ф о р, П я т и р у б е л ь под хмельком.

Б о б р и н е ц *(оглушительным голосом)*. Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне идти?

М е н д е л ь. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Б о б р и н е ц. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

М е н д е л ь *(не глядя на сыновей)*. Люди крутятся около моей конюшни.

Н и к и ф о р. Выставились, как дубы паршивые.

Б о б р и н е ц. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню... Ай, Мендель!

П я т и р у б е л ь. Ай, Мендель!

М е н д е л ь. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Н и к и ф о р. Хозяин, за-ради бога!..

М е н д е л ь. Ну?

Н и к и ф о р. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои...

М е н д е л ь. Что сыны мои?

Н и к и ф о р. Сыны твои хочут лупцовать тебя.

Б е н я *(прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно)*. Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота...

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

М е н д е л ь *(смотрит в землю)*. Люди, хозяева...

Б е н я. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

М е н д е л ь. Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь *(он поднимает голову, и голос его крепнет)*, на мою кровь, которая заносит на меня руку...

Б е н я. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

М е н д е л ь. Ой, не возьмете!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)*

Л е в к а. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью заката. Старик и Левка катаются по земле, раздирают друг другу лица, откатываются за сарай.

Н и к и ф о р *(прислонился к стене)*. Ох, грех...

Б о б р и н е ц. Левка, отца?!

Б е н я *(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!

Н и к и ф о р. Ох, грех...

П я т и р у б е л ь. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще человек на земле против Менделя.

А р ь е - Л е й б. Иди со двора, Иван.

П я т и р у б е л ь. Я ста рублями отвечу...

А р ь е - Л е й б. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Б о б р и н е ц. Левка, отца?!

М е н д е л ь. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*

П я т и р у б е л ь. Ста рублями любому отвечу...

Мендель побеждает. У Левки выбиты зубы, вырваны клочья волос.

М е н д е л ь. Не возьмешь!

Б е н я. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Старик рухнул. Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Н и к и ф о р. Теперь убили.

П я т и р у б е л ь *(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?..

Л е в к а *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука!

П я т и р у б е л ь. Миш?..

Б е н я *(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

П я т и р у б е л ь. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

А р ь е - Л е й б *(на коленях перед поверженным ста-*

риком). Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Левка *(кривые ручьи слез и крови текут по его лицу).* Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель *(отходит, пошатываясь).* Двое — на одного.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама — одичавшая, грязно-серая. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.

Нехама. Не молчи, Мендель!

Бобринец *(густым голосом).* Довольно строить штуки, старый шутник!

Нехама. Кричи что-нибудь, Мендель!

Бобринец. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он не торопясь выплевывает изо рта длинные ленты крови.

Беня *(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь).* Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.

СЕДЬМАЯ СЦЕНА

Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора.

В дверях за небольшим столом пишет Беня. На него наскакивает лысый нескладный мужик Семен, тут же шныряет мадам Попятник. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, Майор. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.

Семен. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Беня *(продолжает писать).* Грубо говоришь, Семен.

Семен. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Беня. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

Семен. Ты куда старика дел?

Беня. Старик больной.

С е м е н. Вон тута на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Б е н я *(встает)*. Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

М а д а м П о п я т н и к *(с величайшим неодобрением разглядывает мужика)*. Человек, когда он дурак, — это очень паскудно.

Б е н я. ...потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

С е м е н *(струсил, но еще петушится)*. Мне штоб деньги были!

М а д а м П о п я т н и к. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Б е н я. Никифор!

Входит Н и к и ф о р, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.

Н и к и ф о р. Я Никифор.

Б е н я. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева.

Н и к и ф о р. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Б е н я. Я буду уговариваться.

Н и к и ф о р. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Б е н я. У меня выкупать... Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов...

С е м е н *(остолбенев)*. Пятьсот?! Двадцать годов возил...

М а д а м П о п я т н и к. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Б е н я. Овса — двести.

С е м е н. Я возить не отказываюсь.

Б е н я. Потеряй мой адрес, Семен.

Семен мнет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит.

М а д а м П о п я т н и к. Один паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у нас эти несчастные два рубля...

Майор *(мелодическим глухим голосом)*. Рубль девяносто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Никифор. Грозится.

Беня. Зачем мне знать...

Припадая на ногу, ворочая чудовищным бедром, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она валится на землю и устремляет на Беню мутные немигающие глаза.

Потаповна. Цари наши...

Беня. Что скажете, мадам Холоденко?

Потаповна. Цари наши...

Никифор. Пошла дурить!

Потаповна *(подмигивает)*. Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат... Прыгают в голове шарики — д-ж-ж-ж.

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна *(бьет по земле кулаком)*. Правильно, правильно! Нехай умный панует, а свинья и монопольку...

Мадам Попятник. Интеллигентная дама!

Потаповна *(разбрасывает по земле медяки)*. Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала... *(Задирает голову к небу.)* Теперь сколько часов будет? Три будет?

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна. Д-ж-ж-ж, пустил шарики...

Беня. Никифор!

Никифор. Ну?

Потаповна *(подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем)*. А девочка-то наша занеслась, Никиша!

М а д а м П о п я т н и к *(присела и зажглась)*. Интрига, ай, какая интрига!

Б е н я. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

М а д а м П о п я т н и к *(приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры)*. Я иду... я иду... Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту!.. *(Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза стали у нее косые и светят вбок черным огнем.)*

Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец они исчезают.

П о т а п о в н а *(размазывает слезы по мятому дряблому лицу)*. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, я ей каждую ночь грудь трогаю, а у ней уже налилось, в руке не помещается.

Б е н я *(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

П о т а п о в н а *(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Б е н я. Врешь!

П о т а п о в н а. Ну, третий.

Б е н я. Чего тебе от нас надо?

П о т а п о в н а. Д-ж-ж, пустил шарики...

Б е н я. Чего тебе надо?

П о т а п о в н а *(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит.

Б е н я. Двадцать пять!

П о т а п о в н а. Портовых наведу.

Б е н я. Портовых наведешь?.. Никифор!

Н и к и ф о р. Я Никифор.

Б е н я. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять...

П о т а п о в н а. Сто!

Б е н я. ...двадцать пять рублей на вычистку или не приказывает?

Н и к и ф о р. Не взойду я.

Б е н я. Не взойдешь?! *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Н и к и ф о р *(хватает Беню за руки)*. Парень, я бога не боюсь... Я бога видел и не испугался... Я убью и не испугаюсь...

Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит М е н д е л ь. За спину у него закинуты сапоги. Лицо его сине и одутловато, как лицо мертвеца.

М е н д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в н а. Ай, страшно!

Н и к и ф о р. Хозяин!

К каретнику приближаются А р ь е - Л е й б и Л е в к а.

М е н д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в н а *(лезет по полу)*. Ай, страшно!

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

М е н д е л ь. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое...

Н и к и ф о р *(падает на колени)*. Великодушно прошу вас, хозяин, не срамитесь передо мной, простым человеком!

М е н д е л ь. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! *(Он приближается к отцу.)*

М е н д е л ь. Не бей меня, Бенчик.

Л е в к а. Не бей его.

Б е н я. Низкие люди!.. *(Пауза.)* Как вы могли... *(Пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

А р ь е - Л е й б. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Б е н я. Звери, о звери!.. *(Он быстро уходит. Левка за ним.)*

А р ь е - Л е й б *(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

П о т а п о в н а *(поднялась с земли и заплакала)*. Убили сокола!..

А р ь е - Л е й б *(укладывает Менделя на лежанке за занавеской).* Мы заснем, Мендель...

П о т а п о в н а *(валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика).* Сыночек мой, любочка моя!

А р ь е - Л е й б *(перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека).* В старые старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войском Израиля и над мудрецами его...

П о т а п о в н а *(всхлипывает).* Сыночек мой!

А р ь е - Л е й б. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...

ВОСЬМАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У столба, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится м а д а м П о п я т н и к, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит М а й о р. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много г о с т е й. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная К л а ш а З у б а р е в а. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Л е в к а, наряженный в парадную гусарскую форму.

Л е в к а *(орет кавалерийские сигналы).*

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

К л а ш а *(хохочет).* Ой, живот! Ой, выкину!..
Л е в к а. Левый шенкель приложи и направо поверни!
К л а ш а. Ой, уморил!..

Проходят. Навстречу им Б о я р с к и й в сюртуке и Д в о й р а.

Б о я р с к и й. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час.

Д в о й р а. Но почему сразу все три тысячи?

Б о я р с к и й. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентяб, октяб, нояб, декаб... На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь...

Проходят. Появляются Б е н я и Б о б р и н е ц.

Б е н я. У вас готово, мадам Попятник?

М а д а м П о п я т н и к. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Б о б р и н е ц. Вырази мне твою мысль, Беня.

Б е н я. Моя мысль такая: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь голый, и босой, и замазанный, как ссыльнопоселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

Проходят Б о я р с к и й и Д в о й р а.

Б о я р с к и й. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Д в о й р а. И потом, я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Б о я р с к и й. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!

Проходят. У стены, под голубой лампой, сидит степенный п р а с о л и п а р е н ь в тройке, с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек слетел.

П р а с о л. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Кабы человек ловчился жить, а то... *(сплевывает шелуху)*, а то живет, как поживется. За что почитать-то?

П р а с о л. Что с дураком толковать...

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Бенчик сена одного тыщу пудов купил.

П р а с о л. Старик по сто покупал — хватало.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Старика они все равно зарежут.

П р а с о л. Это жиды-то? Это отца-то?

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Зарежут до смерти.

П р а с о л. Толкуй с дураком...

Проходят Б е н я и Б о б р и н е ц.

Б о б р и н е ц. Что же ты хочешь, Беня?

Б е н я. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Б о б р и н е ц. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с П я т и р у б е л е м сидят надувшиеся от величия богачи м у ж и ж е н а В а й н е р.

П я т и р у б е л ь *(тщетно ищет у них сочувствия)*. Городовикам ремни обрывал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

(Робко.) Они гундосые?

М а д а м В а й н е р *(злобно)*. Ну да!

Проходят Д в о й р а и Б о я р с к и й.

Б о я р с к и й. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Д в о й р а. И потом, я хочу ребенка, Боярский.

Б о я р с к и й. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает м а д а м П о п я т н и к.

М а д а м П о п я т н и к. Бен Захарья приехал! Раввин... Бен Захарья...

Комната наполняется г о с т я м и. Среди них Д в о й р а, Л е в к а, Б е н я, К л а ш а З у б а р е в а, С е н ь к а Т о п у н; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. На деньги и раввин прибежал. Тут как тут.

Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Зхарьи.

Бен Зхарья *(визгливо)*. Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается...

Бобринец *(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Бен Зхарья. ...еще я на спине лежу, как таракан...

Бобринец. Почему на спине, рабби?

Бен Зхарья. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы...

Бобринец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Беня. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби.

Бен Зхарья. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Беня. И лошадей моих отдам.

Бен Зхарья. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в их колесницу и отвезите меня... куда?

Бобринец. Куда, рабби?

Бен Зхарья. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Бобринец *(шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезлую, розовую макушку)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Арье-Лейб *(представляет Беню)*. Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Бен Зхарья *(жует губами)*. Бенцион... сын Сиона... *(Молчит.)* Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью...

Левка *(оглушительным голосом)*. Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!

Клаша *(качает головой, улыбается)*. Ох, здоровый!

Беня *(мечет на брата негодующий взгляд)*. Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Бен Зхарья *(ерзает в кресле)*. Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнанье? Пусть государствен-

ный банк *(тычет пальцем в Клашу)* сядет рядом со мной...

Б о б р и н е ц *(предвкушая новую остроту)*. Почему государственный банк?

Б е н З х а р ь я. Она лучше банка. В нее хорошо положишь — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой... Она лучше банка, она лучше банка...

Б о б р и н е ц *(поднял кверху палец)*. Надо понимать, что он говорит.

Б е н З х а р ь я. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Л е в к а. Он сегодня больной.

Б е н я. Рабби, он здоров... Никифор!

В дверях показывается Н и к и ф о р в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчание.

Н и к и ф о р *(отчаянным голосом)*. Уважающие гости!..

Б е н я *(очень медленно)*. Пусть взойдет папаша.

А р ь е - Л е й б. Бенчик, у нас, евреев, отца не срамят перед людьми.

Л е в к а. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгается слюной.

Б е н я *(склоняется к мадам Вайнер)*. Что он говорит?

М а д а м В а й н е р. Он говорит — стыд и срам!

А р ь е - Л е й б. Евреи так не делают, Беня!

К л а ш а. Расти сынов...

Б е н я. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?.. *(Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой, сопровождая каждое слово ударом кулака.)* Пусть взойдут папаша!

Н и к и ф о р исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его шею. Молчание. И только бессмысленное бормотанье Бен Зхарьи нарушает томительную тишину.

Б е н З х а р ь я. Бог умывается на небе красной водой.

(Молчит, ерзает в кресле.) Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица обращаются в эту сторону. Показывается М е н д е л ь с иссеченным запудренным лицом. Он в новом костюме. С ним Н е х а м а с наколке, в тяжелом бархатном платье.

Б е н я. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах.

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

М а д а м В а й н е р. Он говорит — ура!

Б е н я *(ни на кого не глядя).* Учи меня, Арье-Лейб!.. *(Подносит отцу и матери вино.)* Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово.

М е н д е л ь *(озирается и говорит очень тихо).* Желаю доброго здоровья...

Б е н я. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

П р а с о л. Толкуют мне про жидов...

Б е н я. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Б е н З х а р ь я. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Б о б р и н е ц *(заливается хохотом).* Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

М а д а м П о п я т н и к. Я даю туш.

Б е н я. Давайте!

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме.

К л а ш а З у б а р е в а. Ваше здоровье, дедушка!

Сенька Топун. Вагон удовольствия, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Беня *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Левка *(через весь стол)*. Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли...

Прасол. Толкуют мне про жидов! Я жидов получше вашего знаю...

Пятирубель *(лезет к Бене и порывается целовать его)*. Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба и опутывают его бороду. Он трясется и целует плечо Бени.

Арье-Лейб. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... *(Кричит истерически.)* У тебя был хороший отец, Беня!

Вайнер *(обрел дар речи)*. Выведите его!

Мадам Вайнер. Боже, какие штуки!

Боярский. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь надо смеяться.

Вайнер. Выведите его!

Арье-Лейб *(всхлипывает)*. У тебя был хороший отец, Беня...

Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы. Плачет и смеется.

Бобринец. Болван, вы не у себя на кладбище!

Пятирубель. Свет наскрозь пройдете, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться...

Беня. Дорогие, присаживайтесь!

Левка. Жмите скамейки, урканы!

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Бен Зхарья. Евреи!

Бобринец. Тихо чтоб было!

Бен Зхарья. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает.

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера

своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, всего только сумасброд. Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Л е в к а. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.

МАРИЯ

Пьеса в 8 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Муковнин Николай Васильевич.
Людмила — его дочь.
Фельзен Катерина Вячеславовна.
Дымшиц Исаак Маркович.
Голицын Сергей Илларионович — бывший князь.
Нефедова — нянька в доме Муковнина.
Евстигнеич, **Бишонков**, **Филипп** — инвалиды.
Висковский — бывший ротмистр гвардии.
Кравченко.
Мадам Дора.
Надзиратель — в милиции.
Калмыкова — горничная в номерах на Невском, 86.
Агаша — дворничиха.
Андрей, **Кузьма** — полотеры.
Сушкин.
Сафонов — рабочий.
Елена — его жена.
Нюшка.
Милиционер.
Пьяный — в милиции.
Красноармеец — с фронта.

Действие происходит в Петрограде, в первые годы революции.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Номера на Невском. Комната Дымшица — грязно, нагромождение мешков, ящиков, мебели. Два инвалида, Бишонков и Евстигнеич, раскладывают привезенные продукты. У Евстигнеича — тучного человека с большим красным лицом — выше колен отняты ноги. У Бишонкова зашпилен пустой рукав. На груди у инвалидов — медали, георгиевские кресты. Дымшиц бросает на счетах.

Евстигнеич. Дорогу всю расшлепали... Зандберг был на Вырице, людям жить давал, — убрали.

Бишонков. Слишком тиранят, Исаак Маркович.

Дымшиц. А Королев есть?

Евстигнеич. Зачем «есть», — коцнули. Дорогу как есть расшлепали, все заградиловки новые.

Бишонков. Слишком стало затруднительно с продуктовым делом, Исаак Маркович. К одной заградиловке привыкнешь, а ее уже нет. Хоть бы отбирали, а то ведь смерть к глазам приставляют.

Евстигнеич. Ума не дашь... Кажный день изобретение делают... Подъезжаем нонче к Царскосельскому — стрельба. Что такое?.. Думаем — власть отошла, а они это моду такую взяли — допрежде всякого разбору бахать.

Бишонков. Большое богатство продуктов нонешний день отобрали. Деткам, говорят, пойдет... В Царском Селе в настоящее время одни дети — колония считается.

Евстигнеич. Деткам, да с бородой.

Бишонков. А если я голодный, неужели ж я себе не возьму? Обязательно я себе возьму, если я голодный.

Дымшиц. Где Филипп? Я о Филиппе думаю... Зачем вы человека бросили?

Бишонков. Мы его, Исаак Маркович, не бросали: он чувства свои потерял.

Евстигнеич. Водит его кто-нибудь...

Бишонков. Одно слово — тиранство, Исаак Маркович.

Евстигнеич. Того же Филиппа взять: мужчина рослый, заметный, а внутренности нет, внутренность слабая... Подъезжаем к вокзалу — стрельба, народ плачет, падает... Я ему говорю: «Филипп, говорю, мы форткой на Загородный пройдем, там вся цепочка своя». А уж он не тот, потерялся. «Я, говорит, опасываюсь идти». — «Ну, говорю, опасываешься, — сиди... Спиртонос — божий человек, только в морду дадут, чего тебе бояться? На тебе один

пояс с вином...» А его уж к полу привалило. Мужчина сильный, лошадиная сила, а внутренность не та.

Бишонков. Мы так надеемся, Исаак Маркович, — отыщется. За ним следу большого нет.

Дымшиц. Почем колбасу брали?

Бишонков. Колбасу, Исаак Маркович, по восемнадцать тысяч брали, да и похужело. В настоящее время что Витебск, что Петроград — один завод.

Евстигнеич *(открывает в стенке потайное место, переносит туда продукты).* Подравняли Расею.

Дымшиц. Крупа почем?

Бишонков. Крупа, Исаак Маркович, девять тысяч, а слово напротив скажешь — не бери. Торговлей никак не интересуются. Он того только и ждет, чтобы тебе не понравилось. Такой кураж у этих купцов пошел — не передать!

Евстигнеич *(прячет в стену хлебы).* Супруги сами хлебы пекли, свои труды клали... Кланяться велели.

Дымшиц. Дети как — живы, здоровы?

Бишонков. Дети живы, здоровы, очень благополучны. Одеваны в шубки, богатые детки... Супруга приехать просят.

Дымшиц. Больше делать нечего... *(Бросает на счетах.)* Бишонков!

Бишонков. Я.

Дымшиц. Не вижу пользы, Бишонков.

Бишонков. Слишком затруднительно стало, Исаак Маркович.

Дымшиц. Расчету не вижу, Бишонков.

Бишонков. Расчету, Исаак Маркович, никак не видать... У нас с Евтигнеичем такая думка, что надо на другой товар перекидаться. Продукт — он вещество громоздкое: мука — она громоздкая, крупа — громоздкая, ножка телячья — тоже громоздкая. Надо, Исаак Маркович, на другое перекидаться — на сахарин или, там, на камешки... Бриллиант — это прелестное вещество: за щеку положил — и нету.

Дымшиц. Филиппа нет... Я об Филиппе думаю.

Евстигнеич. Пожалуй, покалечили.

Бишонков. И то сказать, — инвалид по восемнадцатому году фирма была, а в настоящий момент...

Евстигнеич. Куда тебе, — образовались! Раньше у народа перед инвалидами совести не хватало, а теперь — ноль внимания. «Ты зачем инвалид?» — спрашивают. «У

меня, говорю, бризантный снаряд обе ноги отобрал». — «А в этом, говорят, ничего такого особенного нет, у тебя, говорят, без страдания оторвало, сразу... Ты, говорят, страдания не принимал». — «Как это, говорю, страдания не принимал?» — «А так, говорят, известная вещь: тебе ноги под хлороформом подравняли, ты ничего и не слыхал. У тебя только с пальцами недоразумение, пальцы у тебя вроде стремят, чешутся, хотя они и отобраны, и больше ничего такого с тобой нет». — «Как ты, говорю, можешь это знать?» — «А так, говорит, — народ, слава те филькиной сучке, образовался». — «Видно, образовался, если инвалида с поезда скидает... Зачем ты, говорю, меня на путь скидаешь? Я калека...» — «А потому и скидаем, что нам в Расее, говорит, на калек глядеть обрыдло». И скидает, как поленницу... Я, Исаак Маркович, очень на наш народ обижаюсь.

Входит Висковский — в бриджах, в пиджаке. Рубаха расстегнута.

Дымшиц. Это вы?

Висковский. Это я.

Дымшиц. А где здравствуйте?

Висковский. Людмила Муковнина приходила к вам, Дымшиц?

Дымшиц. Здравствуйте собака съела?.. А если приходила, так что?

Висковский. Кольцо Муковниных у вас, я знаю, Мария Николаевна передать его вам не могла...

Дымшиц. Передали мне люди, не обезьяны.

Висковский. Как попало к вам это кольцо, Дымшиц?

Дымшиц. Люди дали, чтоб продать.

Висковский. Продайте мне.

Дымшиц. Почему вам?

Висковский. Пытались вы когда-нибудь быть джентльменом, Дымшиц?

Дымшиц. Я всегда джентльмен.

Висковский. Джентльмены не задают вопросов.

Дымшиц. Люди хотят валюту за кольцо.

Висковский. Вы должны мне пятьдесят фунтов.

Дымшиц. За какие такие дела?

Висковский. За дело с нитками.

Дымшиц. Которые вы просыпали...

В и с к о в с к и й. В конной гвардии нас не учили торговать нитками.

Д ы м ш и ц. Вы просыпали потому, что вы горячий.

В и с к о в с к и й. Дайте срок, маэстро, я научусь.

Д ы м ш и ц. Что за учение, когда вы не слушаетесь? Вам говорят одно, вы делаете другое... На войне вы там ротмистр или граф, — я не знаю, кто вы там, — может быть, на войне нужно, чтобы вы были горячий, но в деле купец должен видеть, куда он садится.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Д ы м ш и ц. Я серчаю на вас, Висковский, я еще за другое на вас серчаю. Что это был за номер с княжной?

В и с к о в с к и й. Задумано, как побогаче.

Д ы м ш и ц. Вы знали, что она девушка?

В и с к о в с к и й. Самый цимис...

Д ы м ш и ц. Так вот, этого цимиса мне не надо. Я маленький человек, господин ротмистр, и не хочу, чтобы эта княжна приходила ко мне, как божья матерь с картины и смотрела на меня глазами, как серебряные ложки... О чем шел разговор? — спрашиваю я вас. Пусть это будет женщина под тридцать, мы говорили, под тридцать пять, домашняя женщина, которая знает, почем пуд лиха, которая взяла бы мою крупу и печеный хлеб и четыреста граммов какао для детей — и не сказала бы мне потом: «Паршивый мешочник, ты меня запачкал, ты мною воспользовался».

В и с к о в с к и й. Про запас остается младшая Муковнина.

Д ы м ш и ц. Она врунья. Я не люблю женщину, когда она врунья... Почему вы меня со старшей не познакомили?

В и с к о в с к и й. Мария Николаевна уехала в армию.

Д ы м ш и ц. Вот это был человек — Мария Николаевна, вот тут было на что посмотреть, с кем поговорить... Вы дождались того, что она уехала.

В и с к о в с к и й. Со старшей это сложно, Дымшиц. Это очень сложно.

Е в с т и г н е и ч. «Тебя, говорит, без страху убило, ты, говорит, отмучился», — вон ведь как он меня обеспечил...

Отдаленный выстрел, потом ближе; выстрелы учащаются. Дымшиц гасит свет, запирает двери на ключ. Свет из окна, зеленые стекла, мороз.

(Шепотом.) Житуха...

Б и ш о н к о в. Окаянство!

Е в с т и г н е и ч. Все матросня орудует...

Б и ш о н к о в. Никак жизни нет, Исаак Маркович!

Стук в дверь. Молчание. Висковский вынимает револьвер из кармана, открывает предохранитель. Снова стук.

Кто там?

Филипп *(за дверью).* Я.

Е в с т и г н е и ч. Голос дай... Кто это я?

Ф и л и п п. Откройте.

Д ы м ш и ц. Это Филипп.

Бишонков открывает дверь. В комнату проникает бесформенное огромное существо. Вошедший приваливается к стене, молчит. Вспыхивает свет. Половина Филиппова лица заросла диким мясом. Голова его упала на грудь, глаза закрыты.

В тебя стреляли?

Ф и л и п п. Не.

Е в с т и г н е и ч. Наморился, Филипп?

Евстигнеич с Бишонковым снимают с Филиппа тулуп, верхнюю одежду, вытаскивают из-под нее резиновый костюм, бросают его на пол. Безрукий резиновый человек — второй Филипп — распростерт на полу. Пальцы Филиппа изрезаны, кровоточат.

Оборудовали как следует быть... Человеки зовемся...

Ф и л и п п *(голова его все свалена на грудь).* По следу... по следу шел...

Е в с т и г н е и ч. Он шел?

Ф и л и п п. Он.

Е в с т и г н е и ч. В крагах?

Ф и л и п п. Он.

Е в с т и г н е и ч. Таперича взялись...

Д ы м ш и ц. До дому довел?

Ф и л и п п *(с трудом выговаривая слова).* До дому не довел... Стрельба перехватила, на стрельбу пошел...

Бишонков с Евстигнеичем подхватывают раненого, укладывают его.

Е в с т и г н е и ч. Я тебе сказывал — воротами пройдем...

Филипп стонет, охает. Вдалеке выстрелы, пулеметная очередь, потом тишина.

Житуха...

Б и ш о н к о в. Окаянство!..

В и с к о в с к и й. Где кольцо, маэстро?

Д ы м ш и ц. Приспичило с кольцом, горит под вами...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната в доме Муковнина, служащая одновременно спальней, столовой, кабинетом, — комната 20-го года. Стильная старинная мебель; тут же «буржуйка», трубы протянуты через всю комнату; под печкой сложены мелко наколотые дрова. За ширмой одевается, перед тем как ехать в театр, Людмила Николаевна. На лампе греются щипцы для завивки волос. Катерина Вячеславовна гладит платье.

Людмила. Сударыня, ты отстала... В Мариинке теперь очень нарядная публика. Сестры Крымовы, Варя Мейендорф — все одеваются по журналу и живут превосходно, уверяю тебя.

Катя. Да кто теперь хорошо живет? Нет таких.

Людмила. Очень есть. Ты отстала, Катюша... Господа пролетарии входят во вкус: они хотят, чтобы женщина была изящна. Ты думаешь, твоему Редько нравится, когда ты ходишь замарашкой? Ничуть не нравится... Господа пролетарии входят во вкус, Катюша.

Катя. На твоем месте я бы ресниц не делала, и это платье без рукавов...

Людмила. Сударыня, вы забываете — я с кавалером.

Катя. Кавалер, пожалуй, не разберет.

Людмила. Не скажи. У него свой вкус, темперамент...

Катя. Рыжие горячи — это известно.

Людмила. Какой же он рыжий, мой Дымшиц? Он шоколадный.

Катя. И правда — у него так много денег? Висковский, по-моему, бредит.

Людмила. У Дымшица шесть тысяч фунтов стерлингов.

Катя. Все на калеках нажил?

Людмила. Ничего не на калеках... Вольно же было другим додуматься. У них артель, складчина. Инвалидов до сих пор не обыскивали, легче было провезти.

Катя. Нужно быть евреем, чтобы додуматься...

Людмила. Ах, Катюша, лучше быть евреем, чем кокаинистом, как наши мужчины... Один, смотришь, кокаинист, другой дал себя расстрелять, третий в извозчики пошел, стоит у «Европейской», седоков поджидает... Par le temps qui court[1] евреи вернее всего.

---

[1] В наше время (*фр.*).

К а т я. Да уж вернее Дымшица не найти.

Л ю д м и л а. И потом, мы бабы... Katy, мы простые бабы, вот как дворникова Агаша говорит, «трепаться надоело». Мы не умеем быть неприкаянными, правда же, не умеем...

К а т я. И детей родишь?

Л ю д м и л а. Рожу двух рыженьких.

К а т я. Значит — законный брак?

Л ю д м и л а. С евреями иначе нельзя, Катюша. Они страшно семейственны, жена у них советчица, над детьми они трясутся... И потом — еврей всегда благодарен женщине, которая ему принадлежала. Поэтому — эта благородная черта — уважение к женщине.

К а т я. Да ты откуда евреев так знаешь?

Л ю д м и л а. Ну вот — «откуда». Папа в Вильне корпусом командовал, там все евреи... У папы приятель раввин был... Они все философы — их раввины.

К а т я *(подает через ширму разглаженное платье)*. После театра — ужин?

Л ю д м и л а. Не исключено.

К а т я. Конечно, вы выпьете, Людмила Николаевна, порыв страсти, все потонуло в тумане...

Л ю д м и л а. Пальцем в небо, сударыня!.. Манеж будет продолжаться месяц, два месяца — с евреями так надо. Еще даже не решено, будут ли поцелуи...

Входит г е н е р а л в валенках; шинель на красной подкладке переделана в халат; две пары очков.

М у к о в н и н *(читает)*. «...Октября шестнадцатого дня тысяча восемьсот двадцатого года, в царствование благословенного императора Александра, рота лейб-гвардии Семеновского полка, забыв долг присяги и воинского повиновения начальству, дерзнула самовольно собраться в позднее вечернее время...» *(Подымает голову.)* В чем же оно выразилось — забвение присяги? Выразилось оно в том, что люди вышли в коридор после переклички и решили просить у командира роты отмены очередного смотра по десяткам на дому... у командира полка бывали и такие смотры. За это, за так называемый бунт, было определено наказание... какое? *(Читает.)* «...Нижних чинов, признанных зачинщиками, лишить живота, людей первой и второй рот, подавших пример беспорядка, наказать виселицей, рядовых, помянутых в параграфе третьем, в при-

мер другим, прогнать шпицрутенами сквозь батальон по шести раз...»

Л ю д м и л а. Разве это не ужасно?

К а т я. Кто же спорит, что прежде было много жестокого?

Л ю д м и л а. По-моему, большевики должны ухватиться за папину книгу. Им же выгодно, чтобы бранили старую армию.

К а т я. Они все требуют к текущему моменту.

М у к о в н и н. Я разбиваю семеновскую трагедию на две главы. Первая — исследование причин мятежа, вторая — описание бунта, истязаний, отсылки в рудники... История моя будет история казармы, — не перечень народов, а судьба всех этих Сидоровых и Прошек, отданных Аракчееву, сосланных на́ двадцатилетнюю военную каторгу.

Л ю д м и л а. Папа, ты должен прочитать Кате главу об императоре Павле. Если бы жил Толстой, он оценил бы, я уверена.

К а т я. В газетах все требуют к настоящему моменту.

М у к о в н и н. Без познания прошлого — нет пути к будущему. Большевики исполняют работу Ивана Калиты — собирают русскую землю. Мы, кадровые офицеры, нужны им хотя бы для того, чтобы рассказать о наших ошибках...

Звонок. Возня в прихожей. Входит Д ы м ш и ц с пакетами, в шубе.

Д ы м ш и ц. Здравия желаю, Николай Васильевич! Здравия желаю, Катерина Вячеславна! Людмила Николаевна в доме?

К а т я. Ждет вас.

Л ю д м и л а *(из-за ширмы)*. Я одеваюсь...

Д ы м ш и ц. Здравия желаю, Людмила Николаевна! На улице такая погода, что хороший хозяин собаку не выпустит... Меня привез Ипполит, наговорил полную голову, все шиворот-навыворот, — такого типа поискать надо... Мы не опоздаем, Людмила Николаевна?

М у к о в н и н. На улице белый день, а они в театр.

К а т я. Николай Васильевич, театры теперь начинают в пять часов дня.

М у к о в н и н. Электричество экономят?

К а т я. Во-первых, электричество. Потом, если поздно возвращаться, — разденут.

Д ы м ш и ц *(раскладывая пакеты)*. Маленький окорочок, Николай Васильевич. Я в этом не специалист, но мне его продали, как хлебный... Хлебом его кормили или чем другим — при этом мы не были...

Катя отошла в угол, курит.

М у к о в н и н. Право, Исаак Маркович, вы слишком добры к нам.

Д ы м ш и ц. Немножко шкварок...

М у к о в н и н *(не понял)*. Виноват!

Д ы м ш и ц. У вашего папы вы этого не кушали, но в Минске, в Видюйске, в Чернобыле их уважают. Это кусочки от гусятины. Вы отведаете и скажете мне ваше мнение... Как поживает книжка, Николай Васильевич?

М у к о в н и н. Книжка подвигается. Я подошел к царствованию Александра Павловича.

Л ю д м и л а. Читается, как роман, Исаак Маркович. Я считаю, что это напоминает «Войну и мир», — там, где Толстой о солдатах говорит...

Д ы м ш и ц. Очень приятно слушать... На улице пусть стреляют, Николай Васильевич, на улице пусть бьются головой об стенку, — вы должны делать свое. Кончите книжку — магарыч мой, и на первые сто экземпляров — я покупатель... Кусочек сальтисона, Николай Васильевич: сатильсон домашний, от одного немца...

М у к о в н и н. Исаак Маркович, право, я рассержусь...

Д ы м ш и ц. Это для меня честь, чтобы генерал Муковнин на меня сердился... Сальтисон дивный! Этот немец был довольно видный профессор, теперь занимается колбасами... Людмила Николаевна, я сильно подозреваю, что мы опоздаем.

Л ю д м и л а *(из-за ширмы)*. Я готова.

М у к о в н и н. Сколько я вам должен, Исаак Маркович?

Д ы м ш и ц. Вы мне должны подкову от лошади, которая издохла сегодня на Невском проспекте.

М у к о в н и н. Нет, серьезно...

Д ы м ш и ц. Хотите серьезно — две подковы от двух лошадей.

Из-за ширмы выходит Людмила Николаевна. Она ослепительна, стройна, румяна. В мочках ушей бриллианты. На ней черное бархатное платье без рукавов.

М у к о в н и н. Хороша у меня дочка, Исаак Маркович?

Д ы м ш и ц. Не скажу — нет.

К а т я. Вот это она и есть, Исаак Маркович, — русская красота.

Д ы м ш и ц. Не специалист в этом, но вижу, что хорошо.

М у к о в н и н. Я вас еще со старшей моей познакомлю — с Машей.

Л ю д м и л а. Предупреждаю: Мария Николаевна у нас любимица, — и вот, пожалуйте, любимица в солдаты ушла.

М у к о в н и н. Какие же это солдаты, Люка?.. В политотдел.

Д ы м ш и ц. Ваше превосходительство, про политотдел спросите меня. Это те же солдаты.

К а т я *(отводит Людмилу в сторону)*. Право, серег не надо.

Л ю д м и л а. Ты думаешь?

К а т я. Конечно, не надо. И потом — этот ужин...

Л ю д м и л а. Сударыня, спите спокойно. Ученого учить... *(Целует Катю.) Катюша, ты глупая, милая... (Дымшицу.)* Мои ботики... *(Отвернувшись, снимает серьги.)*

Д ы м ш и ц *(кидается)*. Момент!

Одевание: ботики, шуба, оренбургский платок. Дымшиц услуживает, мечется.

Л ю д м и л а. Надеваю и сама удивляюсь — еще не продано... Папа, изволь без меня принять лекарство. И не давай ему работать, Катя.

М у к о в н и н. Мы домовничать будем с Катей.

Л ю д м и л а *(целует отца в лоб)*. Вам нравится мой папка, Исаак Маркович? Правда, он у нас не такой, как у всех...

Д ы м ш и ц. Николай Васильевич роскошь, а не человек!

Л ю д м и л а. Его никто не знает — одни мы... Где вы оставили князя Ипполита?

Д ы м ш и ц. Оставил у ворот. Приказ — ждать, дисциплина. Момент — и будем там... Всего хорошего, Николай Васильевич!

К а т я. Очень не кутите.

Д ы м ш и ц. Очень не будем, теперь это обеспечено.

Л ю д м и л а. Папочка, до свидания!

Муковнин провожает дочь и Дымшица в переднюю. Голоса и смех за дверью. Г е н е р а л возвращается.

М у к о в н и н. Очень милый и достойный еврей.

К а т я *(забилась в угол дивана, курит).* Мне кажется — им всем не хватает такта.

М у к о в н и н. Катя, голубчик, откуда взяться такту?.. Людям позволяли жить на одной стороне улицы и городовыми гнали с другой. Так было в Киеве, на Бибиковском бульваре. Откуда такту взяться? Тут другому надо удивляться — энергии, жизненной силе, сопротивляемости...

К а т я. Энергия эта вошла теперь в русскую жизнь, но мы ведь другие, все это чуждо нам.

М у к о в н и н. Фатализм — вот это нам не чуждо. Распутин и немка Алиса, погубившая династию, — это нам не чуждо. Ничего, кроме пользы, от чудесного этого народа, давшего Гейне, Спинозу, Христа...

К а т я. Вы и японцев хвалили, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Что ж японцы... Японцы — великий народ, у них учиться и учиться.

К а т я. Вот и видно, что Марье Николаевне есть в кого пойти... Вы большевик, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Я русский офицер, Катя, и спрашиваю: как это так, господа, с каких пор, спрашиваю я, правила военной игры стали чуждыми для вас?.. Мы мучили и унижали этих людей, они защищались, они перешли в наступление и дерутся с находчивостью, с обдуманностью, с отчаянием, скажу я, — дерутся во имя идеала, Катя.

К а т я. Идеал?.. Не знаю. Мы несчастны и счастливы не будем. Нами пожертвовали, Николай Васильевич.

М у к о в н и н. Пусть растрясут Ванюху и Петруху, превосходно будет. И времени больше нет, Катя... Единственный русский император, Петр, сказал: «Промедление времени смерти подобно». Вот заповедь! И если это так, то должно же у вас, господа офицеры, хватить мужества посмотреть на карту, узнать, с какого фланга вы обойдены, где и почему нанесено вам поражение... Держать глаза открытыми — мое право, и я не отказываюсь от него.

К а т я. Николай Васильевич, вам надо лекарство принять.

М у к о в н и н. Соратникам моим, людям, с которыми я дрался бок о бок, я говорю: господа, tire vos conclusions[1], промедление времени — смерти подобно. *(Уходит.)*

---

[1] Делайте выводы (*фр.*).

За стеной на виолончели холодно и чисто играют фугу Баха. Катя слушает, потом встает, подходит к телефону.

К а т я. Дайте штаб округа... Дайте Редько... Это ты, Редько?.. Я хотела сказать... Надо думать, кроме тебя, еще есть люди, которые делают революцию, но вот ты один никак не найдешь времени, чтобы повидаться с человеком... С человеком, у которого ты ночуешь, когда тебе это надо...

Пауза.

Редько, прокати меня. Приезжай за мной на машине... Ну да, если ты занят... Нет, я не сержусь. За что же сердиться?.. *(Вешает трубку.)*

Музыка прекращается. Входит Г о л и ц ы н, длинный человек в солдатской куртке и обмотках, с виолончелью в руках.

Князь, как это вам сказали в трактире — «не играй плачевное»?

Г о л и ц ы н. «Не играй плачевное, не тяни жилы».

К а т я. Им веселое нужно, Сергей Илларионович. Люди забыться хотят, отдыха...

Г о л и ц ы н. Не все. Другие требуют чувствительного.

К а т я *(садится за рояль)*. Ваша публика — кто она?

Г о л и ц ы н. Грузчики с Обводного.

К а т я. Пожалуй, в профсоюз пройдете... Вы и ужин там получаете?

Г о л и ц ы н. Получаю.

К а т я *(играет «Яблочко», поет вполголоса)*.

Пароход идет, вода кольцами.
Будем рыбу мы кормить добровольцами.

Подбирайте за мной. Вы им лучше «Яблочко» в трактире сыграйте.

Голицын подбирает, фальшивит, потом поправляется.

Сергей Илларионович, стоит мне заняться стенографией?

Г о л и ц ы н. Стенографией? Не знаю.

К а т я.

Я на бочке сидю, слезы капают,
Никто замуж не берет, только лапают...

В стенографистках нужда теперь.

Голицын. Не умею вам сказать. *(Подбирает «Яблочко»).*

Катя. Из всех нас настоящая женщина — Маша. У нее сила, смелость, она женщина. Мы вздыхаем здесь, а она счастлива в своем политотделе... Кроме счастья — какой другой закон выдумали люди?.. Его, верно, и нет, другого закона.

Голицын. Мария Николаевна руль всегда поворачивала круто. Этим она и отличается.

Катя. Она права...

Ах ты, яблочко, куда котишься...

И потом, у нее роман с этим Аким Иванычем...

Голицын *(перестает играть).* Кто это Аким Иваныч?

Катя. Их командир дивизии, бывший кузнец... Она о нем в каждом письме упоминает.

Голицын. Почему же роман?

Катя. Там между строк есть, я знаю... Или уехать мне в Борисоглебск, к родным? Все-таки гнездо... Вот вы в лавру к монаху этому ходите... как зовут его?

Голицын. Сионий.

Катя. К Сионию. Чему он учит вас?

Голицын. Вы говорили о счастье... Он учит меня видеть его не в чувстве власти над людьми и не в этой беспрестанной жадности — жадности, которую мы утолить не можем.

Катя. Давайте, Сергей Илларионович.

Я на бочке сидю, бочка котится,
Хоть в кармане ни гроша,
Выпить хотется...

Сионий — красивое имя.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Людмила и Дымшиц в его номере. На столе остатки ужина, бутылки. Видна часть соседней комнаты. Бишонков, Филипп и Евстигнеич играют там в карты. Евстигнеича с отрубленными ногами поставили на стул.

Людмила. Феликс Юсупов был бог по красоте, теннисист, чемпион России. Его красоте недоставало мужест-

венности, в нем была кукольность... С Владимиром Баглеем мы встретились у Феликса. Император так до конца и не понял рыцарскую натуру этого человека. Его называли у нас «тевтонский рыцарь»... Фредерикс был дружен с князем Сергеем... Вы знаете князя Сергея, который играет на виолончели?.. На вечере был еще номер hors programme[1], архиепископ Амвросий. Старик ухаживал за мною, — можете себе представить! — подливал крюшону и делал такую постную, лукавую мину. Вначале я не произвела на Владимира впечатления, он признался мне в этом: «Вы были курносая, si démesurement russe[2], с пылающим румянцем...» На рассвете мы поехали в Царское, оставили машину в парке и взяли лошадь. Он сам правил. «Людмила Николаевна, нужно ли вам сказать, что я весь вечер не сводил с вас глаз?..» — «Это учтено Ниной Бутурлиной, mon prince». Я знала, что у них роман, вернее — флирт. «Бутурлина — c'est le passé, Людмила Николаевна...» — «On revient toujours, ses premiers ámours, mon prince»[3], Владимир не носил великокняжеского титула, он был от морганатического брака, их семья не встречалась с императрицей... Владимир называл эту женщину гением зла. И потом — он был поэт, мальчик, ничего не понимал в политике... Мы приехали в Царское. Рассвет. Над прудом где-то, совсем понизу, запел соловей... Мой спутник повторяет: «Mademoiselle Boutoureline c'est le passé»[4]. — «Mon prince, прошлое возвращается иногда, и возвращения эти ужасны...»

Дымшиц гасит свет, накидывается на Муковнину, валит ее на диван, борьба. Она вырывается, поправляет волосы, платье.

Бишонков *(подкидывает карту)*. Подсекай...

Филипп. Подсечешь у тебя, как же!

Евстигнеич. Ну, повели к забору, руки связаны... «Ну, говорят, поворачивайся, друг». А он: «Не надо поворачиваться, я военный человек, коцайте так...» А заботы у них вроде плетня, полроста человеческого... Ночь, конец села, за селом степь, на краю степи — яр...

---

[1] Сверх программы (*фр.*).

[2] Такая бесконечно русская (*фр.*).

[3] Первые увлечения обычно возвращаются, князь (*фр.*).

[4] Мадемуазель Бутурлина — это прошлое *(фр.)*.

Б и ш о н к о в *(убивая карту).* Вот ты и козел!

Ф и л и п п. Отвечаю на все!

Е в с т и г н е и ч. ...Привели, берут на изготовку. Он стоит у плетня, да как снимется от земли, с завязанными-то руками, ровно господь бог его от земли отнял. Перелетел через плетень — и наискосок... Они — стрелять... да ночь, темнота, он кружит, петляет — ушел.

Ф и л и п п *(сдает карты).* Это герой!

Е в с т и г н е и ч. Это герой вечный. Джигит считался. Я его, как тебя, знал... Полгода гулял, потом прикрыли.

Ф и л и п п. Неужто доделали?

Е в с т и г н е и ч. Доделали. Я считаю — неправильно. Человек из могилы вылез, человек тот свет видал, — значит, не судьба его убивать.

Ф и л и п п. Ноль внимания в настоящее время.

Е в с т и г н е и ч. Я считаю — неправильно. Во всех странах такой закон: не добили — твое счастье, живи дальше.

Ф и л и п п. У нас давай только... Доделают.

Б и ш о н к о в. У нас давай...

Л ю д м и л а. Зажгите свет.

Дымшиц открывает выключатель.

Я ухожу. *(Оборачивается, смотрит на Дымшица, разражается смехом.)* Не надувайте губ, идите ко мне... Скажите, друг мой, как вы все это себе представляете? Должна же я привыкнуть к вам сначала...

Д ы м ш и ц. Я не штиблет, чтобы ко мне привыкать.

Л ю д м и л а. Я не скрываю — какое-то чувство симпатии вы мне внушаете, но надо этому чувству укрепиться... Из армии приедет Маша, вы познакомитесь: в нашей семье без нее ничего не делается... Папа — тот хорошо относится к вам, но он беспомощный — вы видели... И потом, много еще не решено; ваша жена?..

Д ы м ш и ц. При чем здесь жена?

Л ю д м и л а. Я знаю — евреи привязаны к своим детям.

Д ы м ш и ц. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить.

Л ю д м и л а. Поэтому до поры до времени надо тихонько сидеть рядом со мной, вооружиться терпением...

Д ы м ш и ц. С тех пор как евреи ждут мессию — они вооружены терпением. Выпейте еще бокальчик.

Л ю д м и л а. Я много выпила.

Д ы м ш и ц. Это вино мне принесли с броненосца. У великого князя был сундучок на броненосце…

Л ю д м и л а. Как это вы все достаете?

Д ы м ш и ц. Где я достану — там другой не достанет… выпейте этот бокальчик.

Л ю д м и л а. С условием, что вы будете сидеть тихо.

Д ы м ш и ц. Тихо сидят в синагоге.

Л ю д м и л а. Вот вы и сюртук надели, — верно, для синагоги. Сюртук, Исачок, носили директора гимназии на выпускных актах и купцы на поминальных обедах.

Д ы м ш и ц. Я не буду носить сюртука.

Л ю д м и л а. И потом — билеты. Никогда, мой друг, не покупайте билеты в первом ряду, — это делают выскочки, парвеню…

Д ы м ш и ц. Я же выскочка и есть.

Л ю д м и л а. У вас внутреннее благородство — это совсем другое. Вам даже имя ваше не идет… Теперь можно дать объявление в газете, в «Известиях»… Я бы переменила на Алексей… Вам нравится — Алексей?

Д ы м ш и ц. Нравится. *(Он снова гасит свет и накидывается на Муковнину.)*

Е в с т и г н е и ч. Взвозились…

Ф и л и п п *(прислушивается)*. Вроде наша…

Б и ш о н к о в. Мне Людмила Николаевна больше всех по сердцу — она человека привечает… А то ходят дикие, трепаные… Меня по отечеству привечает…

В комнату инвалидов входит В и с к о в с к и й, становится за спиной Евстигнеича, смотрит, как падают карты.

Л ю д м и л а *(вырывается)*. Позовите мне извозчика…

Д ы м ш и ц. Моментально!.. Больше мне делать нечего.

Л ю д м и л а. Позовите сию минуту!

Д ы м ш и ц. На улице тридцать градусов мороза, сумасшедшую собаку выпустить жалко.

Л ю д м и л а. На мне все порвано… Как я домой покажусь?..

Д ы м ш и ц. Где пьют — там и льют.

Л ю д м и л а. Пошло… Исаак Маркович, вы ошиблись адресом.

Д ы м ш и ц. Такое мое счастье.

Л ю д м и л а. Я же вам говорю — у меня болят зубы, болят невыносимо!..

Д ы м ш и ц. Где именье, где вода… При чем тут зубы?

Л ю д м и л а. Достаньте мне зубных капель... Я страдаю.

Дымшиц выходит, в соседней комнате сталкивается с Висковским.

В и с к о в с к и й. С легким паром, учитель.

Д ы м ш и ц. У нее зубы болят.

В и с к о в с к и й. Бывает...

Д ы м ш и ц. Бывает, что и не болят.

В и с к о в с к и й. Липа, Исаак Маркович, обязательно липа.

Ф и л и п п. Это изобретение ее, Исаак Маркович, а не зубы болят...

Л ю д м и л а *(поправила волосы перед зеркалом. Статная, веселая, раскрасневшаяся, она ходит по комнате и напевает).*

Милый мой строен и высок,
Милый мой ласков и жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок...

Д ы м ш и ц. Я не мальчик, Евгений Александрович, — уже оно давно прошло, то время, когда я был мальчиком.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Л ю д м и л а *(снимает телефонную трубку).* 3-75-02. Папочка, ты?.. Мне очень хорошо... В театре была Надя Иогансон с мужем. Мы ужинаем у Исаака Марковича... Ты обязательно посмотри Спесивцеву, она заменит Павлову... Лекарство ты принял? Тебе надо лечь... Твоя дочь умница, папа, ужасная выдумщица... Катюша, ты?.. Ваше приказание, сударыня, исполнено. Le menège continue, j'ai mal aux dents se soir[1]. *(Ходит по комнате, поет, взбивает волосы.)*

Д ы м ш и ц. И она может дождаться того, что в следующий раз меня для нее не будет дома...

В и с к о в с к и й. Дело хозяйское.

Д ы м ш и ц. Потому что о моих детях и моей жене пусть меня спрашивают другие, а не она.

В и с к о в с к и й. Слушаю-с.

Д ы м ш и ц. Люди недостойны завязать башмак у моей жены, если вы хотите знать, — шнурок от башмака.

---

[1] Манеж продолжается, нынешним вечером у меня болят зубы *(фр.)*.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Висковского. Он в галифе, в сапогах, без куртки, ворот рубахи расстегнут. На столе бутылки, выпито много. На тахте, привалившись, румяный, короткий Кравченко в военной форме и мадам Дора — тощая женщина в черном, с испанским гребнем в волосах и качающимися большими серьгами.

Висковский. Один удар, Яшка...

Я знал одной лишь силы власть.
Одну, но пламенную страсть...

Кравченко. Сколько же тебе надо?

Висковский. Десять тысяч фунтов. Один удар... Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов, Яшка?

Кравченко. И все на нитках?

Висковский. Нитки побоку!.. Бриллианты. Трехкаратники, голубая вода, чистые, без песку. Других в Париже не берут.

Кравченко. Да их небось уже нету.

Висковский. В каждом доме есть бриллианты, надо уметь их взять... У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских... Есть еще алмазы в императорском Санкт-Петербурге.

Кравченко. Не выйдет из тебя красный купец, Евгений Александрович.

Висковский. Выйдет!.. У меня отец торговал — выменивал усадьбы на жеребцов... Гвардия сдается, товарищ Кравченко, но не умирает.

Кравченко. Ты бы Муковнину позвал... Мается женщина в коридоре...

Висковский. В Париж, Яшка, я приеду барином.

Кравченко. Дымшиц этот — куда он запропастился?

Висковский. Отсиживается в уборной или в «шестьдесят шесть» играет с курляндчиком и Шапирой... *(Открывает дверь.)* Мисс, к нашему огоньку... *Выходит в коридор.)*

Дора *(целует у Кравченко руки)*. Ты солнце! Ты божество!

Входят Людмила в шубке и Висковский.

Людмила. Это непостижимо! Был уговор...

Висковский. Который дороже денег.

Людмила. Был уговор, что я приду в восемь. Теперь

три четверти десятого... и ключа не оставил... Куда же он делся?

В и с к о в с к и й. Поспекулирует и придет.

Л ю д м и л а. Все-таки они не джентльмены — эти люди...

В и с к о в с к и й. Выпейте водки, девочка.

Л ю д м и л а. Правда, я выпью, озябла... Непостижимо все-таки!

В и с к о в с к и й. Разрешите вам представить, Людмила Николаевна, мадам Дору, гражданку Французской республики — Liberté, Egalité, Fraternité[1]. Между прочими достоинствами обладает заграничным паспортом.

Л ю д м и л а *(подает руку)*. Муковнина.

В и с к о в с к и й. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении.

К р а в ч е н к о. Евгений Александрович нынче в ударе.

В и с к о в с к и й. В любом направлении... Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился, — ты разрушишь ее, обстрелять детский приют, — ты скажешь: «Трубка два ноль восемь» — и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых... Ты на все пойдешь, если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери, — ты отречешься от нее. Но дело не в том, Яшка, — дело в том, что они пойдут дальше: тебе не позволят пить водку в той компании, которая тебе нравится, книги тебя заставят читать скучные, и песни, которым тебя станут обучать, тоже будут скучные... Тогда ты рассердишься, красный артиллерист, ты взбесишься, забегаешь глазками... Два гражданина придут к тебе в гости: «Пойдем, товарищ Кравченко...» — «Вещи, — спросишь ты, — брать с собой или нет?» — «Вещи можно не брать, товарищ Кравченко, дело минутное, допрос, пустяки...» И тебе поставят точку, красный артиллерист, — это будет стоить четыре копейки денег. Высчитано, что пуля от кольта стоит четыре копейки, и ни сантима больше.

Д о р а. Жак, берите меня домой...

---

[1] Свобода, Равенство, Братство (*фр.*).

В и с к о в с к и й. Твое здоровье, Яков!.. За победоносную Францию, мадам Дора!

Л ю д м и л а *(ей все время подливают)*. Я схожу посмотрю, не вернулся ли он...

В и с к о в с к и й. Поспекулирует и придет... Маркиза, липу с зубами сами придумали?

Л ю д м и л а. Сама... Здорово?.. *(Смеется.)* Право же, теперь иначе нельзя. Евреи должны уважать женщину, с которой они хотят быть близки.

В и с к о в с к и й. Я смотрю на вас, Люка, — вы похожи на синичку... Выпьем, синичка!

Л ю д м и л а. Теперь за меня примется. Вы чего-то намешали в это пойло, Висковский.

В и с к о в с к и й. Синичка... Все силы Муковниных ушли на Марию, вам остался только ряд мелких зубов.

Л ю д м и л а. Дешево, Висковский.

В и с к о в с к и й. И маленькую твою грудь я не люблю... Грудь женщины должна быть красива, велика, беспомощна, как у овцы...

К р а в ч е н к о. Мы пошли, Евгений Александрович.

В и с к о в с к и й. Никуда вы не пойдете... Синичка, выходи за меня замуж.

Л ю д м и л а. Нет, уж лучше за Дымшица... Знаем, как за вас выходить: нынче вы напились, завтра у вас похмелье, потом вы уезжаете неведомо куда, потом вы стреляетесь... Нет, уж мы за Дымшица.

К р а в ч е н к о. Отпусти нас, Евгений Александрович, сделай милость!

В и с к о в с к и й. Никуда вы не пойдете... Тост! Тост за женщину. *(Доре.)* Это Люка... Сестру ее зовут Мария.

К р а в ч е н к о. Мария Николаевна в армии, кажется?

Л ю д м и л а. Она на границе теперь.

В и с к о в с к и й. На фронте, на фронте, Кравченко. Дивизией у них командует шестерка.

Л ю д м и л а. Висковский, это неправда. Он — металлист.

В и с к о в с к и й. Шестерку зовут Аким... Выпьем за женщин, мадам Дора! Женщины любят прапорщиков, половых, акцизных чиновников, китайцев... Их дело любить, — в участке разберутся. *(Поднимает бокал.)* «За милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час...» Впрочем, и часу не было. Паутина. Потом паутина порвалась... Ее сестру зовут Мария... Представь себе,

Яшка, что ты полюбил царицу. «Вы гадки, — говорит она тебе, — уходите...»

Людмила *(смеется)*. Узнаю Машу...

Висковский. «Вы гадки, уходите...» Конную гвардию отвергли, тогда решено было пойти на Фурштадтскую, шестнадцать, квартира четыре...

Людмила. Висковский, не смейте!

Висковский. За кронштадтскую артиллерию, Яша!.. Было решено пойти на Фурштадтскую. Мария Николаевна вышла из дому в сером костюме tailleur. Она купила фиалки у Троицкого моста и приколола их к петлице своего жакета... Князь, — он играет на виолончели, — князь убрал свою холостую квартиру, запихал под шкаф грязное белье, немытые тарелки снес на антресоли... Был приготовлен кофе на Фурштадтской и petits fours[1]. Кофе выпили. Она принесла с собой весну, фиалки и забралась с ногами на диван. Он покрыл шалью ее сильные нежные ноги, навстречу ему сияла улыбка, ободряющая, покорная, печальная ободряющая улыбка... Она обняла его седеющую голову... «Князь! Что же вы, князь?» Но голос у князя оказался как у папского певчего. Passe, rien ne va plus[2].

Людмила. Боже, какая злюка!

Висковский. Вообрази, Яша, царица снимает перед тобой лиф, чулки, панталоны... Может, и ты оробел бы, Яшка...

Людмила Николаевна опрокидывается, хохочет.

Она ушла с Фурштадтской, шестнадцать... Где след ее ноги, чтобы я мог поцеловать его?.. Где след ее ноги?.. Но у Акима, будем надеяться, голос звучит погрубее... Ваше мнение, Людмила Николаевна?

Людмила. Висковский, вы намешали что-то в эту водку... У меня голова кружится...

Висковский. Иди сюда, мелочь! *(С силой берет ее за плечи и приближает к себе.)* Дымшиц — сколько заплатил он тебе за кольцо?

Людмила. Что вы говорите такое?

Висковский. Кольцо не твое, сестры. Ты продала чужое кольцо.

---

[1] Печенье *(фр.)*.

[2] Все в прошлом *(фр.)*.

Людмила. Оставьте меня!

Висковский (*отталкивает ее в боковую дверь*). Иди со мною, мелочь!..

В комнате остаются Дора и Кравченко. В окне медленный луч прожектора. Дора, взъерошенная, выпученная, тянется к Кравченко, целует у него руки, стонет, лепечет. Входит на цыпочках босой Филипп с обваренным лицом, не торопясь, бесшумно берет со стола вино, колбасу, хлеб.

Филипп (*негромко, склонив голову набок*). Не обидно будет, Яков Иванович?

Кравченко кивает головой, инвалид, осторожно ступая босыми ногами, уходит.

Дора. Ты солнце! Ты бог! Ты все!

Кравченко молчит, прислушивается. Входит Висковский, закуривает, руки его дрожат. Дверь в соседнюю комнату открыта. Брошенная на диван, плачет Муковнина.

Висковский. Спокойствие, Людмила Николаевна, до свадьбы заживет...

Дора. Жак, я хочу нашу комнату... Берите меня домой, Жак...

Кравченко. Погоди, Дора.

Висковский. По разгонной, граждане?

Кравченко. Погоди, Дора.

Висковский. По разгонной — за дам...

Кравченко. Нехорошо, ротмистр.

Висковский. За дам, Яков Иванович!

Кравченко. Нехорошо, ротмистр.

Висковский. Что именно нехорошо?

Кравченко. Трипперитики не спят с женщинами, господин Висковский.

Висковский (*офицерским голосом*). Как вы сказали?

Пауза. Плач смолкает.

Кравченко. Я сказал — больные гонореей...

Висковский. Снимите очки, Кравченко. Я буду бить вам морду!..

Кравченко вынимает револьвер.

Очень хорошо.

Кравченко стреляет. Занавес. За спущенным занавесом — выстрелы, падение тел, женский крик.

КАРТИНА ПЯТАЯ

У Муковниных. В углу на сундуке свернулась старуха нянька. Спит. На столе пятно света от лампы. Катя читает Муковнину письмо.

Катя. «...На рассвете меня будит рожок штабного эскадрона. К восьми надо быть в политотделе, я там за все... Правлю статьи в дивизионную газету, веду школу ликбеза. Пополнение у нас — украинцы, языком и выразительностью они напоминают мне итальянцев. Казенная Россия в течение столетий подавляла и унижала их культуру... На нашей Миллионной в Петербурге, в доме против Эрмитажа и Зимнего дворца, мы жили, как в Полинезии, — не зная нашего народа, не догадываясь о нем... Вчера на уроке я прочитала из папиной книги главу об убийстве Павла. Наказание свое император заслужил так очевидно, что никто об этом не задумался: спрашивали меня — здесь сказался точный ум простолюдина — о расположении полка, комнат во дворце, о том, какая рота гвардии была в карауле, среди кого были набраны заговорщики, чем обидел их Павел... Я все мечтаю о том, что папа приедет к нам летом, если только поляки не зашевелятся... Ты увидишь, дружок мой папа, новую армию, новую казарму — в противовес той, о которой ты рассказываешь. К тому времени наш парк расцветет и зазеленеет, лошади поправятся на подножном корму, седла приготовлены... Я говорила Аким Иванычу — он согласен, только бы у вас все было благополучно, милые мои... Теперь ночь. Я освободилась поздно и поднялась к себе по истоптанным четырехсотлетним ступеням. Я живу на вышке, в сводчатой зале, служившей когда-то оружейной графам Красницким. Замок построен на крутизне, у подножия его синяя рука, пространство лугов необозримо, с туманной стеной леса вдали... В каждом этаже замка выбита ниша для дозорного: отсюда они следили приближение татар и русских и лили кипящее масло на голову осаждающих. Старушка Гедвига, экономка последнего Красницкого, приготовила мне ужин и растопила камин, глубокий и черный, как подземелье... В парке внизу переминаются, задремывают лошади. Кубанцы ужинают вокруг костра и заводят песню. Снег налег на деревья, ветви дубов и каштанов переплелись, неровная серебряная крыша накрыла занесенные дорожки, статуи. Они еще сохранились — юноши, бросающие копье, и обнаженные закоченевшие богини с согнутыми руками, с волнистой линией волос и слепыми глазами... Гедвига дрем-

лет и трясет головой, поленья в камине вспыхивают и распадаются. Столетия сделали кирпичи звонкими, как стекло — они озарены золотом в ту минуту, когда я пишу вам... Карточка Алеши у меня на столе... Здесь те самые люди, которые не задумались убить его. Я ушла только что от них и помогла их освобождению... Правильно ли я сделала, Алексей, исполнила ли я твое завещание жить мужественно?.. И тем, что в нем есть неумирающего, он не отвергает меня... Поздно, не могу заснуть — от необъяснимой тревоги за вас, от боязни снов. Во сне я вижу погоню, мучительство, смерть. Я живу странной смесью — близостью к природе, беспокойством о вас. Почему Люка пишет так редко? Несколько дней тому назад я послала ей бумажку, подписанную Аким Ивановичем, о том, что у меня, как у военнослужащей, не имеют права реквизировать комнату. Кроме того, у папы должна быть охранная грамота на библиотеку. Если срок ее прошел, надо возобновить в Наркомпросе, у Чернышева моста, комната сорок. Я буду счастлива, если Люке удастся основать свою семью, но надо, чтобы этот человек бывал у нас в доме, познакомился бы с папой — тут сердце не обманет. И пусть нянька увидит его... Катюша все жалуется на старуху, что та не работает. Катюша, нянька стара, она вырастила два поколения Муковниных, у нее свои мысли и чувства, она не простой человек... Мне всегда казалось, что в ней мало крестьянского, — а впрочем, что знали мы в нашей Полинезии о крестьянах... В Петербурге, говорят, стало еще труднее с продовольствием; у тех, кто не служит, забирают комнаты и белье... Мне стыдно за то, что мы живем хорошо. Два раза Аким Иванович брал меня с собой на охоту. У меня верховая лошадь, донец...» *(Катя поднимает голову.)* Вот видите, Николай Васильевич, как хорошо.

Муковнин закрывает глаза ладонью.

Не надо плакать...

М у к о в н и н. Я спрашиваю у бога, — у каждого из нас есть бог его души, — за что ты дал мне, дурному, себялюбивому человеку, таких детей — Машу, Люку?..

К а т я. Но это же хорошо, Николай Васильевич. Зачем плакать?

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Участок милиции ночью. Под лавкой скрючился п ь я н ы й. Он двигает пальцами перед самым своим лицом, внушает себе что-то. На лавке дремлет грузный старый ч е л о в е к, хорошо одетый, в енотовой шубе и

высокой шапке. Шуба распахнулась, под ней голая серая грудь. Н а д з и р а т е л ь допрашивает М у к о в н и н у. Кротовая шапочка ее сбита набок, волосы растрепаны, шубка стащена с плеча.

Н а д з и р а т е л ь. Имя?

Л ю д м и л а. Отпустите меня.

Н а д з и р а т е л ь. Имя?

Л ю д м и л а. Варвара.

Н а д з и р а т е л ь. Отчество?

Л ю д м и л а. Ивановна.

Н а д з и р а т е л ь. Где работаете?

Л ю д м и л а. У Лаферма, на табачной фабрике.

Н а д з и р а т е л ь. Профбилет?

Л ю д м и л а. Я не ношу с собой.

Н а д з и р а т е л ь. Зачем липу гоните?

Л ю д м и л а. Я замужем... Отпустите меня...

Н а д з и р а т е л ь. Почему вам интересно липу гнать, скажите? Брылева давно знаете?

Л ю д м и л а. О ком вы говорите?.. Я не знаю.

Н а д з и р а т е л ь. Ордера на нитки Брылев подписывал, через вас шло к Гутману, где вы склад сделали?..

Л ю д м и л а. Что вы говорите? Какой склад?..

Н а д з и р а т е л ь. Сейчас узнаете — какой... *(Милиционеру.)* Позовите Калмыкову.

Милиционер вводит Ш у р у К а л м ы к о в у, горничную в номерах на Невском, 86.

Н а д з и р а т е л ь. Вы коридорная?

К а л м ы к о в а. Я подменяю.

Н а д з и р а т е л ь. Признаете гражданку?

К а л м ы к о в а. Очень отлично признаю.

Н а д з и р а т е л ь. Что можете показать?

К а л м ы к о в а. Могу отвечать по вопросам... Отец их — генерал.

Н а д з и р а т е л ь. Работает она?

К а л м ы к о в а. Пару поддает — это у ней работа.

Н а д з и р а т е л ь. Муж есть?

К а л м ы к о в а. Под кустом венчались... У ней мужьев много. Один от ее зубов весь вечер в отхожем хоронился.

Н а д з и р а т е л ь. Какие зубы? Чего плетешь?..

К а л м ы к о в а. Людмила Николаевна знает, какие зубы.

Н а д з и р а т е л ь *(Муковниной)*. Приводы были?.. Сколько?

Л ю д м и л а. Меня заразили... Я больна.

Н а д з и р а т е л ь *(Калмыковой)*. Нам удостоверить надо, сколько у ней приводов.

К а л м ы к о в а. Это не знаю, не скажу... Я то не скажу, чего не знаю.

Л ю д м и л а. Я измучена... Отпустите меня...

Н а д з и р а т е л ь. Не волноваться! На меня смотрите.

Л ю д м и л а. У меня голова кружится... Я упаду...

Н а д з и р а т е л ь. На меня смотреть!

Л ю д м и л а. Боже мой, зачем мне смотреть на вас?..

Н а д з и р а т е л ь *(в бешенстве).* Затем, что я пятые сутки не спавши... Можете вы это понять?..

Л ю д м и л а. Я могу понять.

Н а д з и р а т е л ь *(подступает к ней ближе, берет за плечи и смотрит ей в глаза).* Приводов сколько — говори...

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

У Муковниных. Горят коптилки. Тени на стенах и потолке. Перед зажженной лампадой молится Г о л и ц ы н. На сундуке спит н я н ь к а.

Г о л и ц ы н. ...Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит — того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел...

К а т я *(подходит неслышно, становится рядом с Голицыным, кладет голову на его плечо).* Свидания мои с Редько происходят в штабе, Сергей Илларионович, в бывшей прихожей, там клеенчатый диван есть... Я прихожу, Редько запирает дверь, потом дверь отмыкается...

Г о л и ц ы н. Да.

К а т я. Я уезжаю в Борисоглебск, князь.

Г о л и ц ы н. Уезжайте.

К а т я. Редько все учит меня, все учит — кого любить, кого ненавидеть... Он говорит — закон больших чисел. Но я-то сама малое число — или это не считается?..

Г о л и ц ы н. Должно считаться.

К а т я. Вот видите — должно считаться... Вот я и свободна, нянька... Проснись. Пожалуйста, проснись. Ты царствие небесное проспишь...

Н е ф е д о в н а *(поднимает голову).* Люка-то где?

К а т я. Люка скоро придет, нянька, а я уезжаю, некому будет тебя бранить.

Н е ф е д о в н а. Зачем меня бранить, какие мои дела... Я нянька рожденная, для детей взята, детей растить, а их тут нету... Баб полон дом, а ребенков нету. Одна воевать пошла, без нее некому, другая шатается без пути... Какой это может быть дом — без ребенков?

К а т я. Вот родим тебе от святого духа...

Н е ф е д о в н а. Вы треплетесь, разве я не вижу, треплетесь, да толку нет.

Г о л и ц ы н. Уезжайте в Борисоглебск, вы нужны там... В Борисоглебске пустыня, Катерина Вячеславна, в этой пустыне звери пожирают друг друга...

Н е ф е д о в н а. Вон Молостовы — скверные совсем купчишки, выхлопотали своей няньке пенсион, пятьдесят рублев в месяц... Похлопочи за меня, князь, почему мне пенсион не дают?

Г о л и ц ы н *(растапливает «буржуйку»)*. Меня не послушают, Нефедовна, у меня теперь силы нет.

Н е ф е д о в н а. Вон ведь простые совсем купчики.

Открывается дверь. М у к о в н и н отступает перед Ф и л и п п о м, закутанным в тряпье и башлык, громадным и бесформенным. Половина Филиппова лица заросла диким мясом, он в валенках.

М у к о в н и н. Кто вы?

Ф и л и п п *(продвигается ближе)*. Я Людмиле Николаевне знакомый.

М у к о в н и н. Что вам угодно?

Ф и л и п п. Там заварушка получилась, ваше превосходительство.

К а т я. Вы от Исаака Марковича?

Ф и л и п п. Так точно, от Исаака Марковича... Вроде как ни с чего и получилось.

К а т я. Людмила Николаевна?..

Ф и л и п п. Там же, при них они и были, в компании... Маленько, ваше превосходительство, перехорошили. Евгений Александрович — одно, Яков Иваныч им вроде как напротив, стали цапаться, оба с мухой...

Г о л и ц ы н. Николай Васильевич, я поговорю с этим товарищем.

Ф и л и п п. Особого такого ничего не случилось, а только недоразумение... Оба с мухой, оружия при себе...

М у к о в н и н. Где моя дочь?

Ф и л и п п. Ваше превосходительство, неизвестно.

М у к о в н и н. Где моя дочь, скажите? Мне все можно сказать.

Ф и л и п п *(чуть слышно)*. Законвертовали.

М у к о в н и н. Я смотрел смерти в глаза. Я солдат.

Ф и л и п п *(громче)*. Законвертовали, ваше превосходительство.

М у к о в н и н. Арестовали — за что?

Ф и л и п п. Вроде как из-за болезни сыр-бор получился. Яков Иванович говорят: «Вы болезнью наделили», — Евгений Александрович — стрелять. Оружия при себе, оружия — тут она...

М у к о в н и н. Это Чека?

Ф и л и п п. Люди взяли, а кто их разберет?.. Люди сейчас неформенные, ваше превосходительство, себя не показывают.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, Катя.

К а т я. Никуда вы, Николай Васильевич, не поедете.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, сейчас же.

К а т я. Николай Васильевич, дорогой мой...

М у к о в н и н. Дело в том, Катя, что моя дочь должна быть возвращена мне. *(Подходит к телефону.)* Прошу штаб военного округа...

К а т я. Не надо, Николай Васильевич!

М у к о в н и н. Прошу к телефону товарища Редько... Говорит Муковнин... Я не могу объяснить вам лучше, товарищ, кто говорит, — в прошлом я генерал-квартирмейстер Шестой армии... Товарищ Редько, вы?.. Здравствуйте, Федор Никитич. У аппарата Муковнин. Здравия желаю... Если оторвал от дела — сожалею очень... Сегодня, Федор Никитич, в доме восемьдесят шесть по Невскому, вечером, вооруженными людьми взята моя дочь Людмила. Я не ходатайствую перед вами, Федор Никитич, — знаю, что в организации вашей это не принято, — но только хотел доложить, что мне нужно увидеться со старшей моей дочерью, Марией Николаевной. Дело в том, что я недомогаю в последнее время, Федор Никитич, и чувствую необходимость посоветоваться с Марией Николаевной. Мы посылали телеграммы и срочные письма. Катерина Вячеславна, знаю, и вас затрудняла — ответа нет... Просьба связать по прямому проводу, Федор Никитич... Могу добавить, что я вызван генералом Брусиловым в Москву для переговоров о службе... Вы говорите — доставлено?.. Доставлено восьмого?.. Покорно благодарю, желаю успеха, Федор Никитич. *(Вешает трубку.)* Все хорошо, Машу разыскали, телеграмма вручена восьмого. Она будет в Петербурге завтра,

послезавтра, самое позднее. Надо убрать Машину комнату, Нефедовна, — подняться завтра чуть свет и убрать... Катюша права — квартира запущена. Мы ужасно все запустили в последнее время, везде пыль. Надо чехлы надеть. У нас есть чехлы, Катюша?

К а т я. Не на всю мебель, но есть.

М у к о в н и н *(мечется по комнате)*. Непременно надеть надо чехлы... Маше приятно будет застать все в том виде, как она оставила. Почему не создать уют, когда это можно сделать... И вот Катя у нас не амюзируется, — ты совсем не амюзируешься[1], Катюша, не ходишь в театр, так можно отстать.

К а т я. Маша вернется — я пойду.

М у к о в н и н *(инвалиду)*. Простите, ваше имя-отчество?..

Ф и л и п п. Филипп Андреевич.

М у к о в н и н. Почему вы не садитесь, Филипп Андреевич?.. Мы вас даже за хлопоты не поблагодарили... Надо угостить Филиппа Андреевича... Нянька, найдется у нас чем угостить? Дом наш открыт, Филипп Андреевич, милости просим по-простому, будем рады. Мы вас непременно с Марией Николаевной познакомим...

К а т я. Вам надо отдохнуть, Николай Васильевич, лечь надо.

М у к о в н и н. И если хотите, я за Люку ни одного мгновения не беспокоюсь. Это урок — урок за ребячество, за отсутствие опыта... Если хотите — я доволен... *(Вздрагивает, останавливается, падает на стул. К нему подбегает Катя.)* Спокойствие, Катя, спокойствие...

К а т я. Что с вами?

М у к о в н и н. Ничего, — сердце...

Катя и Голицын берут его под руки, уводят.

Ф и л и п п. Расстроился.

Н е ф е д о в н а *(ставит на стол прибор)*. Барышню нашу при тебе брали?

Ф и л и п п. При мне.

Н е ф е д о в н а. Билась?

Ф и л и п п. Сперва билась, потом пошла ничего.

Н е ф е д о в н а. Я тебе картошку дам, кисель есть...

---

[1] От французского глагола s'amuser — приятно проводить время, развлекаться.

Ф и л и п п. Поверишь, бабушка, дома пельменей целый ушат навалили, заварушка эта поднялась, — глядь, и уперли.

Н е ф е д о в н а *(ставит перед Филиппом картошку)*. Лицо-то у тебя на войне обварило?

Ф и л и п п. Лицо у меня гражданским порядком обварило, давно дело было...

Н е ф е д о в н а. А война будет? Чего у вас говорят?

Ф и л и п п *(ест)*. Война, бабушка, будет в августе месяце.

Н е ф е д о в н а. С поляками, что ли?

Ф и л и п п. С поляками.

Н е ф е д о в н а. Не все им отдали?

Ф и л и п п. Они, бабушка, желают иметь свое государство от одного моря и до самого другого моря. Как в старину было, так они и в настоящий момент желают.

Н е ф е д о в н а. Ишь дураки какие!

Входит К а т я.

К а т я. Очень худо Николаю Васильевичу. Нужно доктора.

Ф и л и п п. Доктор, барыня, сейчас не пойдет.

К а т я. Он умирает, нянька, у него нос синий... Уже видно, какой он будет мертвый...

Ф и л и п п. Доктора, барышня, сейчас на запоре, в ночное время не пойдут, хоть стреляй в него.

К а т я. В аптеку надо за кислородом...

Ф и л и п п. Они союзные — их превосходительство?

К а т я. Не знаю... Мы ничего здесь не знаем.

Ф и л и п п. Если не союзные — не дадут.

Резкий звонок. Филипп идет открывать, возвращается.

Там... там... Мария Николаевна...

К а т я. Маша?!

Катя идет вперед, протягивает руки, плачет, останавливается, закрывает лицо руками, потом отнимает их. Перед ней к р а с н о а р м е е ц, лет девятнадцати, мальчик на длинных ногах, он тащит за собой мешок. Входит Г о л и ц ы н, останавливается у двери.

К р а с н о а р м е е ц. Здравствуйте!

К а т я. Боже мой, Маша!..

К р а с н о а р м е е ц. Тут Мария Николаевна из продуктов кое-что прислали.

К а т я. Где же она?.. Она с вами?

Красноармеец. Мария Николаевна в дивизии, сейчас все на местах... Из вещей тут кое-что есть — сапоги...

Катя. Она не приехала с вами?

Красноармеец. Там бои, товарищи, идут, — как можно?

Катя. Мы телеграммы посылали, письма...

Красноармеец. Что ни посылайте — все равно... Части день и ночь в движении.

Катя. Вы увидите ее?

Красноармеец. Как же не увидеть?.. Если передать что-нибудь...

Катя. Да, передайте ей, пожалуйста... Передайте, что отец ее умирает и мы не надеемся его спасти. Передайте, что, умирая, он звал ее... Сестра ее Люка не живет с нами больше — она арестована. Скажите, что мы желаем счастья Марии Николаевне, желаем, чтобы она не думала о тех днях и часах, когда ее не было с нами...

Красноармеец озирается, отступает. Шатаясь, выходит из своей комнаты Муковнин. Глаза его блуждают, волосы поднялись, он улыбается.

Муковнин. Вот, Маша, тебя не было, и я не хворал, все время был молодцом, Маша... *(Видит красноармейца.)* Кто это?.. *(Повторяет громче.)* Кто это?.. Кто это?.. *(Падает.)*

Нефедовна *(опускается на колени рядом с Муковниным)*. Ну что, Коля, уходишь?.. Не ждешь няньку...

Старик хрипит. Агония.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Полдень. Ослепительный свет. В окне облитые солнцем колонны Эрмитажа, угол Зимнего дворца. Пустая зала Муковниных. В глубине натирают паркет Андрей и подмастерье Кузьма, толстомордый парень. Агаша кричит в окно.

Агаша. Нюшка, проклятущая, не давай дитю об стенку мазаться!.. Куда глаза подевала? Сидишь, что ли, на глазах?.. Выросла — небо прободаешь, а толку все то же... Тихон, слышь, Тихон, зачем у тебя сарай растворенный? Замкни сарай-то... Егоровна, здравствуй! Я у тебя сольцы до первого не достану?.. Первого разживусь по купону — отдам. Девка моя зайдет, насыпь ей в пузырек, до перво-

го... Тихон, слышь, Тихон, у Новосельцевых был? Когда они съезжают?

Голос Тихона. Съезжать, говорят, некуда.

Агаша. Жить умели — умейте и съезжать... До воскресенья дай им срок, а после воскресенья у нас с ними серьез будет, так и скажи... Нюшка, проклятущая, гляди, дите себе в нос землю пихает!.. Бери дите наверх, марш домой, окна мыть!.. *(Полотеру.)* Ну как, мастер, действуешь?

Андрей. Прикладываем труды.

Агаша. Не больно прикладываешь... Углы все пооставляли.

Андрей. Это какие углы?

Агаша. Да все четыре — и пол у тебя рыжий. Разве он должен быть рыжий?.. Не тот колер совсем.

Андрей. Материал теперь не тот, хозяйка.

Агаша. Сам хитришь и малого учишь... За деньгами небось аккуратно придешь.

Андрей. А я тебе, Аграфена, то отвечу, что ты врагу своему закажешь впервой после революции полы чистить... Тут за революцию грязи на три вершка наросло, рубанком не отстругаешь. Мне за это медаль нацепить, за то, что я после революции полы чищу, а ты лаешься...

В глубине проходят Сушкин и Катя в трауре.

Сушкин. Единственно как фанатик мебельной отрасли покупаю, единственно по охоте моей, что не могу мимо античной вещи пройти, — я за античную вещь болею. Громоздкую вещь в настоящий момент покупать — это камень на шею, с ним тонуть, Катерина Вячеславна... Вот сделаешь сегодняшний день покупку — мечтаешь, а завтра ты страдалец куда бы рассовать.

Катя. Вы забываете, Аристарх Петрович, что здесь ни одной простой вещи нет. Мебель эту сто лет назад Строгановы из Парижа выписывали.

Сушкин. Оттого миллиард двести и даю.

Катя. Что значит теперь этот миллиард, если на хлеб перевести?

Сушкин. А вы не на хлеб, а на мою ненормальность переведите, что я как охотник покупаю. С громоздкой вещью в настоящий момент остаться — ведь это я у них первый кандидат буду... *(Меняя тон.)* Тут у меня и молодежь приготовлена... *(Кричит вниз.)* Ребятежь, подхватывайся, веревки с собой тащи!..

А г а ш а *(выступает вперед).* Это куда подхватываться?

С у ш к и н. С кем имею честь-удовольствие?..

К а т я. Это наша смотрительница двора, Аристарх Петрович.

А г а ш а. Ну, хоть дворничиха.

С у ш к и н. Очень приятно. Теперь, значит, такой разговор: вы нам, как говорится, поможете мебель снести, мы обоюдно вам поможем.

А г а ш а. Не получится у вас, гражданин.

С у ш к и н. Что именно у нас не получится?

А г а ш а. Тут переселенные люди будут, из подвала...

С у ш к и н. Это нам, конечно, интересно знать, что переселенные...

А г а ш а. Мебель-то где они возьмут?

С у ш к и н. А вот это нам, гражданка, совершенно неинтересно знать.

К а т я. Агаша, Мария Николаевна поручила мне продать...

С у ш к и н. Прошу прощения, гражданка, мебель-то ваша?

А г а ш а. Мебель не моя, да и не твоя тоже.

С у ш к и н. На это первично отвечу, что мы с вами над одной ямкой не сидели, а вторично я вам скажу, что вы в настоящий момент, гражданка, неприятность себе наживаете.

А г а ш а. Ордер принесешь — я мебель выпущу.

К а т я. Агаша, мебель принадлежит Марии Николаевне, ты же знаешь...

А г а ш а. Я что знала, барышня, то забыла, переучиваюсь теперь.

С у ш к и н. Гляди, баба, нарвешься!

А г а ш а. Не ругайся, выгоню...

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович.

С у ш к и н. Превышение власти, баба, делаешь.

А г а ш а. Ордер принеси — выпущу.

С у ш к и н. В другом месте поговорим.

А г а ш а. Хочь на Гороховой.

К а т я. Уйдемте, Аристарх Петрович...

С у ш к и н. Я уйду, да вернусь, — не один вернусь, с людями.

А г а ш а. Нехорошо делаете, барышня.

Уходят. Андрей и Кузьма кончают натирать, собирают свой снаряд.

К у з ь м а. Умыла как следует.

А н д р е й. Колкая дамочка.

К у з ь м а. Она и при генерале была?

А н д р е й. При генерале она низко ходила, головы не высовывала.

К у з ь м а. Генерал-то дрался небось?

А н д р е й. Зачем дрался? Совершенно он не дрался. Ты к нему придешь — он с тобой за ручку возьмется, поздоровкается... Его и народ любил.

К у з ь м а. Как это так — народ генерала любил?

А н д р е й. По дурости нашей — любили... Он вреда больше положенного не делал. Сам себе дрова колол.

К у з ь м а. Старый был?

А н д р е й. Особо старый не был.

К у з ь м а. А помер...

А н д р е й. Помирает, брат Кузьма, не зрелый, а поспелый. Значит, поспел.

Входят А г а ш а, рабочий С а ф о н о в, костлявый молчаливый парень, и беременная жена его Е л е н а, длинная, с маленьким светлым лицом, молодая женщина лет двадцати, не более, она в последних днях. Все нагружены домашним скарбом, тащут с собой табуретки, матрацы, примус.

Погоди, погоди, дай подстелю...

А г а ш а. Входи, Сафонов, не бойся. Тут тебе и помещаться.

Е л е н а. Нам бы другого чего-нибудь, похуже...

А г а ш а. Привыкай к хорошему.

А н д р е й. Плевое дело — к хорошему привыкнуть.

А г а ш а. Налево кухня, там ванная — мыться... Пойдем, хозяин, остальное притащим... Ты сиди, Елена, не ходи — выкинешь, пожалуй.

А г а ш а и С а ф о н о в уходят. Андрей собирает свои пожитки — щетки, ведра, Елена садится на табуретку.

А н д р е й. С новосельем, значит?

Е л е н а. Вроде неудобно помещение, велико...

А н д р е й. Когда рассыпаться тебе?

Е л е н а. Завтра пойду.

А н д р е й. Очень просто. На Мойку, что ли, во дворец?

Е л е н а. На Мойку.

А н д р е й. Дворец этот — нонче называется матери и ребенка, — его в прежнее время царица для пастуха построила, теперь там бабы опрастываются. Все по порядку, очень просто.

Е л е н а. Завтра идти. То боюсь, дядя Андрей, а то ничего.

А н д р е й. Бояться тут нечего: родишь — не чихнешь. Проработает тебе все жилы, разделаешься, опосля этого себя не узнаешь.

Е л е н а. У меня, дядя Андрей, кость узкая...

А н д р е й. Попросят ее, твою кость, она подвинется... Другой раз посмотришь на бабочку, кое-как слеплена, волосьев копна, да ножки, да ручки, а выпечатает такого мужичищу, он водки ведро выпьет да вола кулаком убьет... На все специальность... *(Взваливает на плечи мешок.)* Мальчика желаешь или девочку?

Е л е н а. Мне все равно, дядя Андрей.

А н д р е й. Это верно, что все равно... Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?.. *(Собирает свой инструмент).* Пошли, Кузьма... *(Елене.)* Родишь — не чихнешь, на все специальность... Поехали, казак.

Полотеры уходят. Елена раскрывает окна, в комнату входят солнце и шум улицы. Выставив живот, женщина осторожно идет вдоль стен, трогает их, заглядывает в соседние комнаты, зажигает люстру, гасит ее. Входит Н ю ш а, непомерная багровая девка, с ведром и тряпкой — мыть окна. Она становится на подоконник, затыкает подол выше колен, лучи солнца льются на нее. Подобно статуе, поддерживающей своды, стоит она на фоне весеннего неба.

Е л е н а. На новоселье придешь ко мне, Нюша?

Н ю ш а *(басом).* Позовешь — приду, а чего поднесешь?..

Е л е н а. Много не поднесу, что найдется...

Н ю ш а. Мне сладенького поднеси, красного... *(Пронзительно и неожиданно она запевает.)*

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края,
Скакал он садиком зеленым.
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила — говорила, что
Через год буду твоя.
Вот год прошел...

З а н а в е с

ИЗ ДНЕВНИКА 1920 г.



3.8.20

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание Пражского Банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клёкотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской. Иван стоит у штаба. Ехать или не ехать. Едем в Клёкотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомобиль Клентона, трактор, локомобиль работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии происходит рубка. Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к

шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибился в 20-му полку 4-й дивизии, раненые, вздорный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и все поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивилову, полк идет к Лешнюву, и я бессилен, боюсь оторваться, бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии. Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивилов, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных.

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем дальше, от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Конюшков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, всё берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб, забирают через 5 минут после приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжко от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печать, похитил кружку молока у командира полка, вырвал поляницу из рук сына крестьянки.

Через 10 минут выезжаем. Вот те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересесть на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-й дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные, совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней, пристал

к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудишь, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивилова. Еду на ура. Несчастная лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Трогаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

18.8.20

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буску, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах, ж—му, ему подпевает Суслов, всякие Лёвки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5—6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказыва-

ет, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает с ней, ее ботиночки, передники, она оделяет, книжки Бебеля.

Женщина и социализм.

О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б...., но товарищи, и б.... потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащут сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, СТО верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, беспрерывно матом, ко всему придирается, что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай манатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-я бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы мчимся на рысях. Страшное, жуткое местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же /нрзб/, остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуйте, сыны революции, Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы,

комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала, мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое ощущение боя, надо пробегать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности, Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут, ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-я бригада нашла брод и переправилась через Буг у Поборжаны. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он Буг, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстомордленький тычет мне документы. Счастливцы — думаю я, — как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке, рвутся постромки, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая ничем не возмутимая тишина, свет,

покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку. Чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец, Нижний Новгород, заведующий химотделом, Красная Армия, деникинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире — это незабываемо, — он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка, приседает, спрашивает — хороший ли начальник, лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают, и как это хорошо, плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское, обозы в три ряда, я в Милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть, папильотки, в этом грохочущем, воюющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в новый Милатин. *Н. Милатин.* С военкомом в странноприимнице,

какое-то подворье, сараи, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно, грязно, мириады мух, усталость ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу (все это происходит 17/VIII), железную дорогу Броды—Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрит, приезжает, забросает словами, тычут пальцами в бугры — по-под лесом, по-над лощиной, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово ругающийся Апанасенко, комбриг — уничтожить эту сволочь в ... бандяги.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, «мекая», ну, да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом бежит, ищет лошадь. Ад. Как

мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру зарезать, поляков зарезать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, беспрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа батарей, опушки, лощины, пулеметы косят, поляки главным образом защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, беспрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, беспрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей, мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бои за Баршовице. После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет, бригады действуют всем, хотя имеют дело с отступающими, и бригады вытягиваются нескончаемыми лентами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует, хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко, взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдзе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движение на Остров, 6-я кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут, приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас сгоняет с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спеши тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычай мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, испоганенный сад, здесь стоял штаб Буденного, и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои.

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенький человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение запфронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступ-

ление. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-я армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстный переход из Баршовице в Адамы будет мне памятен всю жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль, пыль из Апокалипсиса, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака пыли, от которых нет спасения, страшно задыхаешься, кругом грай, движение, уезжаю с эскадроном по полям, теряем Шеко, начинается самое страшное, езда на моем непоспевающем коньке, бесконечно едем и все рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия, оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км. Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрышки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь, сено есть, и ложусь спать.

В ПОМОЩЬ УЧЕНИКУ И УЧИТЕЛЮ



КОММЕНТАРИИ

В книгу включены основные рассказы Бабеля, начиная с самых ранних и кончая не публиковавшимися при жизни писателя.

Сочинения печатаются по изданию: Сочинения в 2 томах. М.: Художественная литература, 1991.

РАССКАЗЫ 1913—1924 гг.

Старый Шлойме. — Журнал «Огни». Киев, 1913, № 6, 9 февраля. Литературный дебют Бабеля.

Тора — в переводе с еврейского «Учение», название Моисеева Пятикнижия — первых пяти ветхозаветных книг Библии, краеугольный камень Священного писания. Содержание Торы — история сотворения мира и первых людей, рассказ о патриархах, о жизни израильтян в Палестине, изгнании в Египет, бегстве оттуда, скитаниях в пустыне. В конце концов израильский народ обретает Учения (Закон) — веления и установления бога Яхве, данные им через пророка Моисея. Тора — основа религии иудаизма.

Детство. У бабушки. — Литературное наследство («Из творческого наследия советских писателей»). М., Наука, 1965, т. 74, с. 483—486. Датировано: Саратов, 12, 11, 15.

Рабби (евр.) — учитель, наставник.

Цадик (евр.) — праведник, человек, отличающийся святостью, наставник.

Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна. — Журнал «Летопись». Пг., 1916, № 11.

В русской литературе сюжеты спасения и правдоискательства часто воплощались именно в ситуациях, связанных с публичным домом и проституткой, к которой приходит герой. Можно вспомнить повесть «Записки из подполья» Достоевского, во второй части которой герой приходит к проститутке, унижая ее, но от нее получая утешение и духовную поддержку. «Что делать?» Н. Чернышевского, рассказ Л. Андреева «Тьма», роман «Яма»

А. Куприна, рассказ А. Чехова «Припадок», рассказ М. Горького «Барышня и дурак» и др. В этих произведениях либо проститутка спасает героя, либо герой пытается спасти проститутку, вызволив ее из публичного дома и женившись на ней. Проституция для русских писателей — предел человеческого падения и унижения, поэтому в публичный дом герои приходят за «последней правдой» жизни. У Бабеля место действия нескольких рассказов также происходит именно в публичном доме (см. рассказ «Справка» в настоящем издании). Однако Бабель преобразует сюжеты спасения и правдоискательства из нравственного либо идеологического в бытовой ряд, находя в нем ряд новых аспектов, некоторые из них могут рассматриваться как пародийные. — См.: Жолковский А. Топос проституции в литературе. — В кн.: Жолковский А., Ямпольский М. Бабель/ Babel. М., 1994.

Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. — Евреи до Февральской революции 1917 г. были ущемлены в правовом и экономическом отношениях, или в так называемой черте оседлости. Им запрещалось селиться в крупных российских городах (за исключением лиц с высшим образованием, зубных врачей, музыкантов и т. д.).

Еврейская тема — одна из центральных в творчестве Бабеля, что дает повод для споров, русский он писатель или еврейский. Наиболее обоснованной представляется точка зрения одного из крупных исследователей творчества Бабеля Ш. Маркиша, пишущего о двойной принадлежности творчества писателя, о его двойной «цивилизационности» — еврейской и русской. «...Двойная принадлежность подобна зрению двумя глазами — сообщает стереоскопическую четкость, выпуклость видению и соответствующему изображению; ...без обоих цивилизационных упоров Бабель — «ненастоящий» (ранний, до «Конармии», однобоко еврейский, равно как и «поздний», по сути — уже после «Заката», когда еврейская цивилизация в советской России рухнула и почва ушла из-под ног русско-еврейского писателя); наконец, двойную принадлежность надо понимать и как равное право обеих культур, обеих литератур — русской и еврейской — считать Бабеля своим...» (Маркиш Ш. Бабель и они (глазами отщепенца). «Знамя», 1994, № 7, с. 165). См. также: Кацис Л. Герой Бабеля и эволюция еврейского мира: К типологии творчества писателя. — «Литературное обозрение», 1995, № 1, с. 73—76.

Молдаванка — до 1917 г. предместье Одессы, где жили в основном представители нижних слоев населения, в том числе одесские бандиты.

Мама, Римма и Алла. — Журнал «Летопись». Пг., 1916, № 11.

Публичная библиотека. — Журнал журналов. Спб., 1916, № 48, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

«Аполлон» — иллюстрированный литературно-художественный журнал, издававшийся в 1909—1917 гг. в Петербурге и тесно связанный с такими литературными течениями, как символизм и акмеизм.

Девять. — Журнал журналов. Спб., 1916, № 49, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

...совсем не признает новой литературы, ни, знаете, Андреева, ни Нагродскую... — Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель, один из самых известных прозаиков начала века, в чьем творчестве ярко выражено экспрессионистическое начало, сильны мотивы пессимизма и отчаяния. Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866—1930) — русская писательница, была известна произведениями с эротической проблематикой, проповедовала «свободную любовь».

...истинный Агасфер. — Агасфер, Вечный жид — персонаж западноевропейской христианской легенды позднего средневековья. Согласно преданию, отказал в кратковременном отдыхе Иисусу Христу на его крестном пути на Голгофу, велев идти дальше, за что был обречен на вечное скитальчество в ожидании второго пришествия Христа, который только один мог снять с него наказание. С XIII в. легенда о Вечном жиде начинает осваиваться литературой.

...погибла Иудея. — Имеется в виду Иудейское царство — древнее еврейское государство в Южной Палестине (ок. 928—586 до н. э.) со столицей Иерусалимом. В 587 г. Иудея была завоевана вавилонским царем Навуходоносором II, Иерусалим и главное его святилище — храм — сожжены, многие жители уведены в плен.

Одесса. — Журнал журналов. Спб., 1916, № 51, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

...я говорю об Изе Кремер. — Имеется в виду одесская эстрадная певица, исполнительница популярных в те годы «песенок настроения».

...я видел Уточкина. — Уточкин Сергей Исаевич (1876—1915) — один из первых русских летчиков, испытывал планеры и самолеты. Совершил множество полетов над Одессой и морем. В 1910—1911 гг. демонстрировал полет самолета в городах России и за рубежом.

Гетто — часть города, выделявшаяся в некоторых странах Европы для изолированного проживания еврейского населения. Во время второй мировой войны многие гетто были превращены германскими нацистами в «лагеря уничтожения». Обособленность жизни в гетто, хотя и свидетельствовала часто о бесправ-

ном положении евреев, позволила им сохранить этническую и религиозную идентичность.

«Люди воздуха» — так называют иногда евреев, живущих много веков в изгнании и потому как бы не имеющих корней там, где они поселились.

Карамазов — имеется в виду персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», вероятно, Алеша, спешащий в трактир на свидание с братом Иваном.

Акакий Акакиевич — главное действующее лицо повести Н. В. Гоголя «Шинель».

Грицко — правильно Грицько, один из персонажей повести «Сорочинская ярмарка», веселый и жизнерадостный парубок.

Отец Матвей (Константиновский) — священник, протоиерей Успенского собора г. Ржева, имевший большое влияние на Н. В. Гоголя и, видимо, спровоцировавший вспышку религиозного исступления писателя, приведшую к сожжению рукописи второго тома поэмы «Мертвые души».

Тарас — имеется в виду Тарас Бульба, герой одноименной повести Гоголя.

Интересно, что Н. В. Гоголь, усиленно работавший над последней частью поэмы «Мертвые души», в октябре 1850 г. приехал в Одессу, где пробыл до марта 1851-го. Именно здесь ему удается на время выйти из долго не оставлявшего его угнетенного состояния духа.

...в дилижансе толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. — Имеется в виду рассказ Мопассана «Признание» (см. «Гюи де Мопассан»).

...«к кресту на Святой Софии»... — видимо, имеется в виду знаменитый Софийский собор в Киеве (постр. в 1037 г.). Бабель учился в Киеве в Коммерческом институте, здесь жила семья его первой жены, и позже он часто бывал в этом городе.

Мессия — от еврейского и арамейского корня «помазанник», что соответствует греческому слову «христос», ставшему именем собственным Иисуса из Галилеи. В иудаизме и христианстве посланный Богом «спаситель», искупитель и царь, который должен установить свое вечное царствие. Под литературным Мессией Бабель имел в виду писателя, который будет обладать «солнечным» даром, способным передать полноту и радость простой земной жизни.

Вдохновение. — Журнал журналов. Спб., 1917, № 7, в рубрике «Мои листки». Подпись: Баб-Эль.

Doudou. — Свободные мысли. Пг., 1917, 13 марта в рубрике «Мои листки».

Шабос-нахаму. — Газета «Вечерняя звезда». Пг., 1918, 16 марта с подзаголовком «Из цикла «Гершеле».

Гершеле Острополер — один из самых популярных героев еврейского фольклора, хитроумный и ловкий проныра, ставший персонажем многих еврейских писателей. Бабель собирался написать цикл рассказов о Гершеле.

Шабос-нахаму — суббота утешения, еврейский религиозный праздник.

Справедливость в скобках. — Однодневная газета «На помощь!». Одесса, 1921, 15 августа, с подзаголовком «Из одесских рассказов». Новелла примыкает к циклу «Одесских рассказов», однако не была включена туда Бабелем.

Иисусов грех. — Однодневная газета Южного товарищества писателей в пользу голодающих «На хлеб». Одесса, 1921, 29 августа. В текст последующих публикаций автором внесен ряд изменений.

Рассказ высоко оценил писатель, автор известного романа-антиутопии «Мы», Е. Замятин в статье «О сегодняшнем и о современном»: «коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью» («Русский современник», 1924, № 2, с. 270).

Вечер у императрицы. — Журнал «Силуэты». Одесса, 1922, № 1, с подзаголовком «Из петербургского дневника».

Мария Федоровна — жена императора Александра III.

Ламартин — Ламартин Альфонс (1790—1869), французский писатель-романтик, политический деятель. В 1848 г. был фактически главой Временного правительства, своим бездействием способствовал удушению демократической оппозиции и гибели республики. Для поэзии Ламартина характерны мотивы бренности земных забот, бесприютности души в земной юдоли, которая лишь отблеск потустороннего блаженства.

Шенье — Шенье Андре Мари (1762—1794), французский поэт и публицист. Последователь просветителей, восторженно приветствовал Великую французскую революцию, однако вскоре, не приняв якобинского террора, перешел во враждебный ей лагерь. Язвительный памфлетист, Шенье ожесточенно полемизировал с якобинцами. Был казнен за два дня до крушения якобинской диктатуры.

Михаил Александрович — брат императора Николая II, великий князь. После отречения Николая от престола в марте 1917 г. отказался принять корону.

Сказка про бабу. — Журнал «Силуэты». Одесса, 1923, № 8—9.

Линия и цвет. — Журнал «Красная новь», 1923, № 7, с подзаголовком «Истинное происшествие».

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — русский политический деятель, в 1917 г. глава Временного правительства, после его разгона большевиками эмигрировал, до 1940 г. жил в Западной Европе, с 1940 — в США.

Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Ауэ) (1694—1793) — французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист, многие сочинения которого — поэзия, проза, драматургия, публицистика — были направлены против религиозной нетерпимости.

Гельсингфорс — шведское название г. Хельсинки, столицы Финляндии.

...прекрасная, как Мария Антуанетта. — Мария Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — профессиональный революционер, политический деятель. Сыграл важнейшую роль в подготовке Октябрьского вооруженного восстания (1918), затем занимал посты народного комиссара иностранных дел, наркома военных и морских дел. Превосходный оратор и публицист, пользовался большим авторитетом и влиянием. В 1929 г. его вынуждают уехать в Турцию. Убит по заданию Сталина Рамоном Меркадером в собственном доме в Мексике.

Баграт-Оглы и глаза его быка. — Журнал «Силуэты». Одесса, 1923, № 12.

Ты проморгал, капитан! — Газета «Известия». Одесса, 1924, 9 февраля. Вечерний выпуск. Подпись: Баб-Эль.

Конец св. Ипатия. — Правда, 1924, 3 августа, № 175, в рубрике «Из дневника».

...просить на царство Михаила Федоровича. — Романов Михаил Федорович (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых.

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

Цикл из четырех рассказов написан Бабелем в период 1921—1923 годов. Подзаголовок «Из одесских рассказов» имеют также «Справедливость в скобках» (1921) и «Конец богадельни» (окончен в 1930 г.), не включавшиеся автором в сложившийся в начале 20-х годов цикл. К ним примыкают также киносценарий «Беня Крик», рассказ и пьеса «Закат», поздний рассказ «Фроим Грач», хотя в них уже чувствуется другой, более реалистический, взгляд писателя, меняется в сторону простоты стиль, на первый план выдвигается иная проблематика, нежели в более ранних рассказах.

Король. — Газета «Моряк». Одесса, 1921, 23 июня, с подзаголовком «Из одесских рассказов».

Раввин — в иудаизме руководитель общины верующих.

...Синагогальные шамесы, вскочив на столы... — Шамес (*евр.*) — синагогальный служка.

Как это делалось в Одессе. — Газета «Известия», Одесса, 1923, 5 мая (литературное приложение к № 1025).

...торговцев кошерной пищей... — Кошерная пища — пища, разрешенная по законам иудаизма для употребления.

Биндюжник — от «биндюх» — «рыдван, большая или троичная извозная телега, на которую валят до ста пудов» (Вл. Даль). Биндюжниками называли ломовых извозчиков, перевозивших на своих телегах тяжелые грузы.

Кантор — певчий в синагоге.

Отец. — Журнал «Красная новь», 1924, № 5, с подзаголовком «Из одесских рассказов».

...кто кончается по дороге от бога Мухамеда... — Мухаммед (Мохаммед, Магомет, ок. 570—632) — основатель одной из мировых религий — ислама, почитается мусульманами как пророк.

...Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач... — Бранжа (*блатн.*) — дело.

...Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. — Подробно эта коллизия разработана в рассказе и драме под названием «Закат».

Любка Казак. — Журнал «Красная новь», 1924, № 5, с подзаголовком «Из одесских рассказов».

...Читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». — Баал-Шем, Балшем (Баал-Шем Тов — буквально «Господин Доброго Имени») — Израиль Бешт (1700—1760), основоположник хасидизма, религиозного движения в иудаизме, возникшего в среде беднейших слоев еврейского населения на Украине в 30-х гг. XVIII в. и распространившегося затем по всей Восточной Европе. Хасиды придавали большое значение личностному моменту в религии, радости в служении богу и исполнении заповедей. Хасидизм исповедовал мистический оптимизм, позволяющий не откладывать чаяния радостной и святой жизни до прихода Мессии, но осуществлять их внутри бедственной жизни сегодняшнего дня. Противостоял он и ригористической обрядности, выдвигая на первый план простейшие повседневные акты человеческого обихода (еда, сон и др.), наполнявшиеся особым мистическим смыслом и при правильном их свершении благотворно воздействовавшие на мировое бытие. Хасидизм оказал большое влияние на еврейскую литературу. Его воздействие ощущается и в

творчестве Бабеля. — См.: Одесский М., Фельдман Д. Бабель и хасидизм: Творчество И. Бабеля: проблемы интерпретации. — Литературное обозрение, 1995, № 1, с.78—83.

КОНАРМИЯ

Цикл рассказов, созданных на основе дневниковых записей Бабеля, сделанных в период его пребывания в Первой Конной армии (1920) в качестве корреспондента газеты «Красный кавалерист», где он часто печатался под псевдонимом К. Лютов. В политотдел Конармии писатель также прибыл с документами на имя Кирилла Васильевича Лютова, выданными ему секретарем Одесского губкома С. Ингуловым. Первоначально публиковавшаяся в московских, одесских и ленинградских периодических изданиях, отдельной книгой «Конармия» вышла в Госиздате в конце мая 1926 г.

В книгу вошли тридцать четыре рассказа. Редактором ее был Д. А. Фурманов — писатель, автор знаменитого романа «Чапаев». По его свидетельству, Бабель предлагал включить в нее 50 названий. После обсуждения «Конармии» в Доме печати, где в адрес писателя прозвучали критические замечания, Бабель, по словам того же Фурманова, сказал следующее: «Что я видел у Буденного — то и дал. Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной Армии, дам, если сумею, дальше» (Фурманов Дм. Из дневника. М., 1934, с. 85, 86).

Книга Бабеля стала значительным литературным событием и вызвала многочисленные отклики литературной критики. С 1926 по 1933 г. «Конармия» выдержала восемь изданий.

Переход через Збруч. — Газета «Правда», 1924, 3 августа. Датировано: «Новоград-Волынск, июль 1920 г.».

Костел в Новограде. — Газета «Известия Одесского Губисполкома, Губкома КП (б)У и Губпрофсовета», 1923, 18 февраля.

Ксендз — в Польше священнослужитель католической церкви.

...экономка иезуита. — Иезуиты — члены католического монашеского ордена, основанного в Париже в 1534 г. Игнатием Лойолой. Здесь употреблено рассказчиком как синоним католика, с оттенком неприязни.

...и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!.. — Речь Посполитая (Rzecrospolita Polska) — республика Польская. С 1569 по 1795 г. официальное название польско-литовского государства. Возрождено в Польше в 1918—1939 гг.

Радзивилл, Сапега — представители старинных польских княжеских родов.

Святой Петр, святой Франциск, святой Винцент — почитаемые католиками святые.

Письмо. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 11 февраля. Датировано: «Новоград-Волынск, июнь 1920 г.», дата впоследствии снята.

...нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного. — Буденный Семен Михайлович (1883—1973) — в 1919—1920 гг. командарм Первой Конной армии. В 1924 г. в журнале «Октябрь» (№ 3) С. Буденный выступил с заметкой «Бабизм Бабеля из «Красной нови», где протестовал против очернения Бабелем конармейцев. См. раздел «Критика о Бабеле» настоящего издания.

Начальник конзапаса. — Журнал «Леф», 1923, № 4, под названием «Дьяков». Датировано: «Белев, июль 1920 г.».

Начальник штаба Ж. — Имеется в виду Карл Карлович Жолнаркевич, начальник штаба 6-й кавдивизии.

Пан Аполек. — Журнал «Красная новь», 1923, № 7.

...признал я в Иоанне — Иоанн Креститель (Предтеча) — в христианских представлениях последний из пророков, предвозвестников прихода Мессии, непосредственный предшественник Иисуса Христа, крестивший его среди других пришедших к нему и указавший на него как на Мессию.

...из костела святой Индельгильды — святая Индельгильда.

...звуки гейдельбергских песен. — Гейдельберг — город в Германии, где находится старейший германский университет. С ним также связано второе поколение немецких романтиков начала XIX века — так называемые гейдельбергские романтики (Л. А. фон Арним, К. Брентано, братья Гримм), проявлявшие особый интерес к национальной старине, фольклору, религии.

...стены еврейского шинка. — Шинок — питейное заведение, кабак.

Патер — католический священник.

...коричневые рубища францисканцев... — Францисканцы — монахи, члены нищенствующего ордена, основанного в Италии в 1207—1909 гг. Франциском Ассизским, впоследствии канонизированным.

...толпы волхвов... — Волхвы — так назывались на Востоке маги, жрецы, звездочеты. Согласно Евангелию, они первыми пришли поклониться младенцу Иисусу Христу, узнав по явлению чудесной звезды о рождении Мессии.

Лев III — византийский император (ок. 675—741), положил начало киноборчеству. Видимо, именно в связи с последним его имя вводится Бабелем в рассказ.

Мария из Магдалы, Мария Магдалина — женщина из Галилеи, которая считалась в родном городе грешницей. Была избав-

лена Христом от одержимости семью бесами и с тех пор следовала за ним вплоть до Голгофы. Ей первой было дано увидеть воскресшего Христа и по его велению передать эту весть ученикам.

...в апостоле Павле Янека, хромого выкреста... — Павел — современник Иисуса Христа, один из апостолов, которому приписываются 14 посланий, включенных в Новый Завет. Выкрест — еврей, перешедший из иудаизма в христианство.

Иосиф — юридический муж Марии, отец, кормилец и воспитатель Иисуса Христа.

...о *романтических временах шляхетства.* — Шляхетство — название польского дворянства.

...Иисус, сын Марии, был женат на Деборе... — Пан Аполек рассказывает некий апокриф об Иисусе Христе, оправдывающий кощунственное изображение художником в ликах святых простых местных жителей.

...евангелист Марк и евангелист Матфей... — Марк и Матфей — авторы первых двух Евангелий.

Блаженный Франциск. — Франциск Ассизский (1182—1226), итальянский религиозный деятель, основатель братства миноритов («Меньших братьев»), впоследствии преобразованного в монашеский орден францисканцев. Проповедовал бедность. Поставил точное следование Евангелию выше форм монашеского образа жизни (посты и т. д.). В 1220 г. отошел от руководства орденом, противясь его перерождению в обычный монашеский орден. Вскоре после смерти канонизирован (1228).

...с птицей на рукаве, с голубем или щеглом... — любовь для Франциска Ассизского была таинственным и просветленным миром. Любовь его и сострадание были обращены ко всякой малой и неразумной твари, на птиц в том числе. Он называл их «братьями» и даже хотел идти к императору просить не убивать братьев жаворонков, так как эта «смиренная птица» особенно ревностно служит Христу.

Солнце Италии. — Журнал «Красная новь», 1924, № 3, под названием «Сидоров». Датировано: «Новоград, июль 1920 г.».

...В Цека, в Наркоминделе... — ЦК — Центральный комитет партии. Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел.

...В Чека... — ЧК или ВЧК — (Всероссийская) чрезвычайная комиссия — в первые годы советской власти вела борьбу с контрреволюцией и бандитизмом.

Виктор-Эммануил — Виктор Эммануил III (1869—1947) — последний король Италии.

Гедали. — Журнал «Красная новь», 1924, № 4. Датировано: «Житомир, июнь 1920 г.».

...томы Ибн-Эзры... — Ибн-Эзра (Авраам бен-Меир, 1093—

1167) — средневековый еврейский богослов, математик, астроном и поэт.

Синагога — в иудаизме молитвенный дом, община верующих.

...Диккенс, где была тот вечер твоя тень? — Имеется в виду роман английского писателя Чарлза Диккенса (1812—1870) «Лавка древностей» (1841).

...Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. — Талмуд (учение, изъяснение) — основной памятник иудаизма, многотомное собрание разнородных сведений по теософии, этике, истории, медицине. Раше (точнее: Раши) — под этим именем известен один из выдающихся комментаторов Библии и Талмуда рабби Соломон Исхак (1040—1105). Маймонид, или Рамбам (настоящее имя: Моисей бен-Маймон бен-Иосиф, 1135—1204), — крупнейший еврейский средневековый философ, ученый, врач и вероучитель, автор известных книг «Мишне-Тора» и «Морэ невухим» («Путеводитель блуждающих»).

Интернационал — первая массовая международная организация пролетариата, основанная в 1864 г. в Лондоне К. Марксом и Ф. Энгельсом (Интернационал 1-й), затем международное объединение социалистических партий, основанное в 1889 г. в Париже при участии Ф. Энгельса (Интернационал 2-й).

Мой первый гусь. — Газета «Известия». Одесса, 1924, 4 мая. Датировано: «Июль 1920 г.».

...как штандарт разрезает небо... — Штандарт — в русской армии полковое знамя в кавалерии.

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь. — Киндербальзам (*нем.*) — буквально: детский бальзам. Возможно, искаженное «вундеркинд». Здесь в ироническом смысле: маменькин сынок.

...чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. — Имеется в виду сделанный В. И. Лениным 19 июля 1920 г. «Доклад о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала». — Газета «Правда», 1920, 24 июля.

Рабби. — Журнал «Красная новь», 1924, № 1.

В страстном здании хасидизма вышиблены окна... — См. примеч. к рассказу «Любка Казак».

...юношу с лицом Спинозы. — Спиноза Бенедикт (Барух, 1632—1677) — великий голландский философ, еврей по происхождению. В его учении природа, пантеистически отождествляемая с Богом, — единая, вечная, бесконечная субстанция.

Путь в Броды. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 17 июня

(литературно-научное приложение к № 1060). Датировано: «Броды, август 1920 г.».

Учение о тачанке. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 23 февраля.

Махно — Махно Нестор Иванович (1889—1934) — анархист, участник гражданской войны, переходивший то на сторону красных, то на сторону белых. Прославился неуловимостью, умением вести партизанскую войну и вольницей в войсках. В 1921 г. бежал в Румынию.

...статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми руками... — Урсула — героиня христианской агиографической легенды, распространенной в средние века в Западной Европе. По легенде, дала согласие на ненавистный брак только для того, чтобы защитить отца. Отсрочив его на три года, отправилась в Рим, к папе. Мученически погибла вместе со своими спутницами-девственницами на обратном пути от рук ненавидевших христианство гуннов.

С этим образом у Бабеля связан мотив нового нашествия гуннов и гибели старой культуры. В дневнике писатель постоянно сокрушался о ее варварском разрушении. Он записывал: «Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Сурильо...» (Сочинения в 2 т., т. 1. М., с. 404).

Это касается не только религиозных и эстетических ценностей искусства, но и налаженного, красиво обустроенного быта. Читаем в «Дневнике»: «Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться» (там же, с. 415).

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — великий голландский живописец.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — крупнейший испанский живописец.

Смерть Долгушова. — Газета «Известия», Одесса, 1 мая. Датировано: «Броды, август 1920 г.».

Комбриг два. — Журнал «Леф», 1923, № 4, под названием «Колесников». Датировано: «Броды, август 1920 г.».

Сашка Христос. — Журнал «Красная новь», 1924, №1.

Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча. — Журнал «Шквал». Одесса, 1924, № 8, с посвящением Д. А. Шмидту, «начдиву Второй Червоной».

Шмидт Дмитрий Аркадьевич, наст. фамилия: Гутман, (1896—1937) — участник гражданской войны на Украине, был дружен с Бабелем и поэтом Э. Багрицким. Шмидту Багрицкий посвятил либретто оперы «Дума про Опанаса».

Кладбище в Козине. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 23 февраля.

Прищепа. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 17 июня (литературно-научное приложение к № 1060). Датировано: «Демидовка, июль 1920 г.».

Споры о «Конармии» в литературных и военных кругах побудили Бабеля при подготовке первого издания «Конармии» заменить подлинные фамилии на вымышленные. Так, Мельников стал Хлебниковым, Тимошенко — Савицким. Бабель объяснялся в письме в редакцию журнала «Октябрь» в 1924 г: «В 1920 году я служил в 6-й дивизии 1-й Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собирался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий, по непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот к величайшему моему огорчению — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная новь» за 1924 г.» (Сочинения в 2 т., т. 1. М., 1991, с. 239—240).

Конкин.— Журнал «Красная новь». 1924, № 3. Датировано: «Дубно, август 1920 г.».

...ведет в штаб Духонина для проверки документов. — Выражение эпохи гражданской войны, означающее: вести на расстрел. Духонин Н. Н. (1876—1917) — белогвардейский генерал. Убит солдатами.

Берестечко. — Журнал «Красная новь», 1924, № 3, датировано: «Берестечко, август 1920 г.».

...топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику. — Хедер (от *древнеевр.* — комната) — еврейская начальная школа для обучения мальчиков основам иудаизма. Цадик — праведник, человек, отличающийся святостью, наставник.

Соль. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 25 ноября (литературное приложение к № 1195).

В 1925 г. по сценарию Бабеля рассказ был экранизирован на Одесской кинофабрике. Сюжет рассказа послужил также основой для одноактных опер, написанных современными композиторами (Б. Парсадянян, Н. Богословский).

Вечер. — Журнал «Красная новь», 1925, № 3, под названием «Галин». Датировано: «Ковель, 1920 г.».

О устав РКП! — РКП — аббревиатура: Российская коммунистическая партия.

...расстрел Николая Кровавого. — Николай II, Александрович (1868—1919) — последний российский император (1894—1917), сын Александра III. Кровавым назван после трагедии на Ходынском поле, когда во время его коронации погибло в результате столпотворения множество людей. Свергнут Февральской революцией 1917 года, расстрелян в Екатеринбурге по решению Уральского областного Совета.

Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. — Петр III Федорович (1728—1762) — российский император (с 1761 г.), немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. Свергнут в результате дворцового переворота, организованного его женой Екатериной, будущей императрицей Екатериной II. Убит Алексеем Орловым в Ропше. Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807/08) — граф (1762), генерал-аншеф (1769). Один из главных участников дворцового переворота 1762 г.

...Павла растерзали придворные и собственный сын. — Павел I (1754—1801) — российский император, сын Петра III и Екатерины II. Убит заговорщиками, близкими к его сыну, будущему императору Александру I (1777—1825), с его ведома.

Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... — Николай I (1796—1855), российский император (с 1825 г.), третий сын Павла I. Подавил восстание декабристов, преследовал свободомыслие. Палкиным прозван за практиковавшуюся в армии муштру и жестокость. Александр II (1818—1881), российский император (с 1855 г.), старший сын Николая I. На его жизнь был совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880). Убит народовольцами 1 марта.

Афонька Бида. — Журнал «Красная новь», 1924, № 1.

Он разбил в костеле раку святого Валента... — Рака (от *лат.* raca — ящик, гроб) — большой ларец для хранения мощей святых. Устанавливается в церкви и имеет вид саркофага, сундука или архитектурного сооружения.

У святого Валента. — Журнал «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: «Берестечко, август 1920 г.».

Прелаты в шелковых рясах... — Прелат (*позднелат.* praelatus) — в католических и некоторых протестантских церквах звание, присваиваемое высшим духовным лицам.

...черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. — Олоферн библ., книга Юдифи) — полководец ассирийского царя Навуходоносора. Осаждал город Иудеи Ветилуй, был очарован прекрасной жительницей этого города Юдифью, обещавшей помочь ему овладеть крепостью, и убит ею после пира. Юдифь обычно изображалась в живописи с отрубленной головой Олоферна. Мотив казни (палач, отрубленная голова, брызнувшая кровь) проходит через многие конармейские рассказы Бабеля.

Человека в оранжевом кунтуше... — Кунтуш — верхняя мужская одежда, польский кафтан.

См. также примечание к рассказу «Учение о тачанке».

Эскадронный Трунов. — Журнал «Красная новь», 1925, № 2.

Прототипом героя рассказа был в определенной мере командир 34 кавполка 6 кавдивизии К. Трунов (см. очерк Бабеля «Побольше таких Труновых!» — Сочинения в 2 т., т. 1. М., 1991).

Евреи спорили о Каббале... — Каббала (букв. предание, традиция) мистическое учение об отношении Бога и мира, уходящее в глубокую древность.

Дон-Кихот — герой романа великого испанского писателя М. Сервантеса (1547—1616).

Иваны. — Журнал «Русский современник», 1924, № 1.

Главком Каменев, Сергей Сергеевич... — Каменев Сергей Сергеевич (1881—1936) — советский военачальник, в 1919—1924 гг. — главнокомандующий вооруженными силами республики.

...Фармазонщик он, а не глухарь... — Фармазонщик — искаженное от французского franc-macon (вольный каменщик). Употреблялось в значении — безбожник, вольнодумец, здесь — симулянт.

Продолжение истории одной лошади. — Журнал «Красная новь», 1924, № 3, под названием «Тимошенко и Мельников». Датировано: «Галиция, сентябрь 1920 г.».

Вдова. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 15 июля (литературно-художественное приложение к № 1084), под названием «Шевелев». Датировано: «Галиция, сентябрь 1920 г.».

Замостье. — Журнал «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: «Сокаль, сентябрь 1920 г.».

Измена. — Газета «Известия». Одесса, 1923, 20 марта.

Чесники. — Журнал «Красная новь», 1924, № 3.

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — советский государственный, партийный и военный деятель, в 1920 г. член Реввоенсовета Первой Конной армии.

После боя. — Журнал «Прожектор», 1924, № 20. Датировано: «Галиция, сентябрь 1920 г.».

... — Значит, ты молокан? — Молокане — секта духовных христиан, возникшая в России во второй половине XVIII в. Молокане проповедовали нравственное совершенствование, отрицали священников и церковные обряды, молились и в обычных домах.

Песня. — Журнал «Красная новь», 1925, № 3, под названием «Вечер». Датировано: «Сокаль, VIII, 1920 г.».

Сын рабби. — Журнал «Красная новь», 1924, № 1.

...исчахшего семита. — Семиты (от библейского имени Сим — одного из сыновей Ноя) — народы, говорящие на семитских языках, к которым относятся древнееврейский, финикийский, арамейский, сирийский, арабский и др. Здесь — еврей.

Портреты Ленина и Маймонида... — см. примечание к рассказу «Гедали».

...мы увидели свитки торы... — см. примечание к рассказу «Старый Шлойме».

...страницы «Песни Песней»... — «Книга Песнь Песней Соломона» — раздел Ветхого Завета Библии, собрание лирических песен на древнееврейском языке, посвященных страстной, все преодолевающей любви и отличающихся яркой образностью. Авторство приписывается царю Соломону, сыну царя-псалмопевца Давида. «Песнь песней» — шедевр мировой литературы, оказавший влияние на мировую любовную лирику.

Аргамак. — Журнал «Новый мир», 1932, № 3. Датировано: «1924—1930».

Поцелуй. — Журнал «Красная новь», 1937, № 7. При жизни автора в цикл «Конармия» не включался. По свидетельству вдовы Бабеля, А. Н. Пирожковой, писатель намеревался это сделать в очередном издании «Конармии», но не успел.

...в ту самую школу на Патриарших прудах... — Патриаршии пруды — пруды в центре Москвы.

РАССКАЗЫ 1925—1938 гг.

Раздел составлен из произведений, большая часть которых, по замыслу писателя, должна была войти в циклы рассказов «История моей голубятни» и «Великая Криница». Некоторые сюжеты так или иначе примыкают к «Одесским рассказам». Все произведения расположены в соответствии с хронологическим принципом, по первым публикациям.

История моей голубятни. — «Красная газета». Л., 1925, 18, 19, 20 мая. Вечерний выпуск. Датировано: «1925 г.».

В примечании к журнальной публикации сообщалось, что рассказ является началом автобиографической повести («Красная новь», 1925, № 4). Бабель работал над книгой рассказов о детстве до последних дней, называя ее в письме к родным «заветным трудом». Предполагалось, что готовая рукопись будет сдана в издательство осенью 1939 г.

Процентная норма была трудна в нашей гимназии... — имеется в виду процентная норма в России, ограничивавшая поступление евреев в гимназии и университеты, — одна из форм ущемления прав народа, направленная на вытеснение евреев из страны.

...учился в Воложинском ешиботе. — Ешибот, иешива — еврейская духовная семинария.

...дедовский талес... — Талес (*евр.*) — молитвенное облачение.

...и лживыми историями, которые он рассказывал о Польском восстании 1861 года. — В 1861 г. в Польше начались волнения и демонстрации, направленные против русского самодержавия и крепостничества, вдохновляемые освободительными целями. Восстание же вспыхнуло в январе 1863 г. и было жестоко подавлено царскими властями.

...и других польских инсургентов. — Инсургент (*лат.*) — повстанец, участник восстания.

...и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины... — Вояжер (от *фр.* voyage — поездка, путешествие). Здесь — род торговцев.

Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа. — По библейскому преданию юноша Давид, в будущем царь Иудеи, во время очередной войны с филистимлянами, вызвал на поединок и победил великана Голиафа (Первая книга Царств, гл. 17).

...где брали сарпинку... — Сарпинка — полосатая или клетчатая льняная ткань.

...запятнанную проказой... — Проказа (лепра) — хроническое инфекционное заболевание. Больных проказой изолируют и лечат в лепрозориях.

Первая любовь. — «Красная газета». Л., 1925, 24 и 25 мая. Вечерний выпуск. Авторская дата — 1925 г.

Бабель считал рассказ продолжением «Истории моей голубятни».

Поцелуй ваву... — Вава — боль, место, где болит. Употребляется с маленькими детьми.

...на калитке был мелом нарисован крест... — Крестом во время еврейских погромов помечались жилища христиан, которые погромщики не трогали.

...на молокан должна быть похожа наша жизнь... — см. примечание к рассказу «После боя».

...но только без бога этого сталоверского... — правильно: староверского. Староверы — одно из названий сторонников старообрядчества, религиозных групп и церквей, не принявших церковных реформ XVII в. и враждебных официальной православной церкви.

...заберете мой карбач и уедете... — Карбач — здесь: карбованец (*укр.*) — рубль.

...напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе... — Манифест 17 октября 1905 («Об усовершенствовании государственного порядка»), разработанный С. Ю. Витте, явился значительным шагом на пути к демократическим преобразованиям в России. Он предоставлял россиянам гражданские свободы, дальнейшее расширение избирательного права, реальное участие Государственной думы в законодательном процессе и т. д.

Карл-Янкель. — Журнал «Звезда», 1931, № 7.

...доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. — Дервиш (*перс.* букв. — бедняк, нищий) — мусульманские нищенствующие аскеты, приверженцы суфизма — мистического учения о постепенном приближении через любовь к познанию Бога (в экстатических озарениях) и слиянии с ним. Одним из способов такого приближения были пляски.

...перешел к Примакову — в дивизию Червонного казачества. — Примаков Виталий Маркович (1897—1937) — советский военачальник, в гражданскую войну командовал конным полком, дивизией и конным корпусом Червонного казачества.

...могла бы рассказать о Баал-Шеме — см. примечание к рассказу «Любка Казак».

...был совершен обряд обрезания... — Обрезание в иудаизме означает обет, заключенный между Богом и библейским патриархом Авраамом. Религиозный обряд, состоящий в обрезании крайней плоти у младенцев мужского пола, носит символический характер верности «избранного народа» своему Богу.

...как памятник дюку де Ришелье. — Ришелье А. Э. дю Плесси (1766—1822) — градоначальник Одессы и генерал-губер-

натор Новороссийского края. Памятник в Одессе — работа известного русского скульптора И. Мартоса (1754—1835).

...если бы синедрион существовал в наши дни... — Синедрион — верховный суд в Иерусалиме. Ко времени Христа состоял из первосвященников, старейшин и законников, обладал большой духовной и административной властью, имел право выносить смертные приговоры, которые должны были утверждаться римским наместником.

...ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда... — см. примечание к рассказу «Гедали».

Пробуждение. — Журнал «Молодая гвардия», 1931, № 17—18, с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни». Датировано: «1930 г.».

В связи с появлением этого рассказа Бабель писал матери, предостерегая от буквального восприятия его сюжетов: «Перед отъездом я просил Катю послать вам и Жене по номеру журнала «Молодая гвардия». Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием «История моей голубятни». Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено, — когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все то было нужно» (Сочинения в 2 т., т. 1. М., 1991, с. 317—318). Подробнее об автобиографическом цикле см.: С. Поварцов. Мир видимый через человека. — Журнал «Вопросы литературы», 1974, № 4.

...Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец. — Известные американские скрипачи, ученики Л. Ауэра. Уроженцы России.

Загурский содержал фабрику вундеркиндов... — О прототипе Загурского, известном музыканте-педагоге П. С. Столярском (1871—1944) см.: Спектор У. Ученик Столярского — Бабель. — Журнал «Музыкальная жизнь», 1986, № 18.

...к профессору Ауэру в Петербург. — Ауэр Л. (1845—1930) — известный скрипач и дирижер, профессор Петербургской консерватории с 1866 по 1917 г.

...отчего якобинцы предали Робеспьера. — Якобинцы — в период Великой французской революции члены Якобинского клуба, оставшиеся в его составе после изгнания из него в 1792 г. жирондистов. Выражали интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с народом. Робеспьер Максимильен (1758—1794) — один из руководителей якобинцев. В 1793 г. фактически возглавлял революционное правительство. Казнен термидорианцами во время переворота (июль 1794 г.).

...кесарево сечение... — акушерская операция.

...Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини? — Чел-

лини Бенвенуто (1500—1571) — известный итальянский скульптор, ювелир и писатель.

...пригвожденный к Гемаре... — Гемара — одна из частей Талмуда (см. примечание к рассказу «Гедали»).

...объяснял, что он натурфилософ. — Натурфилософия — философия природы, ставящая целью истолкование и объяснение природы в ее целостности.

В подвале. — Журнал «Новый мир», 1931, № 19, с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни». Датировано: «1929 г.».

...книгу о Спинозе. — Спиноза — см. примечание к рассказу «Рабби».

...Сюда же я припутал Рубенса. — Рубенс Питер Пауэл (1577—1640) — великий фламандский живописец.

...последний из одесских негоциантов... — Негоциант (*лат.* negotians — торговец) — оптовый купец, ведущий крупные торговые дела, коммерсант.

...с грудастой примадонной... — Примадонна — певица, исполняющая первые партии в опере или оперетте.

...стал читать «Manchester guardian». — «Manchester guardian» — американская газета.

...на Судный день и на Рош-Гашоно. — Судный день по библейскому преданию — день Страшного суда над грешниками. Рош-Гашоно, или Роз Ашана (Рош га-Шана), — Новый год по еврейскому календарю, первое число месяца Тишри (сентябрь — октябрь), один из главных еврейских религиозных праздников.

...О римляне, сограждане, друзья... — Здесь и далее фрагменты из трагедии Уильяма Шекспира (1564—1616) «Юлий Цезарь» в переводе И. Козлова.

...в сопровождении маклака Лейкаха... — Маклак — посредник при продаже и купле, маклер, барышник.

Конец богадельни. — Журнал «30 дней», 1932, 1932, № 1, с подзаголовком «Из одесских рассказов». Датировано: «1920—1929».

...вытканы щиты Давида. — Давид — см. примечание к рассказу «История моей голубятни».

Жизнь — смитье... — Смитье (*блатн.*) — дерьмо.

...Шла «Кармен». — «Кармен» — опера французского композитора Ж. Бизе (1838—1875).

...от плебса, жавшегося к стенам... — Плебс (*лат.* plebius) — простой народ.

Дорога. — Журнал «30 дней», 1932, № 3. Датировано: «1920—1930».

Это был Иегуда Галеви... — Галеви И. (1080—1142) — еврейский средневековый поэт.

Это была библиотека Марии Федоровны... — см. примечание к рассказу «Вечер у императрицы».

...У Аничкова моста, у Клодтовых коней... — Клодт Петр Карлович (1805—1867) — русский скульптор, представитель позднего классицизма. Его произведение — четыре конных группы на Аничковом мосту в Петербурге (установлены в 1848—1850 гг.).

...подарком султана Абдул-Гамида. — Абдул-Хамид II (1842—1918) — турецкий султан с 1876 по 1909 г.

Александр III был... — Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г., второй сын Александр II.

...на титулах Евангелий и Ламартина — см. примечание к рассказу «Вечер у императрицы».

Он поговорил с Урицким. — Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — активный участник Октябрьского переворота, председатель петроградской ЧК.

«Иван-да-Марья». — Журнал «30», 1932, № 4. Датировано: «1920—1928». Впервые рассказ был анонсирован журналом «Новый мир», 1931, № 11.

Малышев С. В. (1877—1938) — видный советский хозяйственник, «красный купец» первых пятилеток.

...вязали у порога чулки Гулливера. — Гулливер — герой известного сатирического романа английского писателя Джонатана Свифта (1667—1745) «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Люмюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726).

...к тому разряду провинциальных Шаляпиных... — Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — великий русский певец (бас). С 1922 г. в эмиграции.

...услышал я гречаниновскую «Смерть». — Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956) — русский композитор, с 1925 г. в эмиграции.

Тут было все — «Блоха» Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника... — Мусоргский Модест Петрович (1839—1981) — русский композитор, создатель монументальных народных музыкальных драм и песен — драматических сценок, в которых обращался к социально заостренным темам из народной жизни. Мефистофель — персонаж оперы французского композитора Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст» (1859). Помешавшийся мельник — персонаж оперы русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского (1813—1869) «Русалка».

Советским главнокомандующим был назначен Вацетис. — Вацетис Иоаким Иоакимович (1873—1938) — советский военачальник, участник гражданской войны.

Гюи де Мопассан. — Журнал «30 дней», 1932, № 6. Датировано: «1920—1922».

Оценку Бабелем своего рассказа см. в статье: Ольник. Писатель И. Бабель в «Смене». — Смена, 1932, № 17—18.

...синие картины Рериха. — Рерих Николай Константинович (1874—1947), русский живописец, театральный художник, философ, писатель, археолог, путешественник. С 1920-х годов жил в Индии.

...я стал бранить Толстого. — Имеется в виду Толстой Лев Николаевич (1828—1910).

...где давали «Юдифь» с Шаляпиным. — «Юдифь» — опера русского композитора Александра Николаевича Серова (1820—1871). Шаляпин Ф. И. — см. примечание к рассказу «Иван-да-Марья».

...двадцать девять петард... — Петарда — бумажный снаряд, наполненный порохом.

...и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана». — В русском переводе книга вышла в 1910 г.

...перерезал себе на сороковом году горло... — биографические сведения о Мопассане, сообщаемые Бабелем со ссылкой на книгу Э. Меньяля, не совсем точны. Мопассан не перерезал себе горло, а совершил попытку самоубийства 1 января 1892 г., на сорок втором году жизни.

...двоюродной сестры Флобера. — Флобер Гюстав (1821—1880) — великий французский писатель, автор романов «Госпожа Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств».

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» (*«Господин Мопассан превратился в животное»*). — Перевод не точен. Правильней перевести «Господин Мопассан скоро превратится в животное». Подробнее об этом рассказе см. в кн.: Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. Бабель. М., 1994.

Нефть. — Вечерняя Москва, 1934, 14 февраля, № 37.

...производство крекингов... — Крекинг (*англ.* cracking — расщеплять) — переработка нефти для получения главным образом моторных топлив, а также химического сырья.

ВСНХ — на дыбы. — ВСНХ — Высший совет народного хозяйства — высший центральный орган по управлению промышленностью в Советском государстве в 1917—1932 гг.

Улица Данте. — Журнал «30 дней», 1934, № 3.

Критика положительно оценила рассказ: «Незаслуженно мало у нас говорили о разбросанных по журналам «Парижских рассказах» Бабеля. В «Улице Данте» — перед нами живой Париж, с его страстями, живыми людьми, повседневным бытом. Бабель умел найти тему и умел ее понять». — Гран А. О заграничной и советской тематике. — Литературная газета, 1934, 12 ноября, № 151.

Бабеля связывали с Францией не только его литературные

симпатии. В 1920—30-х гг. он несколько раз бывал во Франции, жил в Париже, Марселе, пристально всматривался в обычную жизнь простых французов. В одном из писем из Парижа (от 2 апреля 1928 г.) он делится: «Теперь здесь очень интересно, — можно сказать, потрясающе интересно — избирательная кампания, — и о людях и о Франции узнал за последнюю неделю больше, чем за все месяцы, проведенные здесь. Вообще мне теперь виднее, и я надеюсь, что к тому времени, когда надо будет уезжать, — я в сердце и в уме что-нибудь да увезу» (Сочинения в 2 т., т. 1, с. 271).

...в другую субботу слушал «Богему»... — «Богема» (1895) — опера итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858—1924).

...с нее довольно было аперитива... — Аперитив — слабый алкогольный напиток, обычно употребляемый до еды для возбуждения аппетита.

...потерял имя в прибое Парижа... — Скрытая цитата из пьесы М. Горького «На дне». Один из персонажей, Актер, говорит, узнав о смерти Анны: «Я иду... скажу... потеряла имя!..» И чуть раньше: «Нет у меня здесь имени... Понимаешь ли ты, как это обидно — потерять имя? Даже собаки имеют клички...» (Горький М. Собр. соч. в 30 т., т. 6. М., 1950, с. 141).

Здесь жил Дантон... — Дантон Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции.

Машинописный экземпляр рассказа с подзаголовком «Из парижских рассказов» хранится в ЦГАЛИ. После слов «с этой мыслью я уехал в Марсель» в тексте следует: «Там увидел я родину свою — Одессу, какою она стала бы через двадцать лет, если бы ей не преградили прежние пути, увидел неосуществившееся будущее наших улиц, набережных и кораблей» (ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. № 42). Эта фраза свидетельствует, что Бабель достаточно трезво оценивал происшедшее со страной после революции, несмотря на искренние попытки увидеть положительные перемены.

Ди Грассо. — Журнал «Огонек», 1937, № 23. Печатается по тексту журнала.

Грассо Д. (1873—1930) — знаменитый итальянский трагик, уроженец Сицилии. В рассказе Бабеля, по-видимому, описывается спектакль по народной пьесе «Feudalismo», где актер, игравший пастуха, перегрызает горло своему сопернику.

...на гастроли Ансельми и Тито Руффо... — Ансельми Джузеппе (1876—1929) — итальянский оперный певец и композитор. Титта Руффо (1877—1953) — итальянский оперный певец.

...нам пообещали Шаляпина... — см. примечание к рассказу «Иван-да-Марья».

...сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть»... — «Король Лир», «Отелло» — трагедии В. Шекспира.

Сулак. — Журнал «Молодой колхозник», 1937, № 6.

Суд. — Журнал «Огонек», 1938, № 23, с подзаголовком «Из записной книжки». Впервые рассказ анонсирован журналом «30 дней», 1931, № 10—11.

...в геральдические книги Тамбовской губернии... — Геральдика — гербоведение, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы. Геральдические книги — книги о родословии и гербах дворянских фамилий.

...закричал о Голгофе русского офицерства... — Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором, по христианскому преданию, был распят Иисус Христос. Слово «Голгофа» употребляется так же, как синоним мученичества и страданий.

Справка. — Впервые опубликовано в кн.: Бабель И. Избранное. Кемерово, 1966. Существует также другой вариант рассказа под названием «Мой первый гонорар» (впервые посмертно в альманахе «Воздушные пути», кн. 3, Нью-Йорк, 1963, датировано: 1922—1928).

По свидетельству А. Н. Пирожковой, в основу сюжета положена история, рассказанная автору его давним знакомым П. И. Сторицыным (Коганом). А. Жолковский считает «Справку» окончательным вариантом.

Фроим Грач. — Альманах «Воздушные пути». Кн. 3, Нью-Йорк, 1963.

5 мая 1933 г. Бабель сообщал родным из Сорренто, что А. М. Горький взял у него для альманаха «Год XVI» три новых рассказа. Это «Нефть», «Улица Данте» и «Фроим Грач». Все рассказы редколлегией альманаха (А. Фадеев, В. Ермилов, В. Кирпотин, П. Павленко) были отвергнуты. Общее мнение редколлегии выразилось в резолюции Фадеева на обороте последней страницы рассказа «Фроим Грач»: «Рассказы, по-моему, неудачны, и лучше будет для самого Бабеля, если мы их не напечатаем. Ал. Фадеев. 6/VI-33 г.» — ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 26. Печатается по тексту машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 622, оп. 1, ед. хр. 42).

...зазеленевшему от старости айсору... — айсоры (ассирийцы) — народ, живущий в основном в странах Ближнего Востока, а также США, бывшем СССР и некоторых других.

ПЬЕСЫ

Закат. — Журнал «Новый мир», 1928, № 2.

Написана в 1926 г., вышла отдельным изданием в 1928 г. (М., «Круг»). Пьеса была разрешена к постановке, но со значи-

тельными купюрами; например, целиком вычеркивалась сцена в синагоге и ряд важных по смыслу реплик. В письме к И. Л. и А. Г. Слоним от 23 октября 1927 г. Бабель писал, что не согласен с замечаниями Главреперткома и готов «снять пьесу с репертуара».

Впервые драма «Закат» поставлена режиссером В. Федоровым на сцене Бакинского рабочего театра (премьера — 23 октября 1927 г.). В роли Менделя Крика — арт. Н. Соколов. Сильной стороной спектакля стала его прямая антимещанская направленность; режиссера привлекла «социальная значимость пьесы». Как остросоциальную пьесу поставил «Закат» и режиссер А. Грипич в Одесском русском драматическом театре (премьера — 25 октября 1927 г.). В интервью одесскому еженедельнику «Театр-клуб-кино» (1927, № 18) Грипич назвал «Закат» «крепкой драматургической постройкой», которую надо «взять на крепкий зуб постановочного приема». Решенный в стиле «гиперболического реализма», спектакль звучал как современная трагедия об отцах и детях. 1 декабря 1927 г. состоялась премьера «Заката» в Одесском украинском театре (Держдрама). По свидетельству критиков, режиссер В. Вильнер поставил спектакль «в бытовом разрезе».

В Москве постановку «Заката» осуществил режиссер Б. Сушкевич на сцене МХАТ-2 (премьера — 28 февраля 1928 г.). Театр акцентировал философскую проблематику драмы, несмотря на стремление режиссера вести спектакль в сатирическом плане борьбы с мещанством. Критика отмечала внутреннюю противоречивость спектакля. А. Мацкин писал, что, несмотря на сильный актерский состав и отличную игру, «...события в пьесе происходили где-то вдалеке, за тридевять земель, в зоне полного отчуждения, вне всякой эмоциональной связи с текущим днем. Картинность, яркое зрелище, а струна не звенит, чувство безмолвствует, холодок пробивается внутрь после аплодисментов, завершавших спектакль (Мацкин А. Как можно сыграть Бабеля. «Театр», 1988, № 4, с. 69).

Подробнее о пьесе см.: Лившиц Л. Я. Драматургия И. Э. Бабеля. — «Литературная Одесса 20-х годов». Тезисы межвузовской научной конференции. Одесса, 1964; Поварцов С. История создания, проблематика и сценическая судьба драмы И. Бабеля «Закат». — Проблемы русской литературы. Омск, 1974. По мотивам пьесы и двух одесских рассказов осуществлена постановка музыкального спектакля «Закат» в Рижском русском драматическом театре (премьера — 31 марта 1987 г.). Свою версию пьесы предложил Московский академический театр им. В. Маяковского (премьера — 15 января 1988 г.).

...сказано про меня у Ибн-Эзра... — Ибн-Эзра — см. примечание к рассказу «Гедали».

А кацапы что тебе дали... — Кацап (*евр. жаргон*) — русский.

Славное море — священный Байкал... — Песня на стихи Д. П. Давыдова. У Бабеля используется не канонический текст.

...заворачивается в талес... — Талес — молитвенное облачение.

Вирсавию, жену Урии-военачальника. — Вирсавия — в Библии жена Урии, военачальника царя Давида (см. также прим. к рассказу «Закат»). Давид, очарованный ее красотой, послал ее мужа на самый опасный участок войны с филистимлянами в надежде на его скорую гибель. После гибели мужа стала женой царя Давида. Их первый ребенок умер сразу после рождения, что было воспринято как наказание за грех перед Урией. У Давида и Вирсавии было еще трое детей, старший из которых — знаменитый царь Соломон (Вторая книга Царств, гл. II).

Иисус Навин, остановивший солнце... — Иисус Навин — в Библии помощник и преемник пророка Моисея, главный персонаж книги Иисуса Навина, полководец. Первой его крупной военной победой было взятие мощной крепости Иерихон, во время которого происходили разные чудеса и с которого началось завоевание земли обетованной.

Иисус из Назарета, укравший солнце... — Имеется в виду Иисус Христос. Иудаизм отрицает мессианство Христа. Мотив бессолнечности христианства в творчестве Бабеля появляется неоднократно, сближая писателя в этом отношении с русским религиозным мыслителем начала века В. В. Розановым, книга которого о христианстве называется «Люди лунного света».

Мария. — Журнал «Театр и драматургия», 1935, № 3.

Бабель читал пьесу в Литературном музее 24 февраля 1934 года. Присутствовавший на вечере А. Гладков записал в дневнике: «Мария» очень трудна будет для театра своей простотой и лаконизмом. Не знаю, правомерно ли такое сравнение, но мне захотелось сказать, что она почти так же трудна, как трудны для сцены маленькие драмы Пушкина» (Гладков А. Из попутных записей. — «Вопросы литературы», 1976, № 9, с. 188). Эту пьесу интересно сравнить с известной пьесой М. Булгакова «Дни Турбиных», показывающей судьбу благородной дворянской семьи на историческом разломе.

...Я разбиваю семеновскую трагедию... — Семеновская трагедия — волнения солдат Семеновского полка в октябре 1820 г.

...Распутин и немка Алиса, погубившая династию... — Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872—1916) — фаворит Николая II и его жены Александры Федоровны. В качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние на них. Алиса — жена царя Алиса Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская (Александра Федоровна).

...давшего Гейне, Спинозу, Христа... — Гейне Генрих (1797—1856), великий немецкий поэт, еврей по происхождению. Спиноза — см. примечание к рассказу «Рабби».

...единственный русский император, Петр... — Петр I Великий (1672—1725) — русский царь с 1689 г., первый российский император с 1729 г.

Феликс Юсупов был бог... — Юсупов Ф. Ф. (1887—1967) — русский князь, участник убийства Распутина.

Фредерикс был дружен с князем Сергеем... — Фредерикс В. Б. (1838—1927) — граф, министр двора Николая II.

У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских... — знатные русские дворянские фамилии.

...главу об убийстве Павла. — Павел — см. примечание к рассказу «Вечер у императрицы».

ИЗ ДНЕВНИКА 1920 г.

Бабелевский дневник 1920 года — уникальный документ тех лет, не только содержащий ценнейшие свидетельства очевидца-участника о гражданской войне, материал, который был затем претворен художественно в его сочинениях, но и приоткрывающий творческую лабораторию писателя, задачи, которые он ставил перед собой. Из дневника выбраны записи всего двух дней, однако в них зафиксирован фактически весь спектр переживаний и впечатлений того времени будущего автора «Конармии».

Уцелела лишь часть дневника Бабеля, охватывающая действия Первой Конной армии на Юго-Западном фронте. Тетрадь, в которой писатель вел записи во время польской кампании, сохранили его киевские друзья (М. Я. Овруцкая, затем Б. Е. и Т. О. Страх). Записи начинаются с 55-й страницы. Первая из них сделана в Житомире накануне прорыва конницей Буденного польского фронта и датирована 3 июня (пометка сверху — «в поезде»); 15 сентября в Клевани записи обрываются. В тетради отсутствуют страницы, относящиеся к периоду между 6 июня и 11 июля 1920 года. Дневник — важный документ для научной биографии писателя.

Бабель находился в рядах 6-й кавалерийской дивизии, которая принимала участие в самых ответственных, авангардных боях с противником. Писатель разделял с конармейцами все тяготы боевого похода в знаменитом Житомирском прорыве, в Ровно, Дубенской операции, в боях за Броды и Львов. Читая дневник, лучше понимаешь «Конармию» и ее автора. Интересно высказывание Бабеля о связи дневника и книги: «Во время кампании я написал дневник, к сожалению, большая часть его погибла. В дальнейшем я писал, пользуясь этим дневником, — уже больше по воспоминаниям, и отсутствие, может быть, единства или сюжета объясняется отсутствием этого дневника» (стенограмма конференции-курсов молодых писателей национальных республик. 30 декабря 1938 г. — Отдел рукописей ИМЛИ им. А. М. Горького, В 944 (2а-б).

...книжки Бебеля. Женщина и социализм. — «Женщина и социализм» — произведение немецкого социал-демократа Августа Бебеля (1840—1913), крупнейшего деятеля германского и международного рабочего движения, одного из основателей и руководителей 2-го Интернационала.

...пыль из Апокалипсиса... — Апокалипсис (*греч.* apokalipsis — откровение), одна из книг Нового Завета, приписываемая любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Содержит пророчества о конце света, борьбе Христа и Антихриста, Страшном суде, воскресении мертвых и установлении тысячелетнего царства Божия.

Праздник Спаса — Праздник, установленный по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного Креста во время сражений кн. Андрея Боголюбского с волжскими болгарами в 1164 г. 19 августа совершается один из трех августовских праздников Всемилостивому Спасу — праздник Преображения Господня.

...разницу между униатством и православием. — Униатство, то же что Униатская церковь — христианское объединение, созданное Брестской унией в 1596 г. Подчинялась папе римскому, признавала основные догматы католической церкви, однако сохраняла православные обряды. Самоликвидировалась в 1946 г. с расторжением Брестской унии.

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Константин Паустовский. Рассказы о Бабеле («Мопассанов я вам гарантирую». Каторжная работа). Печатается по кн. Воспоминания о Бабеле. М., 1989.

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968), известный советский писатель.

Тамара Иванова в своих воспоминаниях опровергает свидетельство Паустовского, что Бабель переписывал свои вещи «несчетное число раз», создавая большое количество вариантов. Она утверждает, что, напротив, Бабель создавал, во всяком случае до 1927 года, всего лишь один-единственный вариант.

Проанализировавший «Планы и наброски» к «Конармии» Э. Коган уточняет оба свидетельства: «Планы и наброски» дают комплексное представление о методах его работы, иное по сравнению со свидетельствами очевидцев и собственными признаниями писателя, тоже не свободными от противоречий. Совершенно очевидно, что в работе над «Конармией» он доверял бумаге самые начальные, еще неотчетливые, невнятные идеи, что многие полотна предваряла серия этюдных набросков, в которых нащупывался облик героев, сюжетная линия, антураж. И что рука с пером на этой стадии, вопреки убежденности и свидетельствам близких, была верным осциллографом творческого про-

цесса» (Коган Э. Работа над «Конармией» в свете полной версии «Планов и набросков». — Литературное обозрение, 1995, № 1, с. 91).

Тамара Иванова. Работать «по правилам искусства». Печатается по кн. Воспоминания о Бабеле. М., 1989.

Вяч. Полонский. Из дневника 1931 года. Печатается по кн. Воспоминания о Бабеле. М., 1989.

КРИТИКА О БАБЕЛЕ

В. Шкловский. Бабель. Критический романс. Впервые опубликовано в журнале «Леф», 1924, № 2.

Печатается по сб.: Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Советский писатель, 1990.

Шкловский Виктор Борисович (1883—1984) — литературный критик, литературовед, прозаик, один из основателей и ведущих теоретиков так называемой формальной школы. Шкловского с Бабелем связывали дружеские отношения. См.: Шкловский В. Человек со спокойным голосом. — В кн.: Воспоминания о Бабеле. М., 1989.

А. И. Воронский. Бабель. Впервые опубликовано в журнале «Красная новь», 1924, № 5.

Печатается по сб.: Воронский А. Искусство видеть мир. М.: Советский писатель, 1987.

Воронский Александр Константинович (1884—1937) — один из наиболее известных и влиятельных литературных критиков 1920-х годов, возглавлявший журнал «Красная новь» (1921—1928), издательство «Круг» (с 1922 г.) и литературную группу «Перевал», поддерживавшую писателей-«попутчиков», в число которых входил И. Бабель. Полемизировал с вульгарно-классовым пониманием роли и задач искусства (критики, представлявшие журналы «На посту», «На литературном посту», «Леф»). Тайной искусства Воронский считал «воспроизведение самых первоначальных и непосредственных ощущений и впечатлений». Бабеля, который много печатался в «Красной нови», и Воронского связывали дружеские отношения. В 1928 году Воронский, обвиненный и троцкизме, был исключен из партии, смещен с поста главного редактора «Красной нови» и сослан в Липецк. Бабель в 1929 году ездил к нему туда, проявив тем самым определенное мужество. В письме А. Г. Слоним от 22 августа 1929 г. он говорит: «Получил письмо от Воронского. Он болен, грустен, несчастен, там нужен мой приезд, поеду к нему через несколько дней» (Сочинения в 2 т., т. 2, с. 302—303).

А. И. Лежнев. Бабель. Впервые опубликовано в журнале «Красная нива», 1927, № 8. Печатается по сб.: Лежнев А. О литературе. М.: Советский писатель, 1987.

Лежнев А. (Горелик Абрам Зеликович, 1893—1938) — литературный критик, в 1920-е годы один из ведущих теоретиков группы «Перевал», выступал с полемическими статьями, отстаивая эстетическое начало художественного творчества, большое значение придавал интуиции.

Вяч. Полонский. Бабель. Впервые: Критические заметки о Бабеле. — Новый мир, 1927, № 1. Печатается по кн.: Полонский Вяч. О литературе. М., 1988.

Полонский Вячеслав Павлович (Гусин В. П., 1884—1932) — один из ведущих критиков 1920-х годов, главный редактор журналов «Печать и революция» (1921—1929), «Новый мир» и «Красная нива» (оба с 1926 г.). «Вы один из немногих истинных наших критиков, один из немногих людей, для которого хочется работать самоотверженно, изо всех сил», — писал ему Бабель. (Сочинения в 2 т., т. 2, с. 249).

С. Буденный. Бабизм Бабеля из «Красной нови». Опубликовано в журнале «Октябрь», 1924, № 3.

Бывшему легендарному командарму Первой Конной Буденному ответил М. Горький в статье «О том, как я учился писать», часть которой, посвященная как раз «Конармии», была опубликована в газете «Правда»: «Товарищ Буденный охаял «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев» (Собр. соч. в 30 т., т. 24. М., 1953, с. 473). На этом, впрочем, сюжет исчерпан не был. Буденный опубликовал в «Правде» (26 октября 1928 г.) «Открытое письмо М. Горькому», где настаивал на прежней оценке: «Бабель «так украсил изнутри» бойцов 1-й Конной армии, что я до сего времени получаю письма с самым категорическим протестом против явной, грубой, я бы сказал, сверхнахальной бабелевской клеветы на Конную армию». М. Горький отвечал в той же «Правде» (27 ноября 1928 г.): «Читатель внимательный, я не нахожу в книге Бабеля ничего «карикатурно-пасквильного», наоборот: его книга возбудила у меня к бойцам «Конармии» и любовь, и уважение, показав мне их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы». В черновике письма Горький отвечал Буденному более резко и смягчил свой ответ только по просьбе редакции: «Въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее, Вы уподобляете себя тем бесшабашным критикам, которые разъезжают по литературе на телеге плохо усвоенной теории, а для правильной и полезной критики необходимо, чтоб критик был

или культурно выше литератора, или — по крайней мере — стоял на одном уровне культуры с ним». Бабель, не зная подоплеки письма Горького, называл его ответ слишком мягким. См.: Меркин А. С. Буденный и И. Бабель (к истории полемики) (Об оценке литературной критикой первых публикаций писателя). Научные доклады высшей школы. Филол. науки, 1990, № 4, с. 97—102.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — известный советский писатель. Публикуемая статья написана как предисловие к первому после долгого замалчивания Бабеля издания его избранных произведений — И. Бабель. Избранное. Кемерово, 1957. Эренбург был близко знаком, считал его лучшим другом, воспоминания о нем есть в его мемуарной книге «Люди, годы, жизнь».

КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. БАБЕЛЯ

1894, 1 июля (по старому стилю)	Родился в Одессе на Молдаванке.
1913	В журнале «Огни» опубликован первый рассказ «Старый Шлойме».
1915	Оканчивает Коммерческий институт в Киеве и приезжает в Петербург, где ходит по редакциям, пытаясь пристроить свои сочинения.
1916	Знакомство с А. М. Горьким.
1916, ноябрь	В журнале «Летопись» публикуются рассказы Бабеля «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла».
1917—1924	На румынском фронте, работает в ЧК, участвует в продовольственных экспедициях 1918 года, в составе Северной армии сражается против войск Юденича, служит в Одесском губкоме, работает выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, репортер в Петербурге и в Тифлисе.
1918, март—июль	Сотрудничает в петербургской газете «Новая жизнь».
1920	В Первой Конной армии.
1921, лето	Начало работы над «Одесскими рассказами».
1923, лето — нач. 1925	Работа над «Конармией».
1924	В журнале «Леф» (№ 4) публикуются рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.
1925	Работает над киносценарием «Беня Крик».

1926, весна	Работает в «Совкино», а затем с Одесской киностудией над сценариями «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» (по роману Шолом-Алейхема).
1926, лето	Живет под Киевом и пишет пьесу «Закат».
1926, осень	Посещает Хреновской конский завод в Воронежской губернии.
1927, зима	Живет в Киеве.
1927—1928	Живет во Франции (Париж, Марсель). Изучает архив французской революции, работает над книгой новелл «История моей голубятни».
1928	В «Новом мире» публикуется пьеса «Закат».
1928, июль—август	Поездка в Бельгию, живет в Идельсбаде, затем в Остенде у сестры.
1928, октябрь	Возвращается в СССР, приезжает в Киев.
1929, 20—29 марта	Встречается с друзьями по Первой Конной в Кисловодске.
1929	Посещает в Липецке сосланного туда А. К. Воронского.
1929, весна	Живет в глубинке, разъезжает по стране, принимает участие в коллективизации (Украина, Воронежская обл., Днепрострой, Подмосковье).
1930, зима	Поселяется в селе Молоденово Звенигородского района Московской области.
1930, весна	Живет в селе Великая Старица Киевской области.
1930, 10 июля	В «Литературной газете» появляется заметка Б. Ясенского «Наши на Ривьере», где цитируются антисоветские высказывания Бабеля из интервью польскому журналисту А. Дану, данном во Франции и опубликованном в польском еженедельнике «Литературные ведомости» (1930, № 21).
13 июля 1930	Бабель выступает на заседании секретариата ФОСП (Федерация объединений советских писателей) с опровержением интервью А. Дана.

1930, вторая половина	Живет некоторое время в Ростове-на-Дону.
1931, весна	Двухмесячная поездка на Украину.
1931	Живет в селе Молоденово, работает там секретарем сельсовета.
1932	В журнале «Новый мир» публикуются рассказы «Конец богадельни» (№ 1), «Дорога» (№ 3), «Гюи де Мопассан» (№ 6).
1932—1933	Путешествие по Европе (Франция, Бельгия, Италия, Германия и Польша).
1933	Вместе с первым секретарем обкома партии Беталом Калмыковым много ездит по Кабардино-Балкарии.
1935	В журнале «Театр и драматургия» (№ 3) печатается пьеса «Мария».
1935, 21—26 июня	Участвует в Международном конгрессе в защиту культуры в Париже.
1936	В Гослитиздате выходит первое наиболее полное издание рассказов Бабеля.
1936	Работает вместе с С. М. Эйзенштейном над киносценарием «Бежин луг».
1939, апрель	Работает над киносценарием «Старая площадь, 4».
1939, 15 мая	Арест Бабеля на его даче в Переделкине.
1940, 13 июля	Расстрелян.

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1894 г., в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, библию, талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных биллиардистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на биллиарде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываемая для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-r Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил; пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 г. в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 г. я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 г. попал в Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 г. (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по

1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди.

И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я стал солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 г., в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 г. я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 г., когда в 4-й книге журнала «Леф» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

М. Н. Берков

МЫ БЫЛИ ЗНАКОМЫ С ДЕТСТВА

Я поступил в 3-й класс Одесского коммерческого училища имени Николая I в 1906 году. Меня посадили на парту рядом с Бабелем.

В последующих классах мы также сидели за одной партой. Это сблизило и сдружило нас.

Коммерческое училище, в котором мы учились, содержалось в основном на средства одесского купечества. На подготовку в этом училище квалифицированных работников для банков и коммерческих предприятий купцы не жалели средств.

Училище занимало большое трехэтажное здание с просторными классами, залами, кабинетами, лабораториями. При училище были: большой двор, сад и даже своя церковь.

Программа училища равнялась курсу гимназии без латинского языка, но зато к этому курсу прибавлялся ряд специальных предметов: химия, товароведение, бухгалтерия, коммерческие исчисления, законоведение, политическая экономия. Много часов уделялось языкам — французскому, немецкому и английскому.

Для поступления евреев в Коммерческое училище и в Коммерческий институт была более высокая процентная норма, поэтому Бабель, не имея никакого влечения к коммерческим наукам, обучался в двух коммерческих учебных заведениях — сначала в училище, а затем в институте.

В период обучения Бабеля в училище нам, его школьным

товарищам, ничто не говорило о том, что он изберет себе путь писателя. Он хорошо отвечал на уроках по литературе и получал отличные отметки по классным и домашним сочинениям. Но пятерки по литературе получали и другие ученики.

Некоторыми чертами своего характера и особенностями своей личности он все же выделялся среди своих товарищей. Он проявлял исключительное упорство и трудолюбие, когда добивался своей цели. Он очень любил историю и в детском возрасте перечитал массу книг по истории. В 13—14 лет он прочел все 11 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Он рассказывал мне, как ночью читал Карамзина под столом, покрытым скатертью, края которой доходили до пола. Освещением ему служила купленная им маленькая керосиновая лампочка (на Тираспольской улице в 1907—1908 гг.).

Историю нам преподавал директор училища А. В. Вырлан. Ответы Бабеля по истории были глубже и шире, чем то, что нам преподносил Вырлан. Бабеля на уроках истории мы слушали с большим интересом, чем Вырлана, который вел урок в пределах учебника. В последнем классе Вырлана сменил по истории Вадрачек, великолепно знавший и преподававший историю. С ним Бабель подружился.

Преподаватель французского языка Вадон многих из нас сумел заинтересовать французской литературой. Бабель с увлечением стал изучать французский язык. Его не удовлетворяли краткие изложения Вадоном биографий классиков французской литературы и содержания их произведений. Бабеля можно было нередко видеть с книгами Расина, Корнеля, Мольера, а на уроках, когда это было возможно, он писал что-то по-французски, выполняя задания своего домашнего учителя. Наиболее удобны для этого были уроки немецкого языка. Herr Озецкий был близорук и обыкновенно вел свой урок, сидя на кафедре и не замечая, что делается на партах. Бабель на его уроках работал до самозабвения над французским языком. Заканчивая свою работу, он вдруг издавал громко какой-то звук — знак не то удовлетворения, не то удовольствия. Озецкий всегда в этих случаях, обращаясь к Бабелю (он называл его Бабыл), произносил одну из двух фраз: «Бабыл, machtg Sie keint faule Witzin!» или «Aber, Бабыл, sind Sie verruckt?» («Оставьте свои плоские шутки», «Вы что, с ума сошли?»).

В последний год нашего пребывания в училище Бабель, не довольствуясь знаниями немецкого языка, приобретенными в училище, решил заняться глубже этим языком. Он предложил мне вместе с ним работать. Мы приобрели самоучитель немецкого языка Туссена и Лангешейта и принялись за работу. Скоро я убедился, что мне не хватает ни упорства, ни усидчивости Бабеля, и я отстал от него.

Еще в школьные годы он проявил свой незаурядный талант чтеца и рассказчика.

В 1909 году группа учеников нашего класса задумала отметить пятилетие со дня смерти А. П. Чехова. Родители нашего соученика Ватмана предоставили нам большой зал в их квартире на Ришельевской улице, угол Новорыбной. Я сейчас не могу восстановить в памяти детали этого вечера. Я не помню, кто сидел рядом со мной, какие мои соученики были на этом вечере, но я четко сохранил в памяти небольшую фигуру Бабеля, стоящего на коленях перед стулом, на котором лежал лист бумаги и стояла баночка с чернилами, а он — Ванька, медленно выводя буквы, читал и писал письмо «на деревню дедушке». Я думаю, что так хорошо запомнил Бабеля таким только потому, что он своим необыкновенным чтением вызвал у меня глубокое волнение: к горлу подкатывался ком, а на глаза навертывались слезы.

О том, что Бабель пишет, мы узнали впервые примерно в 1912—1914 годах. Не могу установить точную дату, но это произошло в один из приездов Бабеля из Киева в Одессу.

Он собрал нас, нескольких своих бывших соучеников, и прочитал нам написанную им пьесу. Ни названия, ни содержания пьесы я не помню, но по настроению, созданному, может быть, больше его прекрасным чтением, она показалась мне схожей с пьесами Чехова. Помню, что, описывая обстановку последнего действия, Бабель сделал какое-то особое ударение на том, что на стоящем у постели героини столике лежит письмо, на которое падает яркий свет от лампы. Мы были поражены уже одним фактом написания Бабелем пьесы и растроганы ее передачей — его чтением.

По окончании чтения все окружили его и стали убеждать его отвезти пьесу в Петербург и показать ее какому-нибудь редактору для напечатания. Бабель был взволнован нашим отношением, а может быть, и сам своим чтением, и заявил нам: он не может вести переговоры с кем бы то ни было о продаже того, что написано кровью его сердца. Это в период студенчества, когда он находился на содержании своего отца и не испытывал материальной нужды. Как известно, в дальнейшем он изменил свое отношение к вопросу издания своих произведений.

Еще один случай заставил меня думать о Бабеле как о писателе. В один из своих приездов в Одессу в 1912 или 1913 году Бабель предложил мне пойти с ним в пивнушку «Гамбринус», описанную Куприным в рассказе «Гамбринус». Этот кабачок пользовался дурной славой главным образом потому, что собиравшиеся там матросы, проститутки и сутенеры нередко затевали драки и можно было там, что называется, ни за что ни про что в общей свалке быть избитым. Мне очень не хотелось туда идти, но и не хотелось показаться перед Бабелем трусом. Посидели мы в «Гамбринусе» часа полтора-два. Я сидел как на иголках и ждал с нетерпением момента, когда Бабель надумает наконец уйти оттуда. Бабель спокойно рассматривал публику, об-

менивался репликами кое с кем. На обратном пути я спросил его, зачем нам было сидеть два часа в погребке в спертом воздухе от пивного угара и табачного дыма. Кружку пива можно было выпить в более приличной обстановке. Бабель посмотрел на меня и сказал: «С бытописательской точки зрения это очень интересно».

В первые годы после революции мы встречались редко. Он бывал у меня во время наездов в Одессу.

Бабель в течение четырех месяцев конца 1937 года и начала 1938 года проживал в Киеве, куда он приехал по приглашению Киевской киностудии для работы над сценарием по произведению «Как закалялась сталь». В это время мы несколько раз встречались с ним. Я до сих пор не могу себе простить, что не записывал его рассказы о встречах с видными и интересными людьми. Он так мастерски и увлекательно рассказывал, что однажды мы вчетвером — я, жена и одна пара наших знакомых всю ночь до утра слушали его рассказы о Горьком, Фейхтвангере, Станиславском, Андре Жиде и других.

На мой вопрос, почему он не пишет, он мне ответил: «Есть такая детская игра в фанты: барыня послала сто рублей, что хотите, то купите, да и нет — не говорите, белое, черное — не называйте, головой не качайте». По такому принципу я писать не могу. Кроме того, у меня плохой характер. Вот у Катаева хороший характер. Когда он изобразит мальчика бледного, голодного и отнесет свою работу редактору, и тот ему скажет, что советский мальчик не должен быть худым и голодным, — Катаев вернется к себе и спокойно переделает мальчика, — мальчик станет здоровым, краснощеким, с яблоком в руке. У меня плохой характер — я этого сделать не могу».

Мне очень хотелось узнать, как Бабель объясняет массовые репрессии и аресты, которые в то время проводились. В эту эпоху страха, взаимного недоверия, а главное, непонимания того, что делается, трудно было ожидать от кого-нибудь откровенного и правильного толкования происходивших событий. Бабель не ответил мне на мой вопрос...

Это была наша последняя встреча. В 1939 году я был в командировке в Москве и узнал, что Бабель репрессирован.

Константин Паустовский

РАССКАЗЫ О БАБЕЛЕ

«МОПАССАНОВ Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Беня) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно воде, насыщенной углекислотой.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, — напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры — от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Вермеера Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить. Его можно было принять за коммивояжера или маклера.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие насквозь

глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

— У нас в Одессе, — сказал он, насмешливо поблескивая глазами, — не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую...

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Силы жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчики» боготворили Бабеля. Старые литераторы — их в то время собралось в Одессе несколько человек, — равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и перевода книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала

наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем потому, что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

— Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За куриные яички. Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

— Вы окончательно сказались, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «месье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.

Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом, в Одессе, мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строчки:

Звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне — единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много и об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос — подарок царю Александру от турецкого султана Абдул-Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Циреса и его мрачной, медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изу-

чить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей. Бабель посвятил Циреса в цель своего пребывания на Молдаванке. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

— Ой, месье Бабель! — сказал он, качая головой. — Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица!! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

— Каких? — спросил Бабель.

— Я знаю каких! — уклончиво ответил Цирес. — Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, месье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в мамашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

— Что ты с этого будешь иметь, скупец? — говорила она Циресу. — Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Броде, клянусь покойной Идочкой.

— Лягаши только ждут именно твоего Бройде, чтобы его захапать, — неуверенно отбивался Цирес.

— Как бы тебя не захапали раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи. Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые, деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истеричес-

кий хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе, на Екатерининскую улицу. Там, за толстыми стенами, на четвертом этаже, было тихо, темно, безопасно, на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, — говорил он, — совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент — «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство — выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как

говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется, Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

— Прошу вас, — сказал он Бабелю, — взять вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:

— Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

— Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мриам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так.

Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

— Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый, советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для

объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

— Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? — спросил, сладко улыбаясь, Цирес. — Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

— А ну, рассказывайте, старый паяц, — сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. — Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

— Завтра, — очень тихо произнес Цирес, — в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

— Хорошо! — так же тихо ответил Сенька. — Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

— Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов! Ты на этом заработаешь дулю с маком — и все!

— А что же делать? — застонал Цирес. — Они сведут меня с ума, эти налетчики!

— Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайности, не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

— Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

— Не будешь ли так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

— Старый Цирес. А тебя, Сеня?

— И меня старый Цирес.

— Итак? — спросил Пятирубель.

— Итак, старый Цирес больше не будет жить! — ответил Сеня.

— Аминь! — сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

КАТОРЖНАЯ РАБОТА

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда оно не завладевало так сильно почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск кончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк — колючую ветку или створку раковины — целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный, успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной (тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами).

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согрело ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно, близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видным огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего

сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

— Вот вы и другие писатели, — сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, — умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне?

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

— Бог знает, что вы говорите! — возмущаясь, сказал я.

Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

— У меня нет воображения, — упрямо повторил он. — Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз: «Подлинность!» Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это — вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Эверест. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

— Но у вас же литая проза, — сказал я. — Как вы добиваетесь этого?

— Только стилем, — ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. — Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей, — как говорил один одесский журналист, — а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к

ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучался глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем двести страниц.

— Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около двухсот страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть?!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

— Позвольте, — сказал я, — я слышал, что «Любка Казак» — это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

— Да, — ответил он и покраснел от смущения. — Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц. Но здесь все двадцать два варианта этого рассказа, включая и последний. А в общем в рукописи двести страниц.

— Двадцать два варианта? — пробормотал я, ничего не понимая.

— Слушайте! — сказал Бабель, уже сердясь. — Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа! Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это излишество! А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! — повторил он. — Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему

свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня — и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

— У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков.

Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

— Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно и зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

— Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, — сказал он вполголоса. — Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

— Так вот, — сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью. — Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это — собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейши-

ми служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками.

Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не единожды, и по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать — если у меня хватит на это терпения — и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само по себе в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза — одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи почти все причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе — это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правиль-

но, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, и не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у Андрея Соболя да и у самого Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты — прополка, вытягивание рассказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Ботичелли.

— Действительно каторжная работа, — сказал я. — Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

— А главное, — сказал Бабель, — заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот... — добавил он и помолчал. — Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей так и не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они отсыпали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Ведь он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

— Пойдемте к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеял-

ся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

Тамара Иванова

РАБОТАТЬ «ПО ПРАВИЛАМ ИСКУССТВА»

С Исааком Эммануиловичем Бабелем познакомилась я в период моей работы в режиссерских мастерских и Театре имени Мейерхольда.

Остроумный, склонный к розыгрышам и мистификациям, Бабель пришелся, что называется, не по зубам той девчонке, какой я тогда была.

При свойственной моей натуре прямолинейности я, актриса, совершенно не понимала «игры» в жизни, поэтому принимала, не будучи дурой, совершенно всерьез все слова и поступки Исаака Эммануиловича даже тогда, когда относиться к ним следовало как к жизненному спектаклю.

Бабель непрестанно выдумывал и себя (не только для окружающих, но и самому себе), и разнообразные фантастические ситуации, а я все принимала всерьез.

И тем не менее дружба наша какое-то время продержалась, хотя и прерывалась постоянно взаимным непониманием. Чересчур уж разными человеческими индивидуальностями мы были.

Однако в периоды дружбы он допускал меня в свое «святая святых», то есть работал иногда при мне.

Правда, очень недолгий срок.

Бабель уверял меня, что такого с ним никогда не бывало, а именно: работать он всегда мог только «в тишине и тайне», и ни в коем случае не на чьих-либо глазах.

Однако на моих глазах работал, и поэтому я имею полное право достоверно рассказать, как именно он работал.

С легкой руки Константина Георгиевича Паустовского, прелестнейшего, очаровательного человека, но невероятного выдумщика, написавшего в своих воспоминаниях о Бабеле, что он — Паустовский — видел множество вариантов одного из ранних рассказов Бабеля (1921 год), все хором утверждают: Бабель писал множество вариантов.

Как известно, архив Бабеля пропал, поэтому вовсе не писал вариантов.

Все, что писал, Бабель складывал первоначально в уме, как многие поэты (потому-то его проза так близка к vers libre).

Лишь все придумав наизусть, Бабель принимался записывать.

У меня сохранился рукописный экземпляр «Заката», кото-

рый является одновременно и черновиком, и беловиком окончательной редакции, той, которая поступила в набор.

Писал Исаак Эммануилович на узких длинных полосках бумаги, с одной стороны листа, оборотная сторона которого служила полями для следующей страницы.

В хранящемся у меня рукописном оригинале отчетливо запечатлен процесс работы.

Бабель вышагивал по комнате часами и днями, вертел в руках четки, веревочку (что придется), выискивая не дававшее ему покоя слово, вместо того, которое требовалось, по его мнению, заменить в наизусть сложенном, уже записанном, но мысленно все еще проверяемом тексте.

Отыскав наконец нужное слово, он аккуратно зачеркивал то, которое требовало замены, и вписывал над ним вновь найденное.

Если требовалось заменить целый абзац, он выносил его на поля, то есть на оборот предшествующей страницы.

Работа кропотливая, ювелирная, для самого творца мучительная.

Но никаких вариантов.

Вариант один-единственный, уже сложившийся, затверженный наизусть и подлежащий исправлению на бумаге только тогда, когда работа мысли в бесконечных повторениях уже найденного отыскивала изъян. Выхаживая километры, писатель обретал замену не удовлетворяющего его слова, и новое, ложившееся наконец в ритм, переставало коробить своего создателя. Но не всегда. Иногда он мысленно, опять возвращаясь к тому же слову, еще и еще раз менял его.

Поскольку мне привелось наблюдать совершенно обратный творческий метод (со множеством вариантов) у Всеволода Иванова, я с уверенностью опровергаю утверждение о бесчисленных вариантах и черновиках Бабеля.

Во всяком случае, в начальный период его литературной работы и вплоть до 1927 года не было у него никаких вариантов.

Он все вынашивал в голове и, лишь мысленно выносив, мысленно же продолжал отыскивать и вносить исправления.

Мысль и память (без участия записывающей руки) были его творческой лабораторией.

На моих глазах к пишущей машинке (да ее у него тогда попросту и не было) он вовсе не прикасался.

Обычно придумывая, Бабель записывал всегда от руки. А дальше выверял опять же мысленно, редко-редко заглядывая в рукопись. К рукописи он прикасался лишь тогда, когда искомое бывало им уже найдено.

Каждого вспоминающего может подвести память. Но существуют государственные архивы и библиографические справочники.

Что же касается творческой манеры Бабеля, он ведь рассказал о ней сам 28 сентября 1937 года на своем творческом вечере

в Союзе писателей (стенограмма опубликована в «Нашем современнике», № 4 за 1964 г.).

Бабель тогда сказал:

«Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда садился за стол, то почти знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, почти без всяких помарок.

Теперь я в этом методе разочаровался /.../ пишу как бог на душу положит, после чего откладываю на несколько месяцев, потом просматриваю и переписываю. Я могу переписывать (терпение у меня в этом отношении большое) несчетное число раз. Я считаю, что эта система — *это можно посмотреть в тех рассказах, которые будут напечатаны* (подчеркнуто мною. — *Т. И.*), — даст большую плавность повествования и большую непосредственность».

Но беда ведь состоит как раз в том, что рассказы, о которых говорил Бабель, не успели быть напечатанными или хотя бы сданными в редакцию, и никому не известно, куда девался его архив.

Вероятно, Константин Георгиевич Паустовский запомнил уверения Исаака Эммануиловича о его способности переписывать «несчетное число раз». Но, вспоминая, Константин Георгиевич упустил из виду, что Бабель, высказывая это утверждение, раскрывал «тайну» нового, еще не обнародованного им «метода», а до тех пор всю свою творческую жизнь (по его собственному утверждению, высказанному на упомянутом выше творческом вечере) применял совсем иную «технику».

Но это не означает, что Бабель мысленно мог творить в любую минуту и в любой обстановке.

Напротив, чтобы его творческий, мыслительный аппарат заработал, ему нужна была всегда какая-то особая среда, особая обстановка, которую он мучительно искал.

Исаак Эммануилович мог показаться причудливым и капризным человеком, который и сам не знает, что же ему в конце концов нужно: то ли полной тишины и уединения — с разрядкой, создаваемой общением с любимыми им лошадьми; то ли шумное окружение и причастность к обществу руководителей государственных учреждений.

Теперь, когда я разматываю обратно киноленту жизни, мне кажется, что в последнем случае — в стремлении приблизиться к людям, вершащим крупные дела, — Бабелем владело почти детское любопытство, подобное страстному желанию мальчугана разобрать по винтикам и колесикам подаренную ему заводную игрушку, чтобы посмотреть, что окажется там внутри, как это все сделано и слажено в единое целое.

Исаак Эммануилович считал литературу не только делом, но и обязанностью, непреложным долгом своей жизни.

В уже процитированном интервью, отвечая на вопрос: «Будет ли (замолчавший на время) Ю. К. Олеша еще писать?» — Бабель сказал: «Он ничего, кроме этого, не может делать. Если он будет еще жить, то он будет писать».

Писал Исаак Эммануилович трудно, я бы даже сказала — страдальчески. Был совершенно беспощаден к самому себе. Его никак не могло удовлетворить что-либо приблизительное. Он упорно искал нужное ему слово. Именно оно, это слово, наконец-то выстраданное, наконец-то найденное, а не какое-то другое должно было занять свое место в ряду других.

Смысл, ритм, размер. Все эти компоненты были неразрывно для него связаны.

Тем, кто понимает литературу всего-навсего как изложение ряда мыслей, описание определенных событий, людских судеб и характеров, мучительные поиски Бабеля не могут быть понятными.

Для него литература — это не только содержание, но и форма, требующая стопроцентной точности отливки.

Возвращаюсь к цитированию все той же стенограммы. Объясняя причины своей медлительности в работе, Исаак Эммануилович сказал: «По характеру меня интересует всегда «как» и «почему». Над этими вопросами надо много думать и много изучать и относиться к литературе с большой честностью, чтобы на это ответить в художественной форме».

Проза Бабеля близка поэзии, по существу, и является поэзией в самом прямом выражении этого понятия.

Трудность поисков формы при создании произведений влекла за собой постоянный вопрос — где, в какой среде и обстановке лучше всего работать?

Исаак Эммануилович считал, что ему лучше всего писать, живя в среде, близкой к описываемой. А необходимую разрядку находить тоже в обществе людей, похожих на описываемых.

Ему не сиделось на месте, но в своих разъездах он постоянно стремился выбрать необходимую для его творчества обстановку.

Привожу отрывки из писем ко мне, об этом свидетельствующие:

Из Киева в Москву. 23. IV. 25 г.

«...Уехал на пароходике вниз по Днепру верст за двадцать. Там в деревне я переночевал, выпил пива с предсельсовета и еще двумя мужиками и на рассвете вернулся в Киев. Здесь с еще одним военным человеком (Охотников, друг Мити Шмидта и мой) мы с утра наняли моторную лодку, катались полдня, пили, пели, гнались за розовыми днепровскими пароходами, чтобы покачаться в их безобидной волне: я ужасно хотел рассказать Охотникову чего-нибудь про вас, сунуть контрабандой рассказ о дав-

нишних моих знакомых, но, к чести моей, ничего не сказал, вернулся домой в гостиницу и нашел здесь письмо от вас, милый друг мой. События, заслуживающие внимания, были вот еще какие: позавчерашний день я провел в Лукьяновской тюрьме с прокурором и следователем, они допрашивали двух мужиков, убивших какого-то Клименку, селькора здешней украинской газеты. Это было очень грустно и несправедливо, как всякий человеческих суд, но лучше и достойнее было мне сидеть с этими жалкими убившими мужиками, чем болтать позорный вздор где-нибудь в городе, в редакции, — потом позавчера же у меня была счастливая встреча с давним моим товарищем Шишковским. Он авиатор и командует здесь, в Киеве, эскадрильей истребителей. Сейчас солнце, три часа дня, а напишу вам, душа моя, письмо, и поеду за город к Ш., и буду летать с ним сегодня и, вероятно, каждый день. Я, кажется, говорил вам, что бываю очень счастлив во время полета...»

Из Киева в Москву. 24. IV. 25 г.

«...Позавчера летал на аэроплане, но недолго, 25 минут, п. ч. в авиаторной школе происходили занятия в это время. Я с товарищем моим собираемся лететь верст за двести от Киева, если не удастся, поеду на пароходе в Черкассы и пробуду там два дня. Это получше будет, чем влачиться здесь в пыли канцелярий...»

Из Киева в Москву. 25. IV. 25 г.

«...Погода здесь дурная. Тепло-то оно тепло, но дует ветер, мелкий злой ветер с песком, такие ветры бывают в нищих пыльных южных городах. Я много ходил сегодня по окраине Киева, есть такая Татарка, что у черта на куличках, там один безногий парень, страстный любитель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это показалось близким, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди, т. е. грубо и страстно, простые люди...»

Что привлекало к себе в ту пору писательское внимание Бабеля? Все то, что превышает норму. Все то, что принято называть гиперболичным. Жизнь у ее истоков, не украшенная, не прикрашенная. Первобытность необузданных чувств, первозданность страстей.

Опять цитирую по стенограмме: «В письме Гете к Эккерману я прочитал определение новеллы — небольшого рассказа, того жанра, в котором я себя чувствую более удобно, чем в другом. Его определение новеллы очень просто: это есть рассказ о необыкновенном происшествии. Может быть, это неверно, я не знаю, Гете так думал».

И дальше Бабель говорит: «У Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал... Самоуничижение совершенно не в моем характере /.../

чтобы снять с себя упрек в самоуничижении, я могу сказать, что множество моих товарищей, хотя и располагают не большим количеством интересных фактов и наблюдений, чем я, между прочим, пишут об этом «толстовском» способе. Что из этого получается — всем пострадавшим известно».

Само собой разумеется, последнее утверждение — юмор, и «пострадавшими» Бабель именует читателей.

За тот период жизни Исаака Эммануиловича, который проходил у меня на глазах и нашел отражение в письмах ко мне, он создал сценарии «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» (по мотивам романа Шолом-Алейхема), а также пьесу «Закат».

Хотя в основу сценария «Беня Крик» и легли одесские рассказы, сценарий этот является вполне оригинальным литературным произведением, в котором писатель переосмыслил как ситуацию, так и характеры выведенных им персонажей.

Сценарии — новая для Бабеля работа — освоение кинематографического мышления, кинематографического языка. Вот что он писал мне тогда:

Из Киева в Москву. 27. IV. 25 г.

«...Вчера я лег спать рано, в одиннадцатом часу, но, на беду мою или на счастье, разразилась гроза удивительной силы, молнии стояли от земли до неба минуты по две, дождь гремел, гнулся, чернел, как море, я вылез на подоконник, похерил сон и произнес длинную речь, обращенную к вам /.../ Завтра занятия в государственных учреждениях прерываются на три дня. Я уеду на это время в Богуслав, это замечательное еврейское местечко верстах в полутораста от Киева, там, говорят, есть река необыкновенной красоты и водопады, а в девяти верстах от Богуслава деревня Медвин, достойная изучения. Я думаю так — по возвращении из Богуслава можно будет определить приблизительно день отъезда моего в Харьков и Москву. Если между Харьковом и Москвой установлено уже летнее аэропланное сообщение — я полечу на аэроплане. Боги, м. б.,воззрят на мои тяготы, и числа 7— 8 мая я смогу вернуться в Москву...»

Из Киева в Москву. 30. IV. 25 г.

«...Я отменил поездку в Богуслав, я принес в жертву все водопады, потому что понял, что в Богуславе работать невозможно. Три-четыре дня пребывания в Богуславе значительно отодвинули бы отъезд в Москву. Человек по фамилии Морква, председатель Богуславского райисполкома, один из мириада моих приятелей, человек хороший, передовой, но пьющий и общительный до крайности, изготовился везти в Богуслав вместе со мной горячительные напитки в необъяснительном количестве и еще сумрачных хохлов, перепить которых, я понял, невозможно. Хохлы победили бы меня, я не сочинил бы ни одной строки для сценария /.../ и я уехал в поселок Ворзель под Киевом, где я сижу сейчас над кипой скучных бумаг».

Дальнейшие письма, отражающие работу над сценарием «Беня Крик», шли уже не из Киева в Москву, а из Сергиева Посада (Загорска) в Сочи (где я проводила лето).

Из Сергиева в Сочи. 14. IV. 25 г.

«...В пятницу, т. е. на следующий после вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду очень болен, но о болезни не хочет говорить, пьет горькую, пьет с необыкновенной жадностью, он совсем обезумел. Я не знаю — его конец близок ли, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные! Одно из этих стихотворений я переписал и пересылаю вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок; может быть, прощальная эта Сережина песня ударит вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роще и шепчу ее: «Ах любовь — калинушка...» Нынче весь день работал с остервенением; теперь, когда я пишу Вам, идет второй час ночи, и так как я спал сегодня два часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно /.../ На кинофабрику я не хожу и не пойду до того времени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несутся вопли и проклятия по моему адресу...»

Из Сергиева в Сочи. 16. VI. 25 г.

«...Понравилась ли Вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюгавое солнце и сейчас же застилается ливнем мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво /.../ Мы с Воронским живем дружно! Он все пишет про литературу /.../ Еще новости. Иван Иванович был вчера именинник. Шик, еврей-выкрест, живущий насупротив, рукоположен во священники, он сменил полукафтан на рясу и ходит во всамделишной рясе с клюкою: коз согнали с Козьей горки (Вы на этой горке были), бабы устроили бунт, и вчера к ним приходил представитель исполкома. Кто победит — еще неизвестно.

Больше новостей нет. Я занят скучной работой /.../»

Из Сергиева в Сочи. 20. VI. 25 г.

«...Известие Ваше о дурной погоде не застало меня врасплох. У нас пятый день льет дождь, сыплет град, валит снег, изморозь покрывает землю по утрам, и глыбы льда выезжают из водосточных труб /.../. И только Воронский доволен. В Сергиеве никто не нарушает его права писать критические статьи. Но, по-моему, он простудился, чувствую себя плохо, ропщу, но сценарий все же пишу. Завтра, в субботу, из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от вас письма и читать

сценарий Эйзенштейну. Если я написал чепуху — вот будет оказия!..»

Из Сергиева в Сочи. 25. VI. 25 г.

«...У нас тоже наступила хорошая погода. Я три дня провел в Москве в большой суете. Был у Эйзенштейна на даче, ночевал у него. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой. Когда управлюсь с этим делом, тогда только для меня прояснятся дальнейшие перспективы /.../.

Я получил чудное душевное письмо от Горького. Надо ответить из него целым трактатом и поспеть до закрытия почты. Поэтому я прерываю до завтра свои излияния...»

Из Сергиева в Сочи. 29. VI. 25 г.

«...И это в то время, когда работать надо с возможной поспешностью. Я уже писал Вам, кажется, что три четверти сценария написал, а вот последняя четверть не клеится... Не клеится же окончание, потому что меня заставляют работать фальшиво /.../ но я нынче утром напал, кажется, на счастливую мысль и, может быть, выйду из тягостного этого положения без морального урона... Спасаюсь только тем, что в мыслях стараюсь очищаться от суеты и скверны, ну да это занятие для философа, а философы дураки, вот тут и вертись. Пишу на почте, очень жарко, мухи и толчея: у почтовой барышни в окошечке завиты такие жалкие кудельки и на цыплячью грудку насыпано столько мела или пудры, что с этой барышней в самую бы пору поговорить о жизни, о ее и моей жизни, ну да она отвергнет, ей некогда...»

Из Сергиева в Сочи. 3. VII. 25 г.

«...К стыду моему, я все еще бьюсь над сценарием, над его окончанием. Гонорар мне положили порядочный, надо постараться сделать получше. /.../ я веду жизнь духовную (от чего Вас предостерегаю), я ем, как соловей, и скоро двух метровых муравьев будет достаточно, чтобы насытить меня.

Больше происшествий никаких. Вчера я уехал на Ярославский вокзал в самом ординарнейшем из ординарных трамвайных вагонов, мне было грустно, и я раздумывал — что это такое? Потом впервые в жизни я испытал душевную усталость. Это началась старость? /.../ И если это началась старость, то вот Вам и происшествие?.. /.../»

Из Сергиева в Сочи. 10. VII. 25 г.

«...Пишу на почте, п. ч. теперь 6 часов, в 6 1/2 ч. почта закрывается, и я не смогу отправить Вам письма. Вокруг толчея, толкают под руку, и я не могу сказать то, что хочу. Вчера читал целиком сценарий Эйзенштейну; он в притворном или искреннем восхищении — не знаю, но, во всяком случае, все идет благополучно. Завтра буду сдавать работу дирекции, думаю, что в ближайшие дни (два-три дня) все закончу. Кроме этого на той же кинофабрике предвидится для меня захватывающего интере-

са работа — можете себе представить фильм о лошадях по заказу Наркомзема. Я буду счастлив, если меня привлекут к этой работе. Я рассчитываю дня через четыре вылететь в Ростов, оттуда приеду в Сочи /.../. Два дня, проведенные в Москве, растрепали меня маленько. Ложусь я на рассвете, делов множество, все издательства как с цепи сорвались, да и мысли, к счастью, одолевают, — а спать невозможно из-за духоты, очень я в Сергиеве привык к легкому воздуху, а здесь увядаю...»

Из Сергиева в Сочи. 12. VII. 25 г.

«...Только что (теперь третий час утра) дописал проклятущий мой сценарий. Представьте — первые четыре части я обдумал и написал в семь дней; окрыленный этим успехом, я думал, что с последней третью справлюсь еще легче, но не тут-то было, только позавчера мне пришли на ум подходящие (подходящие ли?) мысли, а я за полтора дня откатал великое множество сцен. Я очень устал /.../ мысли путаются, надо поспать маленько /.../. Переписка оконченной работы, чтение в разных инстанциях, проведение через репертуарный и всяческие другие комитеты возьмет, я думаю, несколько дней. После этого срока я смогу телеграфировать Вам точно — куда я выезжаю, в Одессу или в Сочи. Если в Сочи прямо — то до Ростова буду лететь на аэроплане...»

Из Сергиева в Сочи. 16. VII. 25 г.

«...Мне обязательно нужно отправиться в Воронежскую губернию на Хреновской конный завод. Он расположен у ст. Хреновой, 70 верст от ст. Лиски. Ст. Лиски находится на большой дороге между Ростовом и Воронежем, от Ростова по направлению к Москве /.../. В понедельник, т. е. на три дня позже меня, выезжает в Тамбовскую и Воронежскую губернию Эйзенштейн с техническим персоналом — для съемки натурных кадров 1905 года...»

Эйзенштейн должен был ставить фильм «Беня Крик», по сценарию Бабеля, на 1-й фабрике Совкино, но на фабрике произошли всяческие осложнения, и Исаак Эммануилович решил отдать свой сценарий Одесской киностудии ВУФКУ. Впоследствии туда же передал он и другой свой сценарий — «Блуждающие звезды».

Из Москвы в Ленинград. 15. IV. 26 г.

«...Ночью с ужасной тоской в душе «гулял» у Регининых на именинах, ночью не спал, и теперь я качаюсь от слабости. Состояние моих мозгов, состояние здоровья стали так плачевны, что надо серьезно подумать об отдыхе в соответствующей обстановке, иначе будет мне худо. По совести говоря, мне трудно писать письма, п. ч. нет сил собрать мозги к «одному знаменателю». Довольно хныкать. Авось поправимся...

/.../ С Вуфку о «Блуждающих звездах» продолжаются интенсивные телеграфные «переговоры». В режиссеры они прочат

Грановского — другого у них нет — вот какой получается заколдованный круг. Грановский со своим театром уезжает сегодня в Киев на гастроли, не исключена возможность, что и меня вызовут для окончательных переговоров на Украину...»

Из Москвы в Ленинград. 23. V. 26 г.

«...Только что в 7 ч. утра получил телеграмму от Одесской фабрики Вуфку. Они предлагают мне немедленно приехать в Одессу. Вуфку предполагает отобрать постановку у Грановского, который выставляет идиотические требования, и передать ее Гричеру, бывшему помощнику Грановского, человеку мной рекомендованному и неизмеримо, в кинематографическом отношении, более талантливому. Обстоятельству этому я очень рад...»

Из Одессы в Ленинград. 28. V. 26 г.

«...Веду переговоры в Вуфку о постановке «Блуждающих звезд» на Одесской кинофабрике /.../. В Одессе у меня множество жалких знакомых, все хотят перехватить червонец и просят службу, но море прекрасно по-прежнему и акация цветет опьяняюще чудовищно. Чувствую себя хорошо /.../. У меня здесь множество работы — и моей (душевной), и кинематографической, но писать буду — лето здесь удивительное, все так напоминает детство и юность, я второй день хожу, грущу и радуюсь...

...Живу здесь хорошо, купаюсь и греюсь под солнцем. /.../ Все было бы хорошо, если бы мне не приходилось возить по всем городам глупые мои нервы, не умеющие работать и не умеющие спать. Я их обучаю этим ремеслам, но со средним успехом...»

Из Одессы в Ленинград. 5. VI. 26 г.

«Мы заканчиваем с режиссером разработку сценария, надеюсь, что дня через три-четыре я смогу выехать для расчетов в Харьков, а потом в Москву /.../

Нервное состояние мое улеглось, и я работаю маленько продуктивнее, чем раньше. К сожалению, пользоваться благами Одессы мне не приходится, целый день торчу с режиссером в гостинице, все же купаюсь исправно каждый день...»

Из Одессы в Ленинград. 12. VI. 26 г.

«...Вчера должны были выехать с Гричером в Харьков, но у него не готова еще смета по постановке, он эту смету должен представить в Харьков, в Правление. Если он успеет закончить смету сегодня — то выедем в 5 ч. 30 м., если нет, — завтра. Задержка эта мне ни к чему и даже вредна. /.../ В Одессе живу грустно, но очень хорошо. Воздух родины вдохновляет — на плодотворные, простые, важные мысли...»

Из Харькова в Детское Село. 15. VI. 26 г.

«...Вчера вечером приехал в Харьков. Сейчас отправляюсь делать дела. Думаю, что к завтрашнему вечеру выяснится, кто кого сломает — дела меня или я их. Завтра напишу. Чувствую себя удовлетворительно. Харьков — пыльный, душный город, к которому я, как и большинство людей, отношусь с предубеждением. Постараюсь сократить здесь мое пребывание...»

Из Москвы в Детское Село. 24. VI. 26 г.

«...В конце будущей недели /.../ мне придется ехать в Одессу, перспектива невеселая потому, что я боюсь, что мне и там не удастся работать. Был вчера у Воронского, встретил у него Лидию Николаевну[1]. Она очень толстая, весела ли она — не разобрал...»

Из Москвы в Детское Село. 7. VII. 26 г.

«...Лидия Николаевна передала тебе вздорные новости. Выгляжу я превосходно и чувствую себя не менее превосходно. Насчет «свиданий» виноваты мы оба в одинаковой степени. Л. Н. прислала мне открытку, в которой сообщила, что до воскресенья будет на даче, я собрался к ней в воскресенье, но она, оказывается, укатила в субботу в Пб. По этому поводу я написал ей негодующее письмо.

/.../ Помимо «душевной» работы, которую я продолжаю, несмотря на противодействие всех стихий, мне приходится еще участвовать в монтаже на I Госкинофабрике несчастной и неумелой картины «Коровины дети». Произведение это сумбурное, я по договору обязан составить к нему надписи и обязательство это выполняю потому, что эта работа значительно уменьшит сумму моего долга фабрике. По логике вещей я обязан вернуть полученный в Госкино гонорар, т. к. гонорар этот я получаю вторично в Вуфку. А ежели возвращать — то... все понятно. Итак, надо монтировать и делать надписи к «Коровиным детям». Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Шолом-Алейхема, кроме того, я должен исполнить кое-какие работы для Вуфку /.../ Работы эти скучные, но деньги пойдут на благие цели, поэтому работать надо; единственно удручает меня то, что многие проблемы (лошадиная и проч.), изучение которых совершенно необходимо для моего душевного равновесия, из-за недостатка времени остаются безо всякого изучения. Ну да чем скорее я исполню заказы, тем скорее можно будет приступить к проблемам. Дня через два в Москву должен приехать один из директоров Вуфку, и я узнаю тогда — состоится ли моя вторичная поездка в Одессу, и вообще разберусь в дальнейших перспективах...»

Тут мне приходится сделать отступление и предуведомить читателя, что, взяв на себя смелость выбора кусков из писем ко мне Исаака Эммануиловича для их опубликования, я допускаю вольность, нарушая хронологию.

Привожу отобранные мною выдержки из писем не в последовательности их написания, а располагая по затронутым в них темам, этим же объясняется и обилие многоточий, безусловно затрудняющих чтение.

---

[1] Л. Н. Сейфуллина.

Прошу простить, но иначе поступить я не могла, поставив перед собой задачу брать из писем только то, что соответствует намеченной цели.

Ведь я задалась целью написать не монографию о жизни и творчестве И. Э. Бабеля на основании его писем ко мне и своих наблюдений, а пытаюсь набросать лишь штрихи к его портрету.

Все цитируемые письма адресованы Т. В. Кашириной, под каковой фамилией я родилась, училась, работала, выступала на сцене и вообще жила до 29 года, когда приняла, зарегистрировав замужество, фамилию — Иванова.

Закончив работу над двумя сценариями, Исаак Эммануилович занялся литературной обработкой одного из них, а именно «Бени Крика».

Из Москвы в Ленинград. 9. IV. 26 г.

«...Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. Изменения будут незначительны /.../».

Из Москвы в Ленинград. 12. IV. 26 г.

«...Приведение сценария в литературный вид я закончу завтра-послезавтра; после того, как выяснится его судьба, я смогу выехать в Ленинград. /.../».

Киноповесть «Беня Крик» была напечатана в журнале «Красная новь» (1925, № 6). В этом же году она вышла отдельным изданием.

И в том же году Исаак Эммануилович приступает к созданию пьесы «Закат». О начале этой новой работы он в шутку написал мне — как о «коммерческом деле».

Из Ворзеля в Детское Село. 19. III. 26 г.

«...Живу в совхозе в 40 верстах от Киева, недалеко от станции Ворзель Ю. З. ж. д. Хотя ожидания мои в смысле лошадей и тишины обмануты, но думаю, что я смогу здесь поработать. Кровных лошадей в этом совхозе нет, толчеи благодаря уборке урожая много, но так как я живу здесь бесплатно, то выбирать не приходится. /.../».

По определению Исаака Эммануиловича, в его жизни играла большую роль «Лошадиная проблема».

Он считал прекраснейшим для себя отдыхом общение с лошадьми. Живя в Москве, посещал бега и скачки. Искал случаи пожить в совхозах, где есть конные заводы.

Он вообще стремился изучать жизнь животных. Хотел поселиться в заповеднике. Но это намерение, во всяком случае в годы нашей дружбы, почему-то никак не могло осуществиться. Лошади же всю жизнь влекли его.

Продолжение писем Бабеля:

«...Особенных новостей не жди от меня, давай, господи, чтобы их у меня не было, чтобы судьба подарила мне месяц-два хотя бы относительного спокойствия. Очень я захвачен сейчас коммерческим делом (правда, тряхнул кровью предков), которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро. /.../».

Из Ворзеля в Детское Село. 26. VIII. 26 г.

«...В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. Этот опыт еще более укрепил меня в убеждении, что я себя знаю лучше, чем кто-либо. На мне лежит большая ответственность. Я должен сделать все, чтобы иметь возможность нести эту ответственность. Прошу тебя, никому не говори о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло. Во всяком случае, счастливый этот казус поправит материальные дела; думаю, что к концу сентября это улучшение примет осязательные формы.

Голова моя очень устала. Девять дней я худо спал и свету божьего не видел. Сегодня поезжу по Днепру, пошатаюсь по селам дня три, вернусь — и буду снова работать. Я написал Виктору Андреевичу Щекину, просил сообщить — находятся ли еще лошади на летнем положении, жду от него ответа, м. б. съезжу на некоторое время в Хреновую. Пора мне приниматься за дела...»

Из Хреновой в Детское Село. 5. IX. 26 г.

«...Вчера после мучительного путешествия (двое суток) приехал в Хреновую. Остановился на прежней квартире. Погода превосходная. Условия для работы хорошие. Постараюсь здесь наверстать часть упущенного времени. Буду здесь сидеть так долго, как только смогу, м. б. месяц. Потом снова начнется суета и гадость — поездка в Москву. Единственное, что сможет меня вознаградить за Москву, — это Детское. Увидимся мы в октябре. Здесь все на прежнем месте — и люди и лошади...»

Из Хреновой в Детское Село. 8. IX. 26 г.

«...Новостей, как известно, в Хреновой не бывает. Я работаю до обеда, потом ухожу на завод или наоборот. Обедаю у прошлогодней нашей поварихи[1]. Хожу к ней на дом. Условия для работы здесь превосходные, тем более превосходные, что здесь мозгам можно дать роздых в любую минуту, а мозги мои теперь не в лучшей форме /.../

Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложились дурные отношения к моим «произведениям». Раньше они мне нравились, по крайней мере во время написания, а теперь и этого

---

[1] Летом 1925 года мы некоторое время прожили в Хреновой вместе.

нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится...»

Из Хреновой в Детское Село. 15. IX. 26 г.

«...Живу по-прежнему — полдня «размышляю» о вещах нелепых и надоевших мне, полдня сижу в конюшне. Погода держится хорошая. Был два раза на охоте с Виктором Андреевичем. Он охотится, а я смотрю. /.../ Только человек я больно никудышний — не нравлюсь я себе. Все-таки я считаю, что принадлежу к породе людей, могущих притянуть себя к более совершенной организации. Попробуем...»

Из Хреновой в Детское Село. 17. IX. 26 г.

«...Живу по-прежнему. Сегодня пошел дождь. Будет он идти, вероятно, не один день. Работаю в меру сил. «Мера»-то не больно велика. Мозги мои требуют очень частых передышек, не по сезону.

...Пьесу начну переписывать через несколько дней. Никому я ее еще не читал. /.../».

Из Хреновой в Детское Село. 20. IX. 26 г.

«...Погода здесь испортилась, дождь, очень это не ко времени — п. ч. я доработался до полного истощения мозгов, мне бы надо на несколько дней забросить всякую «письменность», а как ее забросить, когда приходится сидеть дома? Подожду еще дня два-три, потом возьмусь за переписку пьесы, потом поеду в Москву /.../

Завтра в Хреновой выставка крестьянских лошадей и крестьянские бега. Обязательно пойду посмотреть, как бы только погода не помешала. /.../ Я сегодня, запершись в своей комнате, долго читал Жития Святых, книжку Толбинских[1], но в этой книге днем с огнем не сыщешь ничего веселого. /.../

Сейчас иду обедать, а потом к Виктору Андреевичу: он, кажется, собирается сегодня на охоту. Поеду и я...»

Из Хреновой в Детское Село. 22. IX. 26 г.

«...Дождь здесь зарядил, идет очень ядовито, мелкий, беспрерывный. Сегодня были крестьянские бега — очень интересно.

В Москву предполагаю выехать не позднее 1 октября. Надо приступить к переписке моей чудаковатой «пьесы», а не хочется. Надо бы ей отлежаться месяца два, чтобы я о ней забыл. /.../».

Из Хреновой в Детское Село. 25. IX. 26 г.

«...Весь вопрос теперь в том — хлебную ли пьесу я сочинил? Беда та, что к революции пьеса эта не имеет никакого отношения; как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают, и в последней сцене дураки могут усмотреть «апофеоз мещанства». /.../

/.../ поживем, увидим. Вообще же к пьесе этой нельзя отно-

---

[1] Хозяева избы, в которой жил Бабель.

ситься серьезно. К сожалению, я мало смыслю в драматургии, и вышел, кажется, легковесный пустячок. Очень жаль, что мне не с кем посоветоваться...»

Из Хреновой в Детское Село. 29. IX. 26 г.

«...Первого я отсюда не поеду, есть еще работы на несколько дней. Здесь очень холодно, дурная погода. Теплых вещей нету, одеяла нету — но очень уж тихо, пострадаю еще несколько дней...»

Из Хреновой в Детское Село. 1. X. 26 г.

«...Пишу все еще из Хреновой. Никак не удается исполнить расписание. Хотел написать здесь (очень уж тихо) несколько рассказов, подготовил их вчерне, но времени не хватит. Я занят незначительной переделкой последнего акта пьесы, окончу и уеду. Не позже 10/X буду в Москве.

Только что получил телеграмму от одесской фабрики Вуфку о том, что постановка «Блуждающих звезд» закончена и режиссер 10/X везет фильм в Харьков, в Правление. Не знаю — обязывает ли меня к чему-нибудь такая телеграмма, все же перед выходом в свет мне надо картину видеть, пишу об этом в Харьков...»

Из Москвы в Детское Село. 11. X. 26 г.

«...Приехал в Москву только вчера. Ехать пришлось сутки четвертым классом — скорый отменен. Тяжелое путешествие. Дела начну завтра. Если они затянутся — чего я не предполагаю, — то я улучу не в счет абонемента один-два для того, чтобы вырваться к вам. /.../».

Из Москвы в Детское Село. 13. X. 26 г.

«...Вчера читал пьесу Маркову. По его мнению, она представляет интерес, но необыкновенно трудна для постановки и, уж конечно, никак не актуальна. Хлопот мне предстоит много...»

Из Москвы в Детское Село. 18. X. 26 г.

«...Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художественного театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня недоработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту, с какой я написал ее, — то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои «художественной законченности» плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса выправлена, а счесть это я могу черт меня знает когда. /.../».

Из Киева в Москву. 5. I. 27 г.

«...«Блуждающие звезды» еще не видел, говорят — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом. К Бене Крику (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни — настроение скверное...»

Сценарии, вернее, поставленные по ним фильмы, все еще тревожили Исаака Эммануиловича, отнимали у него время, но «Закат» уже заполнил собой все его мысли. Продолжая работать над пьесой, Бабель захотел проверить ее звучание на широкой аудитории.

Из Киева в Москву. 17. III. 27 г.

«...Я затеял несколько публичных вечеров — здесь, в Одессе, м. б. в Харькове. Буду читать пьесу. Кое-как я ее отделал. Вышло хуже, чем раньше, — очень вымученно...»

Из Киева в Москву. 26. III. 27 г.

«...Вчера читал пьесу. Вечер прошел с «материальным и художественным» успехом. Посылаю тебе рецензии, посылаю потому, что это первые строки о детище, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз я что-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест. Для окончательного суждения очень мне нужен твой совет, когда привезу это сочинение в Москву — тогда поговорим...»

Из Киева в Москву. 30. III. 27 г.

«...Сейчас еду в Одессу. Вечера мои там состоятся 1 и 2 апреля. 4-го «выступаю» в Виннице (совсем балериной сделался). 5-го возвращаюсь в Киев...»

Для творческой работы Исааку Эммануиловичу совершенно необходима была «питательная» среда.

Но даже и тогда, когда обстоятельства заставляли его жить в столице, он неизменно искал какую-то особую обстановку, в которой ему легче работалось бы. Он способен был вдруг испытать влечение к чужой квартире, чем-то отличающейся от привычного или же внезапно увиденной им под особым углом зрения.

Я несколько раз присутствовала при возникновении таких внезапных «влечений», никогда не могла толком разобраться — что же, собственно, его тут привлекло.

К тому же и влекло его каждый раз нечто совершенно не похожее на предыдущее: то просторность, чистота, чинность, тишина, а то предельная загроможденность — шагу ступить негде...

Но и там и тут он неожиданно говорил: «Вот здесь я бы, наверное, смог писать».

Человек он был обаятельный, поэтому хозяева облюбованного помещения дружно кричали: «Сделайте милость, приходите к нам работать, а то так поселитесь у нас».

Иногда он даже и соглашался на такое предложение, но на моей памяти никогда из подобных проб проку не получалось — писать все равно было ему трудно. А в незнакомом месте возникали и бытовые трудности, которые отнюдь не шли на пользу делу.

Когда сложные переплетения его жизни закинули Бабеля за границу, ему стало там совсем плохо, совсем невмоготу работать.

Из Парижа в Москву. 11. XI. 27 г.

«...Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным /.../

Никогда я не испытывал такой материальной нужды, как теперь. Положение иногда создается унизительное. Вся надежда на пьесу и на то, что ты похлопочешь. Если пьеса прошла несколько раз в провинции, то я думаю, что в Модпике можно взять еще аванс. Я взял там всего пятьсот рублей. Они обещали мне перед генеральной репетицией дать еще денег. Надо думать, что представления в провинции равносильны генеральной репетиции в Москве. Я не знаю, конечно, как обстоит дело с пьесой — снимается ли она после нескольких представлений или продержится, прошу /.../ пришли мне все материалы, какие у тебя по этому поводу имеются. Выражал ли еще какой-нибудь провинциальный театр желание поставить «Закат»? Что ты знаешь о постановке в Одессе? Неужели история с авансом от Александринки тянется до сих пор? Есть ли уверенность в том, что пьеса пойдет в Александринке?

Итак, надо попросить аванс в Модпике. Я пишу заявление на тысячу рублей. Борюсь. Но получить деньги — это полдела, очень трудно отослать их за границу. Если посылают сумму, превышающую пятьдесят долларов, надо просить разрешения Валютного Управления. Всеволод[1] сможет дать тебе совет. Конечно, посылать надо от Модпика, вообще от официального учреждения, тогда скорее выдают разрешение /.../

Напиши мне еще /.../ о пьесах Всеволода и Леонова, как они выглядели со цены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? Я совсем отрезан от мира. /.../

Я все время стараюсь работать, но ощутимых результатов пока нет. Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным. Я снова подтвердил Полонскому мое обещание не посылать рассказов, кроме как в «Новый мир». Но если бы ты знала, как мучительно мне привыкать к писанию из-за нужды, к писанию из-под палки. /.../».

Из Парижа в Москву. 16. XII. 27 г.

«...Получил вчера 250 долларов. Деньги — это кислород, вернувший меня к жизни. Я находился при последнем издыхании. 100 долларов было у меня долгу, на остальные, конечно, не разойдешься, но все же поживу. Было бы истинным благодеянием, если бы ты могла в начале января повторить твой подвиг. Финансовые перспективы мои /.../ таковы: работать регулярно я начал очень недавно, но если бы поднажать, можно бы кое-что

---

[1] Всеволод Иванов.

подготовить для печатания. Но все существо мое этому противится. Очутившись вдали от редакционной толкучки, от бессмысленных рецептов, мне непреодолимо захотелось работать «по правилам». Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году, но сроков никаких не знаю, да и думать о них не хочу. Если вещи мои будут хороши — тогда редакторы не станут на меня сердиться за несоблюдение сроков, если они будут плохи, так о чем же тут толковать, что раньше, что позже — все равно /.../».

Из Парижа в Москву. 26. XII. 27 г.

«...Что же делать — я совсем не писатель, как ни тружусь, не могу сделать из себя профессионала. /.../

...Я буду стараться /.../ я знаю, как это нужно, но трудно продать первородство за чечевичную похлебку. /.../

Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее. /.../».

Относительное облегчение наступило для Бабеля только тогда, когда ему пришла мысль использовать свое пребывание в Париже для работы, связанной с Парижем, и он начал собирать материалы о французском рабочем движении.

Из Парижа в Москву. 16. XII. 27 г.

«...В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему — я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. Это душевно оправдывает мое житье здесь и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика. Пожалуйста, пришли мне еще материалов о пьесе, если они у тебя есть. /.../».

Из Парижа в Москву. 5. V. 28 г.

«...Вообще же и ближайшие три-четыре месяца будут месяцами лишений, зная это — как тут быть? Я работаю недавно, в форму вхожу трудно, с маху стоящую книгу не напишешь, по крайней мере я-то напишу. /.../».

Из Парижа в Москву. 7. VII. 28 г.

«Нездоровье; не такое, чтобы лежать в постели, а похуже — болезнь нервов, частая утомляемость, бессонница. Я, по правде говоря, мало трудился на моем веку, больше баловался, а вот теперь, когда надо работать по-настоящему, мне приходится трудно /.../

Получил несколько писем от Горького. Он просит меня приехать и обещает, что устроит у себя, что у него тихо, можно работать — и расходов никаких не будет. Я бы хотел поехать — но пока нету денег на дорогу. Если раздобуду — напишу тебе и сообщу адрес...»

Одноплановость приводимых мною выдержек из писем Исаака Эммануиловича может вызвать у непосвященного человека представление о нем как о «вечном страдальце», и это будет совершенно ошибочно.

Бабель постоянно испытывал «муки творчества», но человек он был общительный, веселый, блистательно остроумный. Пессимистом его никак нельзя посчитать — при малейшем проблеске благополучия он оживлялся и начинал возводить шаткое нагромождение «воздушных замков».

Человек широкий во всех отношениях, он постоянно испытывал потребность помочь всему своему окружению.

Так, находясь в Париже буквально в нужде и едва получив деньги, чудом отправленные ему туда, он тут же пишет мне:

Из Парижа в Москву. 30. XI. 27 г.

«...Если тебе удастся прислать мне в нынешнем году тысячу рублей, будет очень хорошо /.../. Не помню, сообщал ли я тебе адрес сестры /.../ Хорошо бы если бы и ей можно было отправлять ежемесячно. /.../».

Возможно, что Исаак Эммануилович так стремился во имя работы зарыться в глушь отчасти и потому, что никак не мог совладать со своей неуемной общительностью.

Письма его тоже дают основание для такого предположения.

Из Киева в Москву. 23. VI. 25 г.

«...Я ушел из дому, где начался шум и суета, всегда сопровождающие меня...»

Из Сергиева в Сочи. 29. VI. 25 г.

«...В четверг приехала гостья (приятельница из Петербурга) и пробыла два дня, а в субботу нагрянули три семьи — Вознесенские, Зозули и проч. Я измаялся. Пропащие четыре дня, даже вам не мог написать. /.../».

Познакомилась я с Исааком Эммануиловичем на квартире у Василия Александровича Регинина, который был моим сослуживцем по режиссерской работе в клубных кружках войск Красной Армии.

Я тогда училась в режиссерской мастерской Мейерхольда и работала в театре его имени, а также вела несколько красноармейских и рабочих драматических кружков.

После одного из вечерних занятий кружка Василий Александрович уговорил меня пойти к нему: «Познакомитесь с моей женой и обязательно еще с кем-нибудь интересным, ко мне каждый вечер заходят «на огонек».

Так оно и оказалось — «на огонек» зашел в тот вечер Исаак Эммануилович. Он пошел меня провожать и, будучи человеком крайне неожиданным, весьма удивил меня своим обращением и разговором.

Всю дорогу (от Красных ворот, где жили Регинины, до Горо-

хового поля на Разгуляе, где жила я) Бабель рассказывал мне о лошадях, уверяя, что ни литература, ни искусство нисколько его не интересуют, вот лошади — дело другое!

Когда сидели у Регининых, я позвала и их, и Бабеля, на следующий вечер, посмотреть спектакль «Земля дыбом», в котором я играла.

Они пришли в театр все вместе и по окончании спектакля пригласили меня ужинать в «литературный кружок».

За ужином Исаак Эммануилович восхищался Зайчиковым, игравшим бессловесную роль царя, а меня поддразнивал: где же, мол, вам соревноваться вашей героикой с актером, которого режиссер посадил при всем честном народе на ночной горшок...

После ужина Бабель опять провожал меня, но на этот раз мы ехали на извозчике — путь от Тверской (теперь ул. Горького) до Разгуляя не для пешего хождения, да и извозчик ехал довольно долго, и опять Исаак Эммануилович все твердил про лошадей.

Но на этот раз он выражал опасение, но не того, что мне может наскучить его пристрастие к лошадям, а того, что я могу его не понять.

Я была избалованна и строптива, поэтому, вырази он опасение, что лошади наскучили мне, я бы, наверное, с этим согласилась (мне было тогда 24 года), я возмутилась предположением, что могу чего-то «не понять», и поэтому терпеливо слушала бабелевские рассказы о совершенно ненужных мне лошадях.

Впрочем, он был таким неотразимым рассказчиком, что все, о чем бы ни говорил, получалось у него увлекательно и неповторимо интересно.

Скоро мы встретились в Ленинграде, и Исаак Эммануилович попросил меня никому не говорить, что он там. Пригласил зайти к нему в гостиницу, еще раз заверив, что он в Ленинграде «инкогнито».

Когда же я к нему зашла, то обнаружила в его номере «дым коромыслом». Он уже созвал к себе половину Ленинграда.

Такая непоследовательность вообще была очень характерна в те годы для бытового поведения Бабеля.

Другое дело — творчество. В творчестве он был необыкновенно последователен, взыскателен и ни в коем случае не желал ни смириться, ни «укротить» себя.

Он не только с мучительной страстью вынашивал свои произведения, но с такой же пристальной внимательностью прослеживал и их прохождение в жизнь, начиная с корректур и репетиций.

Чувство ответственности перед читателем, беспокойство о нерушимости своего творческого замысла никогда не покидали Бабеля.

Это опять можно проследить по письмам.

Из Киева в Москву. 22. IV. 25 г.

«...Окажите мне услугу: позвоните в редакцию «Красной нови» (т. 5-63-12), попросите к телефону Евгению Владимировну

Муратову. Скажите ей от моего имени, что я с нетерпением жду корректуры[1], которую она обещала выслать мне в Киев. Корректуру эту немедленно по исправлении я отправлю в редакцию...»

Из Киева в Москву. 27. IV. 25 г.

«...От «Красной нови» ни слуху ни духу. Какие неверные люди. Я телеграфировал вчера в редакцию и завтра пошлю еще одну телеграмму. Пожалуйста, позвоните еще раз Муратовой и скажите от моего имени, что я протестую против напечатания рассказа по невыверенной рукописи и что если они не пришлют мне корректуры по указанному адресу в Киев, то я буду протестовать против этого в печати. Александр Константинович[2] обещал дать мне возможность прочитать корректуру трижды. Мне стыдно, что я отягощаю вас этим делом, но, право, оно имеет для меня кое-какое значение...»

Из Киева в Москву. 30. IV. 25 г.

«...От «Красной нови» ни ответа, ни привета. Придется послать им выправленную рукопись...»

Из Киева в Москву. 10. IV. 27 г.

«...Корректуру «Короля» пришли. Делов там немного, но просмотреть надо.

Приехать в Москву я хочу 27-го, к Пасхе. Очень хочется мне успеть исполнить до этого времени ту чертову гибель работы, которая висит на моей шее...»

Из Киева в Москву. 13. IV. 27 г.

«...Корректуру получил. В корректуре сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «Третье издание». Это необходимо сделать для того, чтобы не вводить публику в заблуждение...»

Особое беспокойство, обостренное еще и тем, что он находился за границей и не мог сам проследить за перипетиями претворения ее в спектакли, вызывала у Бабеля пьеса «Закат».

Из Парижа в Москву. 3. IX. 27 г.

«...Что в театре? Я до сих пор не переделал 3 сцены. Опротивела мне пьеса. Надо бы сократить два-три куплета в песне, да охоты не хватает. Может быть, сделаю. Все переделки пришлю».

Из Парижа в Москву. 6. X. 27 г.

«...Авторы наши в отношении к цензуре перешли всякие границы робости и послушания. Я не собираюсь принять к сведению или исполнению ни одно из их замечаний. Все их «исправления» — бессмысленны, продиктованы отвратительным вкусом и политически ненужны и смехотворны. С болванами этими не стоило бы и разговаривать. Я не принадлежу к числу тех, кто плачет над запрещенными своими вещами или злобится. Но

---

[1] Рассказ «История моей голубятни».

[2] Воронский.

«тога гордого безразличия» — это, конечно, пышная тога, но /.../. Поэтому надо бороться за сохранение моих фраз /.../. Уступать нельзя...»

Из Парижа в Москву. 4. X. 27 г.

«...Я прочитал в «Правде» отзыв Маркова о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Статья эта убедительно написана, и такое у меня чувство, что она правильно излагает то, что происходило в театре. /.../ Плохой театр[1], тут и толковать нечего. Если тебе придется говорить с Берсеневым, попроси их сократить 3 сцену, в особенности песню. Один чех попросил у меня пьесу для того, чтобы показать ее в Праге, я сдуру отдал, теперь у меня нет ни одного экземпляра. Он, правда, обещал вернуть через несколько дней».

Из Парижа в Москву. 17. X. 27 г.

«...Вчера получил письмо твое и Гриппича. Сегодня отправил Гриппичу все нужные ему заявления. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе пьесы в Петербурге?

Перебиваюсь с трудом /.../ А тут еще дней десять тому назад я захворал. Простудился, и начался тяжкий мой «астматический период». Десять дней я снова не работал и так этим испуган, что решил ехать на юг лечиться. Раз навсегда мне надо привести себя в работоспособный вид. Рассчитываю осуществить мою мечту — поехать в Марсель. Поеду, если добуду денег. Здесь не Москва — пропадешь и ни копейки не достанешь...»

Из Парижа в Москву. 30. XI. 27 г.

«...Рецензию получил. Спасибо.

...Идет ли пьеса еще где-нибудь? Если у тебя накопились еще материалы, сделай милость, пришли. Что тебе сказали в Александринке? Прежде чем перерешать, я хотел бы знать в точности положение дела. Напиши откровенно...»

Из Парижа в Москву. 22. XII. 27 г.

«...Сколько представлений выдержал «Закат» в Одессе и Баку? Собираются ли ставить еще где-нибудь? Не знаешь ли ты, как идут репетиции во 2 МХАТе?..»

Из Парижа в Москву. 10. I. 28 г.

«Со всех сторон мне сообщают, что 2 МХАТ разваливается, что никакой постановки там не будет /.../ Не худо бы тебе побывать на репетициях, если только они происходят. Если хочешь, я напишу в этом смысле Берсеневу или Чехову...»

Из Парижа в Москву. 11. III. 28 г.

«...Посмотрим, даст ли «Закат» что-нибудь? Никогда с большим отвращением не относился к этой пьесе, к разнесчастному и надоевшему детищу, чем теперь...»

---

[1] 2-й МХАТ.

Об искусстве и о лучших для себя условиях, чтобы им заниматься в полную силу, Исаак Эммануилович думал постоянно.

В одном из первых своих писем ко мне (23. IV. 25 г.) он писал:

«...Последние дни я много думаю о вашем искусстве и моем и со всей страстью убеждаю себя, что мне душевно нужно на два года отказаться от моей профессии... Жизнь моя пошла бы лучше, и позже, через два года я сделал бы то, что нужно мне и еще, может, некоторым людям...»

Из Парижа в Москву. 5. IX. 27 г.

«...Я здоров, работаю, результаты скажутся не скоро, м. б. через много месяцев. Что же делать? Работать по методам искусства /.../ — это одно из немногих утешений, конечно, не легче...»

Из Парижа в Москву. 22. VII. 28 г.

«...Где тонко, там и рвется. Я, кажется, писал тебе о своей болезни, о том, что работать я не в состоянии, с великим трудом влачу «бремя дней». Ты сама можешь судить — как это все кстати. Я серьезно подумываю о том, чтобы центр тяжести моей жизни перевести из литературы в другую область. У меня всегда было так — когда литература была побочным занятием, тогда все шло лучше. С такими требованиями к литературе, как у меня, и с такими ограниченными возможностями выполнения нельзя делать писательство единственным источником существования. В России я все это переменю. Завтра еду в Брюссель — повидаться с матерью и сестрой, пожить там, если будет к тому возможность, потом вернусь на короткое время в Париж и отсюда уеду в Россию. Только там я смогу снова стать «ответственным» за свои поступки человеком, сочинить какой-нибудь план жизни...»

Из Парижа в Москву. 10. IX. 28 г.

«...В Россию я приеду в начале октября. Первый этап будет Киев, а где жить буду — не знаю. Оседлости устраивать пока не собираюсь, буду кочевать где придется /.../ Приезда моего не утаишь, в Москве я жить не буду, как это все сделается?

Я возвращаюсь, состояние духа у меня смутное. Работать столько, сколько бы надо, — не умею, мозги не осиливают. Я чувствую впрочем, что житье, вольное житье в России, принесет мне много добра, выправит и выпрямит меня. Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не печатаюсь, не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу — только бы, конечно, с долгами развязаться и на прожитье зарабатывать. /.../».

Из Парижа в Москву. 21. IX. 28 г.

«...Выехать я собираюсь отсюда первого октября. В Киев — который будет первым моим этапом — приеду числа шестого-седьмого (хочу на два дня остановиться в Берлине). В литератур-

ных или начальственных кругах вращаться не собираюсь, хотелось бы пожить в тишине. /.../».

Из Киева в Москву. 24. X. 28 г.

«...В Киеве я пробуду еще недели две-три, потом поеду в какое-нибудь захолустье работать. Куда поеду — еще не знаю. Противоположение Парижа и нынешней России так разительно, что я никак не могу собраться с мыслями, и душа от всех этих рассеянных мыслей растерзана. Стараюсь, как только могу, привести себя в форму...»

Из Киева в Москву. 26. XI. 28 г.

«...Вчера не мог написать подробнее, п. ч. голова очень болела. Я теперь часто хвораю. Очень часто головные боли, очевидно, у меня мозговое переутомление. Тут бы работать, а голова часто отказывается. Часто мне бывает от этого очень грустно. Но так как я упрям и терпелив, то надеюсь, что вылечу себя /.../.

Я пока остаюсь в Киеве, вернее, за Киевом, живу, можно сказать, в губе у старой старухи отшельником — и очень от этого выправляюсь душой и телом. Может, и хворости пройдут...»

Во имя искусства он неустанно стремился все превозмочь и в себе, и вокруг себя.

Принести искусству все возможные и невозможные жертвы — вот каков был символ веры Бабеля.

Однако даже самые пламенные намерения не всегда и не всем удается осуществить.

Не удалось и Бабелю осуществить программированное им в последнем письме ко мне стремление «жить отшельником».

Переписка наша прекратилась, и мы больше не виделись, поэтому о дальнейшей жизни Исаака Эммануиловича я могу судить только по опубликованным письмам его к другим адресатам и по воспоминаниям А. Н. Пирожковой.

У Бабеля были столь непомерные требования к совершенству художественных своих произведений, и создавал он их так медленно, что, видимо, волей-неволей, чтобы заработать на жизнь, пришлось ему вернуться к работе в кино.

Но если над сценариями «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» он трудился, предъявляя к себе те же требования, как и при создании прозы или пьесы, то, по-видимому, в последние годы он работал в кино скорее ремесленно, чем творчески, предпочитая исправлять чужие сценарии.

Невозможно без горечи думать о конце его жизни.

Невозможно не сожалеть о неосуществленных творческих его планах и пропавшем архиве.

Остается надеяться, что «рукописи не горят», а архив этот предстанет перед исследователями творчества Бабеля, его читателями и почитателями.

В. П. Полонский

ИЗ ДНЕВНИКА 1931 ГОДА

...Среди них — оригинал Б. Он не печатает новых вещей более семи лет. Все это время живет на проценты с напечатанного. Искусство его вымогать авансы изумительно. У кого только не брал, кому он не должен — все под написанные, готовые для печати новые рассказы и повести. В «Звезде» даже был в проспекте года три назад напечатан отрывок из рукописи, «уже имеющейся в портфеле редакции», как объявлялось в проспекте.

Получив в журнале деньги, Бабель забежал в редакцию на минутку, попросил рукопись «ставить слово», повертел ее в руках — и, сказав, что пришлет завтра, унес домой. У меня взял аванс по договору около двух с половиною тысяч. Несколько раз я перечеркивал договор, переписывал заново, — он уверял, что рукописи готовы, лежат на столе, завтра пришлет, дайте только деньги. Он в 1927 году, перед отъездом за границу, дал мне даже название рассказа, который пришлет ровно 15 августа. Я рассказ анонсировал — и его нет по сие время. Под эти рассказы он взял деньги — много тысяч у меня, в «Красной нови», в «Октябре», везде и еще в разных местах. Ухитрился забрать под рассказы даже в Центросоюзе. Везде должен, многие имеют исполнительные листы, но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, где-то в разъездах, в провинции, под Москвой, имущества у него нет, — он неуловим и неуязвим, как дух. Иногда пришлет письмо, пообещает прислать на днях рукопись, — и исчезнет, не оставив адреса...

Не так давно в какой-то польской газете какой-то корреспондент опубликовал свою беседу с Бабелем — где-то на Ривьере. Из этой беседы явствовало, что Бабель настроен далеко не попутнически.

Бабель протестовал. Мимоходом заметил в Литгазете, что живет он в деревне, наблюдает рождение колхозов и что писать теперь надо не так, как пишут все, в том числе и не так, как писал он. Надо писать по-особенному — и вот он в ближайшее время напишет, прославит колхозы и социализм, и так далее. Письмо сделало свое дело — он везде заключил договоры, получил в ГИЗе деньги — и «смылся». Живет где-то под Москвой, в Жаворонках, на конном заводе, изучая коней. Пишет мне письма, в которых уверяет в своих хороших чувствах, и все просит ему верить: вот на днях пришлет свои вещи. Но не верится. И холод его меня отталкивает. Чем живет человек? Но внутренне он очень богат — старая глубокая еврейская культура.

Звонок Бабеля. Опять тысяча и одна увертка. Советовался-де с Горьким, и Горький не советует печатать рассказы, какие он

мне дал. Но он написал «вчерне» два колхозных рассказа (об этом «вчерне» я слышал года три назад) и над ними работает. В течение месяца он их мне доставит. Узнав, что я вернусь в начале сентября: «Как приедете, в Вашем портфеле будут эти рассказы». Четыре года тому назад он так же уверял меня в том, что у меня «15 августа» будет рассказ «Мария Антуанетта», чтобы я анонсировал его в журнале, — рассказа нет и по сие время! Он роздал несколько своих рассказов в «Октябрь», мне и еще кому-то, но не для печати, а как бы вроде «залога», для успокоения «контор», которые требуют с него взятые деньги. Сдал книгу в ГИХЛ, — получив от издательства деньги и обещание книгу не печатать, так как она «непечатна», — то есть столь эротична, индивидуалистична, так полна философии пессимизма и гибели, что опубликовать ее — значит «угробить» Бабеля. По той же причине и я не хочу печатать те вещи, что он дал мне.

Странная судьба писателя. С одной стороны, бесспорно: он «честен» — и не может приспосабливаться. С другой — становится все более ясно, что он чужд крайне революции, чужд и, вероятно, внутренне враждебен. А значит, притворяется, прокламируя свои восторги перед строительством, новой деревней и т. п.

Бабель: «Новиков-Прибой — славный писатель», про Олешу: «О, он — писатель замечательный». Обещает печатать весь будущий год каждый месяц. Замечает при этом: «Ух, много денег с вас стребую». Конечно, мы виноваты перед ним. Такого писателя надо было поддерживать деньгами. Дрянь, паразиты — выстроили домишки. Он как-то рассказывал: «Получал я исполнительные листы и один на другой складывал в кучку. Но я крепкий. Другой бы сломался, а я нет, я много переживу».

«Соть» Леонова не нравится писателям. Б. говорит: «Не могу же я писать «Соть».

Заходил Б. Пришел вечером, маленький, кругленький, в рубашке какой-то сатиновой серо-синеватого цвета, — гимназистик с остреньким носиком, с лукавыми блестящими глазками, в круглых очках. Улыбающийся, веселый, с виду простоватый. Только изредка, когда он перестает прикидываться весельчаком, его взгляд становится глубоким и темным, меняется и лицо: появляется другой человек с какими-то темными тайнами в душе. Читал свои новые вещи: «В подвале», не вошедший в «Конармию» рассказ про коня: «Аргамак». Несколько дней назад дал три рукописи, — все три насквозь эротичны. Печатать невозможно. Это значило бы угробить его репутацию как попутчика. Молчать восемь лет и ахнуть букетом насыщенно эротических вещей — это ли долг попутчика? Но вещи замечательные. Лаконизм сделался еще сильнее. Язык стал проще, без ма-

нерности, пряности, витиеватости. Но сейчас печатать их Б. не хочет. Он дал их мне, сказав, чтобы «заткнуть глотку» бухгалтерии. Он должен «Новому миру» две тысячи рублей. Бухгалтерия грозит взысканием. Он дал рукопись, чтобы успокоить бухгалтерию. Обещает в августе дать еще несколько вещей, которые вместе можно будет пропустить в журнале. Но даст ли? Странный человек: вещи замечательные, но он печатать их сейчас не хочет. Он действительно дрожит над своими рукописями. Волнуется. Испытующе смотрит: «Хорошо? Я ведь пишу очень трудно, — говорит он. — Для меня это мучение. Напишу несколько строк в день и потом хожу, мучаюсь, меняю слово за словом».

Ведет оригинальный образ жизни, в Москве бывает редко. Живет в деревне под Москвой, у какой-то крестьянки. Проводит в деревне все время. Керосиновая лампа. Самовар. Простой стол и одиночество. Надевает туфли, зажигает лампу, пьет чай и ходит по комнате часами, думая, иногда записывая несколько слов, потом (снова) к ним возвращаясь, переделывая, перечеркивая. Его радует удачный эпитет, хорошо скроенная фраза. Он и в самом деле мучается и пишет вещи запоем, причем пишет не то, что захотел накануне, а то, что самом как-то появляется в сознании.

«На днях решил засесть за рассказ для Вас, за отделку, но проснулся и вдруг услышал, как говорят бандиты, и весь день писал про бандитов. Понимаете, как услышал, как они разговаривают, — не мог оторваться».

Сейчас он влюблен в лошадей, впрочем, это длится уже много лет, путается с жокеями, конюхами, изучает лошадей, иногда пропадает на ипподроме и конном заводе. Говорит, что пишет что-то о лошадях и жокеях.

Равнодушен к славе. Ему хотелось бы, чтобы его забыли. Жалуется на большое количество иждивенцев, кабы не они, было бы легче.

Бабель говорит: «Я Пастернака не понимаю. Просто не могу понять иногда, что он говорит».

Я его печатал в 1918 году в «Вечерней звезде» — после первых его рассказов «Летописи». Я его тогда выручил. Когда он встретил меня в 1922 году в Москве — он привез тогда свою «Конармию», — он буквально повис на моей шее и уверял, что он приехал в Москву именно ко мне, что он меня искал и т. д.

Почему он не печатает? Причина ясна: вещи им действительно написаны. Он замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит: его вещи не устареют и он не пострадает, если напечатает их позже. Я не читал этих вещей. Воронский уверяет, что они сплошь контрреволюционные, то есть они непечатны: ибо материал их таков, что публиковать его сейчас вряд ли возможно. Бабель работал не

только в Конной, он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жесткости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь, — это, вероятно, про Чека. Он и в Конармию пошел, чтобы собрать этот материал. А публиковать сейчас боится. Репутация у него попутническая.

Вчера заходит Бабель, принес читать новый рассказ: розовый, в темной рубашке, в новеньком пиджаке, черное кожаное пальто, румяный, пахнет вином, весел.

«Кормит меня, возит повсюду», — говорит. Читал рассказ о деревне. Просто, коротко, сжато — сильно. Деревня его, так же как и Конармия, — кровь, слезы, сперма. Его постоянный материал. Мужики, сельсоветчики и кулаки, кретины, уроды, дегенераты. Читал и еще один рассказ о расстреле — страшной силы. С такой простотой, с таким холодным спокойствием, как будто лущит подсолнухи, — показал, как расстреливают. Реализм потрясающий, при этом лаконичен до крайности и остро образен. Он доводит осязаемость образа до полной иллюзии. И все это простейшими (как будто) средствами. «Я, знаете, — говорит, — работаю как специалист, мне хочется сделать хорошо, — мастерски. Способы обработки для меня — все. Я горжусь этой вещью. И я что-то сделал. Чувствую, что хорошо». Он волновался, читая. Он доволен своим одиночеством. Живет один в деревне. Туфли, чай с лимоном, в комнате температура не ниже 26. Не хочет видеть никого.

Б. опять обманывает. Обещал в октябре рассказ, — не дал. Звонит, прислал письмо, — просит заключить договор: ему надо такой договор, чтобы ему платили деньги вперед. Словом, обычная история.

Пришел сегодня, принес черновик начатых рассказов.

«Нет у меня готовых, что же делать?» Правда, делать нечего. Я упрекнул его в том, что он не сдержал обещание, опять подвел меня. Обещал на декабрь, я анонсировал, а рассказа нет. Прочитал отрывок из рассказа об одессите Бабичеве, рассказ начинается прославлением Багрицкого, Катаева, Олеши — и некоторым презрением к русской литературе, на которую одесситы совершили нашествие.

Жена его в Париже. Уже несколько лет живут розно. Рассказывает, жена прислала телеграмму, — если не приедешь через

месяц — выйду замуж за другого. Просто сообщил, что года два назад жена родила дочь. Равнодушен. Смеется.

Б. рассказывает, как он ходил в гости к кухарке на даче Рудзутака, его знал и управляющий дачей. Теперь на этой даче Горький. Он пошел к нему, но не с черного «кухаркиного» хода, — а через подъезд. Управляющий не знал, кто такой Б. И вообще не знал его имени, так же как и кухарка: предложил ему здесь не шататься, а идти на задний двор. Б., не ответив, прошел. Управляющий к нему: «Мы наркомов не пускаем, а ты лезешь». Но в окно его увидел Максим, сын Горького, и позвал. Кухарка дрожала, когда подавала кушать, — за столом, развалясь, сидел ее кум, ее собеседник, ее друг и гость — и разговаривал с Горьким как равный.

КРИТИКА О БАБЕЛЕ

Виктор Шкловский

БАБЕЛЬ. КРИТИЧЕСКИЙ РОМАНС[1]

Мне как-то жалко рассматривать Бабеля в упор. Нужно уважать писательскую удачу и давать читателю время полюбить автора, еще не разгадав ее.

Мне совестно рассматривать Бабеля в упор. У Бабеля есть такой отрывок в рассказе «Сын рабби»: «Девица, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдала его половые части, эту чахлую, нежную и курчавую мужественность исчахшего семита».

И я беру для статьи о Бабеле лирический разгон.

Была старая Россия, огромная, как расплывшаяся с распаханными склонами гора.

Были люди, которые написали на ней карандашом: «Гора эта будет снесена».

Еще не было революции.

Часть людей, писавших карандашом, работала в «Летописи». Там недавно приехавший Горький ходил сутулым, недовольным, больным и писал статью «Две души». Статью совершенно неправильную.

Там ходила девочка Лариса Рейснер (еще до взятия ею Петропавловской крепости). Там ходил Брик с Жуковской улицы, 7, и я, в кожаных штанах и куртке из автороты. Журнал был полон рыхлой и слоистой, даже на старое сено непохожей, беллетристикой. В нем писали люди, которые отличались друг от друга только фамилиями.

Но тут же писал Базаров, слепнем язвил Суханов, и здесь печатался Маяковский.

В одной книжке был напечатан рассказ Бабеля. В нем говорилось о двух девочках, которые не умели делать аборта. Папа их жил прокурором на Камчатке. Рассказ все заметили и запо-

---

[1] Бабель сейчас изменился, но эта статья лучшая из тех, которые я могу о нем писать.

мнили. Увидал самого Бабеля. Рост средний, высокий лоб, большая голова, лицо не писательское, одет темно, говорит занятно.

Произошла революция, и гора была убрана. Некоторые еще бежали за ней с карандашом. Им не о чем было больше писать.

Тогда-то и начал писать Суханов. Семь томов воспоминаний, написал он их, говорят, сразу и наперед, потому что он все предвидел.

Приехал я с фронта. Была осень. Еще издавалась «Новая жизнь».

Бабель писал в ней заметки «Новый быт». Он один сохранил в революции стилистическое хладнокровие.

Там писалось о том, как сейчас пашут землю. Я познакомился тогда с Бабелем ближе. Он оказался человеком с заинтересованным голосом, никогда не взволнованным и любящим пафос.

Пафос был ему необходим, как дача.

В третий раз я встретился с Бабелем в Питере в 1919 году. Зимой Питер был полон снегом. Как будто он сам стоял на дороге заноса, только как решетчатый железнодорожный щит. Летом Питер прикрыт был синим небом. Трубы не дымили, солнце стояло над горизонтом, никем не перебиваемое. Питер был пуст — питерцы были на фронтах. Вокруг камней мостовой выкручивалась и вырывалась к солнцу зеленым огнем трава.

Переулки уже зарастали.

Перед Эрмитажем, на звонких в том месте, на выбитых торцах играли в городки. Город зарастал, как оставленный войсками лагерь.

Бабель жил на проспекте 25 Октября, в доме № 86.

В меблированных комнатах, в которых он жил, жил он один, остальные приходили и уходили. За ним уносили служанки, убирали комнаты, выносили ведра с плавающими объедками.

Бабель жил, неторопливо рассматривая голодный блуд города. В комнате его было чисто. Он рассказывал мне, что женщины сейчас отдаются главным образом до 6 часов, так как позже перестает ходить трамвай.

У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ. Ремесло накладывало на человека следы его инструментов.

У Бабеля на столе всегда был самовар и часто хлеб. А это было в редкость.

Принимал Бабель гостей всегда охотно. В его комнате водился один бывший химик, он же толстовец, он же рассказчик невероятных анекдотов, он же человек, оскорбивший герцога Баденского и явившийся потом на суд из Швейцарии, чтобы поддержать свое обвинение (но признанный ненормальным и наказанный только конфискацией лаборатории), он же плохой поэт и неважный рецензент, невероятнейший человек Петр Сторицын. Сторицыным Бабель дорожил. Сюда же ходил Кондрат Яковлев, еще кто-то, я, и заезжали совершенно готовые для

рассказа одесситы-инвалиды и другие разные одесситы и рассказывали то, что о них было написано.

Бабель писал мало, но упорно. Все одну и ту же повесть о двух китайцах в публичном доме.

Повесть эту он любил, как Сторицына. Китайцы и женщины изменялись. Они молодели, старели, били стекла, били женщин, устраивали так и эдак.

Получилось очень много рассказов, а не один. В осенний солнечный день, так и не устроив своих китайцев, Бабель уехал, оставив мне свой серый свитер и кожаный саквояж. Саквояж у меня позже зачитал Юрий Анненков. От Бабеля не было никаких слухов, как будто он уехал на Камчатку рассказывать прокурору про его дочерей.

Раз приезжий одессит, проиграв всю ночь в карты в знакомом доме, утром занявши свой проигрыш, рассказал в знак признательности, что Бабель не то переводит с французского, не то делает книгу рассказов из книги анекдотов.

Потом в Харькове, проезжая раненым, услыхал я, что Бабеля убили в Конной армии.

Судьба, не спеша, сделала из всех нас сто перестановок.

В 1924 году я снова встретил Бабеля. От него я узнал, что его не убили, хотя и били очень долго.

Он остался тем же. Еще интереснее начал рассказывать.

Из Одессы и с фронта он привез две книги. Китайцы были забыты и сами разместились в каком-то рассказе.

Новые вещи написаны мастерски. Вряд ли сейчас у нас кто-нибудь пишет лучше.

Их сравнивают с Мопассаном, потому что чувствуют французское влияние, и торопятся назвать достаточно похвальное имя.

Я предлагаю другое имя — Флобер. И Флобер из «Саламбо».

Из прекраснейшего либретто к опере.

Самые начищенные ботфорты, самые яркие галифе, яркие, как штандарт в небе, даже пожар, сверкающий как воскресенье, — несравнимы со стилем Бабеля.

Иностранец из Парижа, одного Парижа без Лондона, Бабель увидел Россию так, как мог ее увидеть француз писатель, прикомандированный к армии Наполеона.

Больше не нужно китайцев, их заменили казаки с французских иллюстраций.

Знатоки в ласках говорят, что хорошо ласкать бранными словами.

«Смысл и сила такого употребления слова с лексической окраской, противоположной интонационной окраске, — именно в ощущении этого несовпадения». (Юр. Тынянов. «Проблема стихотворного языка»). Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах и о триппере.

Лирические места не удаются Бабелю.

Его описания Брод, заброшенного еврейского кладбища, не очень хороши.

Для описания Бабель берет высокий тон и называет много красивых вещей. Он говорит:

«Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск родится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности волнистой, как линии Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирстен и линия ее уже зрелой ноги?»

Правда, этот отрывок кончается так: «Купите очки, Александр Федорович, умоляю вас» («Линия и цвет»).

Умный Бабель умеет иронией, вовремя обозначенной, оправдать красивость своих вещей.

Без этого стыдно было бы читать. И он предупреждает наше возражение, и сам надписывает над своими картинами — опера.

«Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновидение. Голодный блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Серая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время, как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны».

Я сравнивал «Конармию» с «Тарасом Бульбой»: есть сходство в отдельных приемах. Само «Письмо» с убийством сыном отца перелицовывает гоголевский сюжет. Применяет Бабель и гоголевский прием перечисления фамилий, может быть, идущий от классической традиции. Но концы перечислений у Бабеля кончаются переломом. Вот как пишет казак Мельников.

«Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Духманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Тимошенку, товарищ Мельников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может быть, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Мельников».

Все казаки у Бабеля красивы нестерпимо и несказанно. «Несказанно» — любимое бабелевское слово.

И всем им намеком дан другой фон.

Бабель пользуется двумя противоречиями, которые у него заменяют роль сюжета: 1) стиль и быт, 2) быт и автор.

Он чужой в армии, он иностранец с правом удивления. Он подчеркивает при описании военного быта «слабость и отчаяние» зрителя.

У Бабеля, кроме «Конармии», есть еще «Одесские рассказы». Они наполнены описанием бандитов. Бандитский пафос и пестрое бандитское барахло так нужно Бабелю, как оправдание своего стиля.

Если начдив имеет «ботфорты, похожие на девушек», то «аристократы Молдаванки — они были затянуты в малиновые жилеты, их стальные плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах с косточками лопалась кожа цвета небесной лазури» («Король»). И в обеих странах Бабель иностранец. Он иностранец даже в Одессе. Здесь ему говорят: /.../ забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге».

Конечно, это не портрет Бабеля.

Сам Бабель не такой: он не заикается. Он храбр, я думаю даже, что он «может переночевать с русской женщиной, и русская женщина остается довольна».

Потому что русская женщина любит красноречие.

Бабель прикидывается иностранцем, потому что этот прием, как и ирония, облегчал письмо. На пафос без иронии не решается даже Бабе́ль.

Бабель пишет, утаивая музыку при описании танца и в то же время давая вещь в высоком регистре. Вероятно, из эпоса он заимствовал прием ответов с повторением вопроса.

Этот прием он применяет всюду.

Беня Крик в «Одесских рассказах» говорит так:

«Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую».

Так же говорят казаки в «Письме».

«И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказали папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказали папаша, — не думал я, что мне худо будет».

Книги Бабеля — хорошие книги.

Русская литература сера, как чижик, ей нужны малиновые галифе и ботинки из кожи цвета небесной лазури.

Ей нужно и то, что понял Бабель, когда он оставил своих китайцев устраиваться, как они хотят, и поехал в Конармию.

Литературные герои, девушки, старики, молодые люди и все положения их уже изношены. Литературе нужна конкретность и скрещивание с новым бытом для создания новой формы.

А. Воронский

БАБЕЛЬ

I

Существует мнение, широко распространенное и в писательских и читательских кругах, что в наше революционное время простая и ясная классическая форма художественного письма безвозвратно сдана в архив. Мнение это усиленно поддерживается и подогревается не только сторонниками так называемого левого фронта и беспощадными (на словах) истребителями старого, буржуазного искусства, но и людьми, чуждыми этим и подобным настроениям. Не так давно автору довелось услышать от одного молодого и талантливого прозаика любопытное замечание: «После Толстого просто писать нельзя, проще все равно не напишешь». Толстые рождаются однажды в столетия, и очень может быть, что после этого волшебного упростителя проще действительно написать трудно, но просто и ясно писать все же следует. Толстой и Гомер — величайшие реалисты в искусстве, величайшие образцы простоты и ясности, маяки векам и эпохам. И как бы ни была необычайна наша эра, толстовской закваски в искусстве хватит еще на очень долгий срок. Да и не только в искусстве. Противники классицизма в искусстве обычно довольно благодушно проходят мимо языка и формы в публицистике, в политике, в агитации, а между тем в этих областях до сих пор, и не без успеха, передовые и иные статьи, речи и доклады пишутся и произносятся на обыденном старом «классическом» языке. Попытки обновить здесь язык, стиль, манеру, конструкцию, попытки иногда уместные и своевременные, дальше частностей, однако, не идут и основного не затрагивают, и всякая поспешность, новаторские потуги чаще всего на практике ведут к досадной и ненужной шумихе, к надуманности и к новшествам, цена коим алтын.

Это становится все более очевидным, и за последнее время в литературе наших дней, несомненно, усиливается тяга к простоте и ясности классической формы. Не случайно один из одареннейших современных поэтов, Сергей Есенин, после блуждания в оврагах имажинизма, с большой пользой для себя и для читате-

ля вернулся к Пушкину. Другой одаренный поэт, Василий Казин, тоже отдает дань Тютчеву и Пушкину, и даже Безыменский, целиком в области формы воспринявший Маяковского, начинает все чаще и чаще вспоминать гениального камер-юнкера. То же самое мы видим в среде комсомольских поэтов, у Светлова, у Ясного, у Голодного и у других. В прозе перевес в пользу классицизма делается все более решительным. Раздерганность, разбросанность, нервная взбудораженность и взвинченность в стиле, имеющие свои основания в пережитом, все больше уступают и отступают, давая место ясной и четкой композиционной и стилистической манере классицизма. Этого требует читатель, этого хочет писатель. Очевидно, мы вступили в некий очень, разумеется, условный и относительный «органический» период, и это обстоятельство накладывает свой отпечаток на современное художество. Мы получили возможность более спокойно оглядеться, подумать, взвесить пережитое, темп нашей жизни стал более плавным и менее напряженным. Думать, что возврат в известных пределах к классикам есть реакция в искусстве, как уверяют в том тов. Горловы, — значит впадать в наивное заблуждение. Нужно вспомнить об оборотной стороне дела, а она — в том, что наша молодая советская литература сплошь и рядом в своих новшествах и открытиях перепевает поэтов и прозаиков упадочного периода, и очень часто противники классиков забывают другую элементарную истину, что классицизм по сравнению со многими позднейшими литературными направлениями отражал наиболее революционные и зрелые идеалы своего времени и что эти идеалы, а не декадентство всех форм и оттенков вошли необходимым элементом в современный коммунизм. Известно также, что наши теперешние литературные течения и кружки, пребывая в стадии полнейшей раздробленности и взаимной войны всех против всех, остаются оторванными от нового массового читателя, замкнутыми и проникнутыми духом узкого литературного направленства; заметную и далеко не последнюю роль в этом отрыве сыграла и продолжает играть формальная и неформальная зависимость современных писателей от поэзии и прозы последних 15—20 лет, от периода реакции и упадка.

Стремление к простоте и ясности в прозе ни в чем так резко не обнаруживается, как в творчестве новых писателей, вступающих в литературу. Очень знаменательны И. Бабель, Леонид Леонов, Сейфуллина и последние «уклоны» Вс. Иванова. Сейчас речь о Бабеле.

Бабель начал печататься всерьез совсем недавно. Объем напечатанного у него пока очень невелик. Но едва ли будет преувеличением сказать, что за ним усиленно следят, его усиленно читают. Написано немало критических статей и отзывов, и уже закипают в связи с ними страстные литературные и нелитературные споры. Это вполне естественно: во внимании и в интересе к этому писателю нет ничего подогретого, искусственного. Из-

вестно — у нас нередко писателя, имярек, прокламирует такой-то кружок, такое-то направление, причем такое прокламирование далеко не всегда соответствует действительности. Особым мастерством и даже отчаянностью в этом отличаются тов. напостовцы. Излишне говорить, к чему все это приводит. Про Бабеля можно сказать лишь одно, что его считают «попутчиком», — к кружкам он не принадлежит. Говорят и пишут о нем не для рекламирования какого-нибудь кружка, а потому, что он чрезвычайно талантлив, своеобразен, что его произведения, несомненно, «заражают». Бабель — новое достижение послеоктябрьской советской литературы, достижение немаловажное и весьма бодрящее.

«Собрания сочинений» у Бабеля нет, но в 100—120 напечатанных им страницах он выступает как уже достаточно зрелый писатель. Это не означает, что он закончен, завершен, высказался; наоборот, очень многое и главное все впереди, писатель далеко не развернул своих творческих потенций, не все его вещи находятся на одинаковом художественном уровне, но в манере его письма есть уже твердость, зрелость, уверенность, нечто отстоявшееся, есть выработка, которая дается не только талантом, но и упорной усидчивой работой. У Бабеля есть свое «нутро», свой стиль, но берет он не только «нутром», но и умом и умением работать. Это чувствуется почти во всех его миниатюрах. Бабель не на глазах читателя, а где-то в стороне от него уже прошел большой художественный путь учебы. Он культурен, в этом его большое и выгодное преимущество перед большинством советских беллетристов, старающихся выехать на «нутре» и на богатстве жизненного материала и считающих учебу и работу над собой чем-то докучным или даже похожим на буржуазную отрыжку. Оттого, между прочим, у нас и бывает, что после первой напечатанной вещи художник начинает выдыхаться и идти под уклон, ибо в первой-второй вещи берут действительно «нутром», стараются высказаться от переизбытка и полноты и целиком, так что формальные прорехи читателем либо не замечаются, либо прощаются бессознательно или сознательно из-за «нутра». Предсказывать и пророчить что-либо о Бабеле — дело довольно праздное, но отметить культурность, ум и зрелую твердость таланта нужно. Качества эти дают право надеяться, что Бабель не снизится, не пойдет по стопам своих некоторых молодых собратьев по перу.

Бабель далек от натурализма и бытовых писаний в стиле старого «Русского богатства», но ему чужд и Белый. У Бабеля есть общее с Мопассаном, с Чеховым, с Горьким, но в них он тоже не укладывается. Мопассан — скептик. Чехов грустит, Горький — романтик, и это отражается на манере их письма. Бабель эпичен, порой библейски эпичен. Вот послушайте:

«И тогда Сенька плеснул папаше, Тимофей Родионычу, воды

на бороду, и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофея Родионыча:

— Хорошо, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать» («Письмо»).

Так рассказывал в письме к матери сын о том, как его брат Сенька «кончал» «папашу»-белогвардейца. Папаша, в свою очередь, «кончил» родного сына Федю. Здесь будничная простота рассказа сочетается с таким же спокойствием. В своих миниатюрах Бабель бесстрастен, спокоен, медлителен, не торопится и не торопит читателя, тем более он не играет на нервах, не старается, чтобы читатель ломал пальцы. Неспешно тянет он свое скупое, взвешенное, продуманное слово. Он эпичен и в тех случаях, когда становится лириком. Но эпос Бабеля не тот, о котором можно сказать: они «вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они», эпос, равнодушный к добру и злу потому, что пережитое давно стало седой былью и уже выветрилось все злободневное и потухли все страсти. Бабель старается быть эпичным в рассказах о Конармии Буденного, в рассказах, помеченных 1920 годом. Он пишет о вчерашнем, идет по свежим следам пережитого, в сущности, он пишет о настоящем. Эпос его особый. Он — как только что потухнувший костер: под пеплом горячие угли. Эпичность Бабеля — своеобразный, художественный прием, рассчитанный и взвешенный. Современному советскому беллетристу приходится повествовать о событиях совершенно исключительных и иметь дело тоже с исключительным читателем. Ни сюжетом, ни тем более криком, ни пафосом современного читателя не проймешь, если иметь в виду *только* это. Любой из нас развернет такой сюжет из действительной жизни, что самая потрясающая художественная выдумка побледнеет перед этим сюжетом, а относительно «страшных слов» — то ведь и здесь мы стали привычны ко многому после войны 1914 года и революции. Явись сейчас новый Леонид Андреев со своим «Красным смехом», «Тьмой», «Бездной» и будь он менее манерен и более искренен, он оказался бы просто не ко двору со своими приемами и читателя не только не «запугал» бы, но не произвел бы на него и десятой доли того впечатления, которое производил на некоторые круги в свое время старый Андреев. Другая эпоха, другие люди, другой стиль. Эпичность

сейчас является более верным ходом к читателю; наша эпоха по природе своей эпична. Кроме того, тут вступает в силу закон контраста: повествовать о только что пережитом в муках и в крови, рассказывать о событиях и случаях, из ряда вон выходящих, спокойно, ровно, размеренно и деловито — это может подействовать на современного читателя гораздо сильней всяких криков, страшных слов, нервной взвинченности.

На самом деле Бабель совсем не бесстрастен, не равнодушен «к добру и злу» и отнюдь не спокоен. У него есть свое мироощущение, есть определенный подход к эпохе, к людям, к событиям. Но он взял себя в руки, овладел собой как художником. Он рассказывает просто, без лишних слов, как просто и без лишних слов привыкли мы жить среди самого необычайного и невиданного. И главное, он понимает, что в подлинном художестве задача не в том, чтобы крепче ударить по нервам, а в том, чтобы дать то «чуть-чуть», о котором писал когда-то Л. Н. Толстой, выделить художественную потребность, обнаруживающую *основное* в вещи, в человеке, в эпизоде. «Прямо пред моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря левой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись»[1]. Здесь нет ничего от Андреева и Достоевского, все рассказано с почти протокольным спокойствием, а между тем каждая мелочь художественно подобрана, и особенно это «не забрызгавшись», и картина остается в памяти. Уменье дать это «чуть-чуть» характерно для лучших вещей Бабеля.

Бабель не областник. Он занимателен и сюжетен, но эти качества не выступают у него на первом плане, не становятся самоцелью, являясь лишь подсобным средством.

Очень своеобразно, неожиданно и метко соединяет художник прилагательные с существительными, то есть дает определения: «пламенные плащи», «страстные лохмотья», «пыльная проволока кудрей», «густые просторы ночи», «малиновая бородавка», «могучие вечера», «мертвенный аромат парчи», «дым потаенного убийства», «прохладная глубина ночи», «оранжевые бои заката», «прокисшая духота», «блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности» и т. д. Может быть, эта склонность к определениям придает отчасти вещам его медлительность, неспешность и выразительную плавность повествования.

Эпичность Бабеля модернизирована, что приближает его к Мопассану и Чехову, как и форма коротких сюжетных рассказов.

Бабель также лирик. Лиризм Бабеля в меру мечтательный,

---

[1] Курсив всюду автора статьи. — *Ред.*

ленивый, охлажденный, не задерживающий читателя и не мешающий спокойному течению рассказа.

Наличие лиризма, между прочим, обнаруживает условность его эпоса. Бабель хитрит с читателем, и он совсем не Пимен, а страстный наш современник.

Появление Бабеля в литературе, успех его рассказов свидетельствуют, что наше художественное слово, несмотря на заминки, на штили, не топчется на месте, но верно и неуклонно развивается вширь и вглубь, увеличивая в общественной советской жизни свой удельный вес. Далее, Бабель показателен и в иных отношениях. Художество наше идет к простоте, ясности и четкости, к культуре и «европам» в смысле общих достижений. И писатель и читатель не хотят манерничания, вывертов, формальных сальто-мортале. Художник не воспитывается, не выходит из литературных стойл, закут, кутков, кружков и кружочков. Он растет где-то в стороне от них. Его выращивает жизнь, эпоха, события, мир, рабочие, крестьяне, компартия, а не секты. И, сколько бы ни втирали очков неопытным читателям Баяны разных кружков, факт остается фактом: Бабель, Вс. Иванов, Сейфуллина, Леонов, Казин, Есенин выросли сами по себе и пришли в литературу помимо кружков и деклараций.

Бабель укрепляет связь литературы с Республикой Советов и с Коммунистической партией. Он близок к нам и хорошо ощущает, «как пахнет» наша жизнь, наша эпоха. Можно, пожалуй, без преувеличения сказать, что Бабель — новая веха на извилистом и сложном пути современной литературы к коммунизму. Кое-кто не видит этого, но содержание произведений Бабеля совершенно недвусмысленно.

II

Бабель — миниатюрист. Им напечатано пока около 30 миниатюр из книги «Конармия» и несколько отдельных вещей, в том числе «Одесские рассказы». Книга «Конармия» еще не закончена, не закончены и «Одесские рассказы». Лучшими и основными и наиболее значительными являются миниатюры «Конармии», но для выяснения художественного ядра писателя целесообразней начать с некоторых отдельных вещей. Кое-какие из них художественно слабей «Конармии», но дают отчетливое представление о «нутре» художника.

Бабель — писатель физиологический. В этом он верный сын своего времени. Физиологичны Бор. Пильняк, Вс. Иванов, Сейфуллина, Никитин. У каждого из них своя «физиология», своя она и у Бабеля. Общи истоки. Они в эпохе. И общ один еще великий прародитель: Л. Н. Толстой; именно он, а не Достоевский, лег «китом» для современной советской прозы, но это тема особая.

Для Бабеля священна данность, действительность, жизнь, примитивы человеческих интересов, побуждений, страстей, вожделений, характеров, все, что принято называть грубыми животными инстинктами. Священна данность не в том, что она принимается по принципу «все действительное разумно, и все существующее действительно», а в ином. Бабель — язычник, материалист и атеист в художестве. Он враждебен христианскому, идеалистическому мировоззрению, почитающему плоть, материю низменным, греховным, а «дух», «духовное» — единственно ценным началом в жизни человеческой; в особенности Бабель-художник — противник творимых сладостных легенд, отвлеченной «духовности», бездейственной мечтательности, оторванных и одиноких блужданий «в эмпиреях и в прелестях неизъяснимых», самодовлеющих фантазмов, небесных утопий, бесплотного рая. Наоборот, он любит плоть, мясо, кровь, мускулы, румянец, все, что горячо и буйно растет, дышит, пахнет, что прочно приковано к земле.

Поэты и прозаики, воплощавшие в себе художественную реакцию, наступившую после 1905 года, объявили жизнь грубой, пьяной бабищей и звали забыться в чаровании красных вымыслов и в творении сладостных легенд. Бабель берет эту грубую, пьяную бабищу — жизнь. Он знает, что у нее «ужасно громадный живот», «пузо, вспученное и горючее», «ноги... жирные, кирпичные, раздутые», «грудь толстая», «плечи круглые, глаза синие», словом, налицо та самая бабища, которая столь отвратно действовала на утонченных людей декаданса. Бабищу-жизнь Бабель то и дело сравнивает с любителями и с поклонниками «духовности», с творцами эмпирей, с чистыми небесными небожителями и херувимами, у которых ни «пуза нет, ни плечей, а одна только бесплотность, и крылышки белоснежные и нежные трепещут». Поступают бабищи с небожителями довольно неуважительно, совсем даже грубо, и писатель на их стороне. Одной такой бабе, Арине, Исус дал Альфреда — ангела. Все в нем хорошо, «а родить от него нельзя не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет». Баба обрадовалась сначала несказанно, а потом ночью навалилась на него «пузом» и придушила нечаянно, да еще отказалась простить Исуса за то, что подсунул ей такого. В «Сказке про бабу» другая бабища, Ксения, мужа захотела. Старуха Морозиха привела к ней на кухню некоего Валентина, «неказистого», но «затейливого». В свадебном хмелю он вместо того, чтобы делать что полагается, начал плакать, рассказывать, как его обидели и какие необыкновенные он сны видит. Пришлось его выкинуть на двор. Плачет баба. «Промашка, — отвечает ей Морозиха, — тут *попроще* был надобен». В рассказе «Линия и цвет» небезызвестный А. Ф. Керенский отказывается купить очки за полтинник, несмотря на свою близорукость. Он не хочет видеть линий, ему достаточно цветов. Ему дорога его близорукость: «Мне не

нужна ваша линия *низменная, как действительность.* Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме... Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля...» Кончает этот «зритель» тоже печально. Автор встретился с Керенским в июне 1917 года в Петербурге: «Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России, матери и жене. *Толпа удушила его овчинами своих страстей».*

В признании верховных прав «бабищи» Бабель не так непосредственен, как это может почудиться с первого взгляда. Художник — сам большой мечтатель. Альфредовское начало ему совсем не чуждо. В том же рассказе о Керенском писатель восклицает: «О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты!» К своей мечтательности он возвращается не раз и не два в «Конармии»: «Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась, неведомо куда...», «И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч...», «Сведенный с ума воспоминаниями о мечте моей...», «Меня томит густая печаль воспоминаний» и т. д. Путь сладостных легенд, мечты Бабелю, по всему видно, хорошо знаком. Здесь нужно искать истоки лиризма Бабеля, его эстетизма, за который кто-то уже назвал его полудекадентом. Бабель — не декадент. Но правда в том, что мечтатель сталкивается в нем с реалистом, ощутившим глубокую правду непосредственной реальной жизни, может быть, грубой, но полнокровной и цветущей. *Столкновением этих противоположных эмоций и настроений питаются основные движущие мотивы его творчества,* причем реалист в Бабеле решительно побеждает мечтателя. В рассказе «Пан Аполек» художник признается: «Я дал тогда обет следовать величественному примеру пана Аполека... И сладость *мечтательной злобы,* горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь *молчаливого и упоительного* мщения — я принес их в жертву новому богу». Величественный же пример Аполека состоял в том, что он, будучи художником-иконописцем, отвернулся от традиционной церковности и начал писать «святотатственные» иконы по польским деревням и местечкам, где натурщиками и натурщицами были окрестные крестьяне, бедняки, голь, проститутки. Их он награждал семейными иконами; в Исусах и Мариях они узнавали себя и поклонялись естеству своему. За право писать так иконы Аполек вел отважную войну с иезуитами и католической церковью. Он же рассказал автору апокрифическую легенду об Исусе, который спал с Деборой, новобрачной, лежавшей в блевотине, так как она не могла перенести брачной ночи с женихом. Позор падал на нее и родителей ее, и Исус, полный сострадания, лег с ней и спас ее от позора.

Обет следовать примеру Аполека Бабель выполняет пока в точности: подобно Аполеку, он в перл создания возводит естество человека, он пишет о правде «бабищ» Арин и Ксений, о правде Афоньки Биды, о торжестве жизни и в моменты смертных боев.

Ибо он знает, что Арины и Ксении — плодоносные производительницы жизни, а в Альфредах «много забавы, но нет серьезности», ибо нужно гордиться естеством человеческим, и в презрении к грубой бабище-жизни, в стремлении создать подобно Иегове из себя замкнутые мирки поистине только «хула и барский гнев» Альфредиков и зрителей без бинокля.

Творчество Бабеля противоположно и враждебно той нашей литературе, которая господствовала в эпоху реакций после 1905 года. Не так давно Зинаида Гиппиус (Антон Крайний) на страницах эсеровских зарубежных «Современных записок» заявила, что, по ее мнению, послеоктябрьские советские писатели являются «непристойными гадами». Вполне понятно: не кто иной, как Мережковский, Гиппиус и Философов, в свое время тащили литературу из языческой, материалистической, атеистической, социалистической «скверны» в горние высоты христианнейшей духовности, пока не ляпнулись сами в ржавое болото белой эмиграции. И теперь у нас еще немало им подобных. В искусстве они прикрываются разговорами о божественном происхождении искусства, о том, что искусство не соприкасается с политикой, что форма самодовлеюща и т. п.

Бабель намеренно берет самые грубые, неотесанные куски жизни; он подчеркивает «вонючее мясо», пишет «о солдатне, пахнущей сырой кровью и человеческим прахом». Такое подчеркивание может быть в известных пределах совершенно необходимо и оправдано как особый художественный прием, но, думается, писатель порой злоупотребляет им, особенно в своих сказках; получается впечатление утрированной грубоватости. Большую умеренность писателю надлежит соблюдать и в использовании для художественных целей «случаев» и «эпизодов», которые нельзя иначе квалифицировать как патологическими в области пола. Такие места, как сон в «Замостье», сюжет рассказа «В щелочку», рассказ о Деборе и Исусе, оставляют привкус патологии. И хотя Бабель осторожен и знает, где надо поставить точку, лучше бы таких мест избегать. Мы далеки от того, чтобы не вводить в искусство тем, считавшихся раньше в мещанских кругах непристойными и безнравственными, но в вопросах пола сейчас следует соблюдать сугубую осторожность, так как у нас здесь много тревожного и ненормального. Старые «устои» рухнули, а новые... они еще все впереди. В быту, в частности в вопросах пола и семьи, мы переживаем что-то вроде перехода от 1917 года к 18-му. Это обстоятельство большинство наших молодых художников не учитывает и плывет по течению.

III

Переходим к «Конармии». Как редактору «Красной нови», в которой печатается Бабель, автору статьи пришлось выслушать ряд самых жестоких упреков от некоторых виднейших военных работников в Красной Армии. Правда, другая часть присутство-

вавших при этих спорах отзывалась о рассказах Бабеля совсем иначе. Писателю ставили в вину, что в его миниатюрах дана не Конная армия, а подлинная махновщина, что местами это пасквили и поклеп на Конармию, что так может писать о нашей армии только белогвардеец и заведомый контрреволюционер и т. д.

Подобные упреки основаны на целом ряде недоразумений. «Конармия» Бабеля не преследует *непосредственно* агитационных целей. О нашей армии писали почти исключительно в митинговом духе. И этот тон был единственный и допустимый в условиях, в которых находилась Республика Советов. Самая тщательная осмотрительность должна сохраняться и по сию пору, но все же относительно мирный период развития дает некоторые возможности и для иного подхода, когда с художника можно требовать не только любви и горячей преданности к Красной Армии, но и художественно правдивого изображения ее. Агитационный подход верно говорил о нашей армии, но он не углублялся, не изучал художественно быта нашей армии. В «Конармии» Бабеля есть такие бытовые подробности, которые раньше освещались мало: разгром раки св. Валента, Кудря, резавший еврея, эскадронная дама Сашка, мстительный Прищепа, баловство «для смеху» казаков над «пешками» в окопах и т. д. Делать отсюда выводы о политической вредоносности рассказов Бабеля, не вводя эти подробности в общее художественное мировосприятие писателя, значит из-за деревьев не видеть леса.

Далее. «Конармия» Бабеля не есть Конармия Буденного. Писатель не имел в виду дать всестороннюю, художественно точную эпопею действительной Конармии, путем выделения основного ее духа и свойств, как это, например, сделал Л. Н. Толстой в «Войне и мире» в отношении к тогдашнему обществу и тогдашней армии. Конармия Бабеля нигде не дерется. Мы не видим ее в боях. Писатель упоминает об атаках, но не показывает их. «По знаку начдива мы пошли в атаку, в незабываемую атаку при Чесниках». И точка. Нет также Конармии как массы, нет этих тысяч вооруженных людей, двигающихся лавами, с особым, ей только свойственным коллективным духом, с психологией, с бытом. У Толстого есть Кутузов, Пьер, Андрей Болконский, но есть и армия в боях, на отдыхе, в наступлении, в отступлении. У Бабеля, в сущности, Конармии нет, она у него атомизирована, рассечена. У Толстого Кутузов и Наполеон, Денисов и Андрей связаны с армией *органически*, в них — ее быт, «стиль», дух и т. д. Герои Бабеля — сами по себе; они в Конармии, но *органически* с ней не связаны. Нет поэтому ничего случайного в том, что Бабель выбрал форму самостоятельных, легко распадающихся фрагментов, числом около 30-ти, как нет случайного в том, что для выполнения своих художественных целей Льву Николаевичу понадобилась четырехтомная эпопея: и тот и другой поставили себе различные художественные задания. Толстой дал син-

тетическую, полную картину русского общества и армии 1812 года снизу доверху, Бабель ограничил себя тем, что из Конной армии выбрал и воссоздал ряд типов, лиц, случаев, для того чтобы с их помощью в образах выразить свое художественное мироощущение. Эти лица, случаи, события он описывал не всесторонне, выделяя типическое, а брал их только с одной какой-нибудь стороны. Толстой действовал прежде всего, хотя и не исключительно, как художник-наблюдатель. Бабель — как импрессионист, хотя у него реалистический глаз наблюдателя силен всюду. Поэтому все указания на то, что в «Конармии» Бабеля нет подлинных коммунистов, сковавших армию пролетарской дисциплиной, что помимо эскадронных дам Сашек в Конармии были иные, и не дамы, и не эскадронные, а товарищи, что армия не показана в боях и т. д., — все эти и подобные указания могут быть верны, или неверны, или отчасти верны, но бьют мимо цели. Люди, ищущие у Бабеля толстовского подхода, предъявляют писателю вексель, который он не подписывал и не выдавал, и требуют от него того, что совсем не входило в его художественные планы.

Что же в таком случае было и есть в этих планах?

Бабель, как это очевидно из его миниатюр, прошел в Конармии суровую и здоровую школу. Конармия научила его ценить правду, истинность, справедливость, непреложность и самоценность бабищи-жизни в противовес мечтательной отвлеченности. Здесь он увидел, что правда Афоньки, Балмашева, Сашки неизмеримо выше правды «зрителей без бинокля», Альфредов и Альфредиков. Скорее всего, в Конармии решился спор между Бабелем — мечтателем и идеалистом и Бабелем-язычником, и не «прелестная и мудрая жизнь пана Аполека» заставила писателя дать обет следовать его примеру и прославить естество человека, а эта немудрая и простая жизнь «солдатни» — Мельникова, Тимошенки, Левки, Афоньки и других.

Типы, изображенные Бабелем в «Конармии», весьма разнообразны, особенны, свежи. Бабель не повторяет пройденного, не твердит задов, не подновляет старого. Он — новатор, он — самостоятелен. Полной пригоршней берет он из виденного и слышанного. Обрисовки Бабеля, повторяем, импрессионистичны, и этого никогда не нужно забывать; он оттеняет одну-две основные черты в типе, в образе, в картине, оставляя остальное в тени, в стороне, неосвещенным, но подчеркивает он всегда четко. Его Долгушовы, Балмашевы памятны. Несмотря, однако, на все разнообразие и неповторяемость, на самобытность и особенность, у всех его персонажей есть общее. Они не случайно попали на страницы «Конармии». Как своеобразно и странно на первый взгляд ведут они себя на одном из самых заостренных фронтов гражданской войны! Чем они живы, о чем думают, какие побудительные мотивы двигают ими, заставляют «геройски рубаться»? Афонька Бида мстит полякам за то, что они у него убили

лошадь; он не знает покоя, пока не добывает у них себе другой доброй лошади, оставив кровавый след в польских деревнях. Командир эскадрона Мельников готов выйти из рядов Коммунистической партии из-за лошади, взятой у него Тимошенкой, в партии он все-таки остается, но Конармию покидает. Политкомиссар Конкин со Спирькой охотится за польским штабом и выдерживает бой с восемью поляками, чтобы добыть барахло «для ребятишек», и при это острит еще: «Помрем за кислый огурец и мировую революцию». На глазах у кучера начдива Левки умирает Шевелев; Левка почти на виду у Шевелева насилует его любовницу Сашку, но всецело поглощен заботой доставить матери Шевелева за Тереком «одежду, сподники, орден за беззаветное геройство». Прищепа огнем и мечом истребляет родную станицу за то, что станичники при белых разграбили его имущество. Эскадронная дама Сашка во время боя занята случкой своей лошади с жеребцом. Семен Курдюков мстит за брата отцу своему и «кончает» его. Эскадроны атакуют поляков, и «великое безмолвие рубки» слышно над полями, а бок о бок идет своя обыденная, торжествующая, немолчная, неугасимая, исконная, древняя жизнь, с жеребцами, с женщинами, с любовью, с барахлом, со сбруей, с полтинниками, с обозами, с ограблением костелов. При чем же здесь социальная революция, коммунизм, III Интернационал, Республика Советов? Новая это армия, революционная или старая, всегда жившая жеребцами, кобылами, маркитантками и барахлом? А между тем художник как будто нарочно заставляет своих героев эту «жеребятину» сопрягать и соединять с коммунизмом и с мировой революцией. Письмо Мельникова о выходе из партии начинается высокопарными словами о задачах Коммунистической партии, и тут же он пишет: «Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян», а в другом письме, к Тимошенко, он шлет ему «вместе с трудящей массой Витебщины пролетарский клич: даешь мировую революцию» и желает, «чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы...» Курдюков путает в письме к матери московскую «Правду», родную беспощадную газету «Красный кавалерист» с рябым кабанчиком и с лошадью Степкой. Балмашев убивает женщину «из винта» во имя блага социальной революции, и есть смысл в остроте Конкина: «Умрем за мировую революцию и кислый огурец», а Афонька Бида зверски издевается над дезертиром-дьяконом как над изменником Республики Советов. Может почудиться, что художник только иронизирует, сопоставляя мировую революцию с «жеребятиной». Но это не так. В письме Мельникова и Тимошенко, в рассказах Конкина и Балмашева, в действиях Афоньки вы чувствуете подлинный революционный пафос, и недаром они «беспощадно рубаются с подлой шляхтой». И «жеребятина» и мировая революция — все это очень серьезно. От коммунизма Афоньки очень далеки, но трудовая жизнь, но про-

шлый панский и барский гнет, война и революция научили их искать своей правды, своей справедливости. О, они совсем не «серая скотинка» старого времени, не идущая дальше «жеребятины»! Их жизнь, их борьба, их смерть окрашены жаждой правды и справедливости на земле. Понимание этой правды — смутное, туманное, отвлеченное, но крепко засевшее в голову. *Они почти все правдоискатели: Сашка Христос, Балмашев, Левка, Мельников, Сашка эскадронная, Афонька, даже Курдюков, даже Крик из «Одесских рассказов», даже Конкин, «обиженный» махновцами. «Сырая кровь солдатни» с их прахом для них совсем не то, от чего стараются с презрением и с «барской хулой» отвернуться надзвездные мечтатели и эстеты, а свое родное, кровное, живое, праведное и непреложное. Белые жеребцы и барахло, сподники и одежда — это ведь человек и жизнь его, и когда закон жизни нарушают, это ощущается как неправда. Тут не тупая жадность и привязанность к вещам, а настоятельное требование восстановить правду жизни. Поэтому белый жеребец фигурирует рядом с Коммунистической партией и Конкин острит о мировой революции и кислом огурце.* В конце концов правдоискательство их отвлеченно не оттого, что лишено конкретности, наоборот, оно все земное, а лишь оттого, что оно смутно, инстинктивно.

Бабель не подкрашивает своих героев. Он рассказывает о погроме костела, о расправах и убийствах, обо всем, что в известных кругах принято называть зверством, хамством, животной тупостью, дикостью. *Но сквозь жестокость, видимую бессмысленность и дикость писатель видит особый смысл, скрытый, правдоискательство.* И эпизод, случай, лицо получают новое освещение. Ни беспредметного зубоскальства, ни легковесной иронии, ни обывательского подхихикивания, ни барского и интеллигентского чистоплюйства нет и в помине. Балмашев Никита в письме в редакцию описывает, как он сначала принял женщину в вагон с ребенком и оберегал ее, как мать, от насилий со стороны товарищей, а когда узнал, что вместо ребенка она везет соль, выбросил ее из вагона и пристрелил:

«И, увидев эту невредимую женщину и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себя кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики» («Соль»).

Прищепа опустошил родную станицу за убийство родителей и за расхищение имущества. Он старательно собрал расхищенное, расставил отбитую мебель в прежнем порядке, а потом сжег все, пристрелил корову и сгинул в Конармии, ибо он искал не мебели, а своей правды. Туп и животен подросток Кикин, сетую-

щий, что ему не дали воспользоваться случаем, когда махновцы насиловали еврейскую девушку Рухлю, но он ищет своей правды, как ни отвратительна она: «Вот народ рассказывает за мохновцев, за их геройство, а мало-мало соли с ними поешь, так вот оно видно, что каждый камень за пазухой держит». То же самое и в других рассказах. Афонька ищет в жестоких расправах утоления своей жажды правды, Левка тоже по-своему справедлив в хлопотах об «исподниках» Шевелева. Мельников ратует во имя поруганной, по его мнению, справедливости. «Коммунистическая партия, — пишет он, — основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых». А вот описание смерти телефониста Долгушова, замечательное по своему столкновению двух миропониманий, одна из лучших страниц в «Конармии».

«Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали. — Я кончусь. Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов строго. Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли по коленям, и *удары сердца были видны*.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что.

— Нет, — ответил я глухо и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь, — пробормотал он, сползая, — беги, гад.

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрей, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело, — что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — я вот не смог.

— *Уйди, — ответил он, бледнея, — убью. Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку.*

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук, — не дури, — и схватил Афоньку за руку» («Смерть Долгушова»).

Здесь каждая подробность содержательна и полна глубокой значительности: строгое, смертное требование Долгушова, не пожелавшего, чтобы шляхта «сделала насмешку», суровая, беспощадная жалость Афоньки, ни на минуту не усомнившегося в том, что надо делать, интеллигентское, жалкое «не могу», растерянность, испарина по всему телу и этот взведенный курок, который готов был спустить Афонька в «очкастого», и его презрение и бешенство! Новым светом освещается фигура Афоньки с его «злым и хищным следом разбоя», с его пониманием справедливости, его жалость. Да, эта самая бабища-жизнь столкнулась с мечтательным, с отрешенным идеализмом и чистоплюйством.

Бабель глубоко заглянул в народную толщу Афонек и там даже под покровом жестокости увидел правду их жизни, непреложной, как роса, воздух, солнце, море, горы. Считать художника близким к какой-то контрреволюции на том основании, что он не дал настоящих коммунистов, значит пройти мимо основного содержания его творчества. Бабель больше наш, чем многие иные, старательно наклеивающие на свои вещи ответственный ярлык коммунизма и пролетарского искусства.

Художник не оправдывает подвигов Прищеп и Афонек, он объясняет средствами и способами, имеющимися в его руках как художника; он следует мудрому завету Спинозы: «Не плакать, не смеяться, а понимать».

Но ведь его Афоньки и Прищепы — махновщина? Не в этом плане нужно рассматривать рассказы Бабеля. Об этом уже говорилось выше. Если же посмотреть на них в этом разрезе, то нужно сказать, что махновщина была одно, а это — другое: крестьянская стихия, плохо ли, хорошо ли, но руководима своеобразными понятиями о социальной революции, о коммунизме. Стихия эта была обращена на потребу и на победу коммунизма.

Здесь говорилось об основном стержне «Конармии». Но, конечно, она цветистей и разнообразней. У нее, как у большого здания, много пристроек, боковушек. Впрочем, многое тут пристройками и назвать нельзя. Бабель сосредоточил внимание на Балмашевых и Афоньках, но у него есть и истинные руководители Конармии, те, кто держал Афонек в узде и дисциплинировал их. Таков Тимошенко в своем ответном письме Мельникову. «Коммунистическая наша партия, — писал он, — есть, товарищ Мельников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутка, а победа или смерть». Сказано прекрасно, и все письмо от строчки до строчки написано о том, как «из железа вытекает кровь». Таков отчасти Мельников, сын рабби Илья, единственный протянувший руку за листовками в беспорядочно отступающей мужицкой толпе. Таков еврейский юноша в очках, командовавший пехотой, составленной из местных крестьян. Буденный и Ворошилов показаны эпизодически. Следует поже-

лать, чтобы художник в следующих миниатюрах усилил свою «Конармию» Тимошенками: они у него удаются не хуже Афонек.

Старое, отживающее и уже отжившее в столкновениях с новым изображено в рассказах «Берестечко», «Рабби», «Гедали». Образ Гедали, талмудиста, мечтающего о «сладкой революции» и IV Интернационале, превосходен: «И я хочу интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории».

Конармия изображена в период польской кампании и обвеяна местечковым, западным пограничным бытом, сложившимся из недружного сожительства польского шляхетства и крестьянства с их костелами, замками Рациборских, приниженным сельским трудом и еврейского отсталого и затхлого мещанства с хасидизмом, пейсами, с традиционными хедерами и субботами, с контрабандой, грязью и нищетой. Этот быт является основным фоном «Конармии».

Еврейское мещанство художник умеет показать. Это он доказал также и «Одесскими рассказами», серия которых, впрочем, еще не закончена и, скорее, только начата. Героем в них является Беня Крик, Король, исторический в некотором роде и многим памятный налетчик Мишка Япончик. Помимо налетов он принимал деятельное участие в самообороне, защищавшей одесских евреев от царских погромов, а позже боролся с белыми и был ими расстрелян. Над «Одесскими рассказами» витает особый дух Молдаванки, странная смесь бандитизма и местечкового мещанства: торговки «тети Песи» «аристократы» и богачи Тартаковские и Эйхенбаумы, раввины и приказчики образуют с бандитами свой мир, с особым бытом, с правилами и этикой. Сам Король — причудливое сочетание этого молдаванского мещанства, бандитской смелости, изумительной изворотливости и ловкости. Писатель и здесь остался верным себе. В налетчике Бене он обнаружил правдоискателя и даже боль «за трудящийся класс». Сквозь шутовскую бандитскую маску, проделки и налеты в соединении с непроходимым мещанством он разглядел истинно человеческие черты борца и протестанта, искривленного, но тянущегося к своей, пусть бандитской, правде. «Одесские рассказы» поэтому вполне соответствуют основным мотивам рассказов Бабеля.

Герои Бабеля всегда в движении, в действии. Бабель прекрасно владеет диалогом. Действующие лица говорят у него своим языком, в диалоге нет литературщины, стилизации. Это не подделка, а настоящее, художественно подлинное, то, чему верят. Беня Крик — один из самых живых, выпуклых и свежих типов у Бабеля. Он, несомненно, крупное художественное открытие, как и Афонька, Балмашев, Мельников, Гедали.

Темой творчества Бабеля является Человек с большой буквы. Человек, под влиянием революции пробудившийся в самых ни-

зовых народных толщах. Диапазон дарования Бабеля чрезвычайно широк. Он одинаково чувствует себя сильным и тогда, когда пишет о Молдаванке, о Бене, о Тартаковском, и тогда, когда изображает Афоньку, Левку, Сашку, Тимошенко, Гедали, пана Аполека. У нас, как, вероятно, и всюду, писатели делятся на национальных и интернациональных. Сейчас у нас национальны Пильняк, Вс. Иванов, Есенин, Сейфуллина, Леонов и др. Понятие «национальный» употребляется здесь не только и не столько как система мировоззрения, политического credo, а как способность в разной обстановке и в инаком культурном быту художественно ориентироваться и питать свой талант. Перенесите Есенина в Америку, он захиреет, увянет и, что важнее всего, ничего там художественного не воспримет и не даст, как это на самом деле и случилось с ним при его «путешествии по европам». С этой точки зрения Бабель — писатель, безусловно, интернациональный. Природа его таланта такова, что он в Америке сможет писать американские рассказы, в Одессе — одесские, в Конармии — конармейские и т. д. В России это качество в среде писателей редкое: наше искусство в этом смысле мало европеизировано. И это свойство очень ценное особливо теперь, ибо национальные рамки давно стали непомерно тесны, ограничены, условны и явно отстают от жизни. Правда, в пролетарской поэзии у нас одно время интернационализм решительно преобладал, но он был головной, программный, отвлеченный, не облеченный в плоть и в кровь конкретной действительности. Бабель конкретен, он не бытовик доброго старого времени, но хорошо знает цену бытовому колориту; быт у него никогда не выдвигается на главное место, но его «аромат» разлит всюду: в Афоньках, в Бене, в диалогах, в описаниях и т. д.

Бабель — очень большая надежда русской современной, советской литературы и уже большое достижение. Дарование его чрезвычайно. Будем надеяться, что он будет достаточно строг к себе, не попадется на легкую удочку первых успехов. Залог тому то, что он не только одарен, но культурен и умен.

Несколько замечаний по поводу последней пьесы Бабеля «Закат». На мой взгляд, это лучшая пьеса за последние годы. Она музыкальна по слову, и в ней есть тот настоящий внутренний драматизм, к которому нас приучил Антон Павлович Чехов. Пьеса окрашена местечковым еврейским бытом Молдаванки, но она отнюдь не бытовая пьеса. Наоборот, тема ее «вечная», библейская тема. Ее очень удачно передает раввин Бен Зхарья в заключительной сцене.

«День есть день, евреи, — говорит он, — вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был всего только сумасброд, Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот Мендель, прихожа-

нин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи».

Мендель, шестидесятидвухлетний старик, переживает свой закат, свой вечер. Он теряет свою мужскую силу, свое хозяйство, он вынужден уступить своим сыновьям, которые насильно отстраняют его от дела. На глазах зрителя он превращается из крепкого, сильного человека в жалкого, дрожащего, умирающего старика. Он не сдается без боя, он судорожно хочет остановить свое полуденное солнце жизни, но... «вечер есть вечер».

В пьесе древняя еврейская печаль смягчается рядом живых остроумных, юмористических сцен. Вся первая сцена блещет таким превосходным и заразительным смехом. Вторая, четвертая, восьмая сцены страшны и написаны крайне целомудренно. Это большой шаг вперед для Бабеля.

Нет в пьесе также пышной изощренности бабелевских новелл, но сохранилась в полной мере скупая, своеобразная и меткая его выразительность. Он умеет одним словом заменять целые страницы описаний: «сплетница, с неистовыми глазами», «тучная старуха с вывороченным боком», у хозяина трактира «безрадостные пыльные волосы разломлены по обеим сторонам лба», два матроса спят, «положив на стол *налитые* плечи», и т. д. У Бабеля нашим невоздержанным на слова писателям следует учиться экономии художественных средств и немногословию.

Замечателен язык пьесы: в нем чувствуешь самого автора с его медлительной речью, с растягиванием и повторением слов и с некоторой приятной и не докучной монотонностью.

Трудности при постановке «Заката» не малые: сцены короткие, в конце четвертой сцены, самой главной, говорит один человек, старик Мендель не произносит ни слова, но самое трудное — передать сценическими средствами аромат пьесы; он тонок, нужно суметь также показать и особенности бабелевского языка.

Пьеса Бабеля «Закат» вновь ставит один чрезвычайно большой для нашей литературы вопрос: хорошо или дурно, что наши наиболее одаренные современные писатели — Бабель, Вс. Иванов, Леонид Леонов — начинают интересоваться «вечными» библейскими темами? Не означает ли это уход от жизни, от общественности, не знаменует ли подобное тяготение рост индивидуалистических настроений? Вообще говоря, в наших марксистских кругах принято думать, что это именно так и есть. Для этого умозаключения есть известные основания. Но всякая истина конкретна. Этого тоже забывать не следует. Наша современная советская литература часто страдает поверхностным и внешним отношением к тому, что она отражает и изображает. Мало

этого: у нас, особенно за последнее время, в избытке расплодились «лирические управделы», чиновники и бюрократы от литературы, достаточно и халтурщиков и людей на все готовых. При *таком* положении дел попытки Бабеля, Вс. Иванова поднять в художестве большие, «вечные» вопросы имеют то положительное значение, что они противопоставляют внешней точке зрения более углубленное, серьезное отношение к жизни в искусстве. Но и здесь, как и во всем, следует сохранять чувство меры. Модное, поверхностно скользящее по жизни произведение недолговечно, но также недолговечно и то художественное произведение, которое пренебрегает современностью, общественностью и старается увести нас в область голых «вечных» тем: нужно уметь сочетать «вечные» темы с современностью. Пока мы еще не научились этого делать. Нет этого сплава и у Бабеля и у Вс. Иванова, но эта проблема ими поставлена, и в этом их большая и несомненная заслуга, если даже оставить в стороне очевидный рост их мастерства. Во всяком случае, Бабель, Вс. Иванов, Леонид Леонов это уже «большая литература». И они не одиноки. И это очень хорошо.

А. Лежнев

И. БАБЕЛЬ

Скупой и осторожный мастер, выдерживающий годами, как вино в подвалах, свои новеллы под спудом. Бабель краток, насыщен, ясен и разителен. Он не похож ни на кого из своих современников. Когда появились первые его рассказы, они поразили неожиданностью своего тембра, своей контрастностью общему тону литературы. Их архитектоническая простота, одно-планность, замкнутость в себе, четкость фразы казались парадоксальными в то время многопланной и шаткой конструкции, господства орнаментальности. Бабель не был похож ни на кого из современников. Но прошел недолгий срок — и современники начинают понемногу походить на Бабеля. Его влияние на литературу становится все более явным. Его можно проследить не только у начинающих писателей. Оно сказывается даже на таких законченных мастерах, как Вс. Иванов, «Смерть Сапеги» которого звучит совсем по-бабелевски. Вино бабелевских рассказов действует крепко и неотразимо.

Контрастность, почти чужеродность Бабеля зависела отчасти от того, что литературные его истоки иные, чем у большинства современных писателей. Там — Лесков, Ремизов, Замятин, Андрей Белый. Здесь — французы: Флобер, Анатоль Франс, Мопассан. Конечно, и Бабель не ушел от лесковского влияния. Об этом свидетельствует его установка на сказ («Иисусов грех»). Но французы решительно перевешивают. «Черный плащ торжест-

венно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими и желтыми пальцами воина». Здесь явственно слышится мелодия французской фразы, торжественной и красочной фразы Флобера. Она сохраняется так, как это бывает в переводах средней руки. Бабель берет эту «переводность», этот недостаток как прием, как принцип, достигая при ее помощи неожиданных эффектов пышности и декоративного великолепия.

Другим стилистическим истоком Бабеля является тот русско-еврейский, одесский жаргон, который введен в литературу еще Юшкевичем. Во владении им Бабель проявил несравненно больше вкуса и меры, чем Юшкевич, у которого жаргон этот обладал этнографической и анекдотической, но не художественной ценностью.

Стилистическое своеобразие Бабеля создается комбинацией русского народного сказа — красноармейского, в который вкраплены иностранные слова газет и воззваний, политические термины и т. д., часто употребленные не к месту и не в своем действительном значении; «бытового» («Иисусов грех») — комбинацией русского сказа с одесским жаргоном и красочной пышностью флоберовской фразы. Красноармейский сказ, язык армий гражданской войны, воспроизведен Бабелем с силой и колоритностью, не имеющими себе равных. Здесь он исключительно оригинален и самобытен. В сущности, немногим менее только самобытен он и в обработке русско-еврейской речи Одессы, хотя она и не введена им первым. Даже и третий компонент его стиля — «переводная» торжественность, идущая от французов, — вовсе не является простым результатом литературного влияния. То, что было как будто чуждо духу русской прозы и что ощущалось как недостаток переводчика, взято Бабелем как принцип конструкции, сделано с «достоинством». Прием употреблен целесообразно и воспринимается как новый.

Для Бабеля характерен маленький рассказ в три-четыре страницы. Он никогда не строится по бытовой схеме. В его основе лежит не ежедневный будничный факт, а почти всегда нечто исключительное: беспримерная жестокость, необычайный романтизм, парадоксальный излом отношений. И этому исключительному, чаще всего жестокому, факту противопоставлена декоративная пышность описания. Писавших о Бабеле остановило прежде всего именно это обстоятельство. Отсюда — выводы о парадоксальности писателя, о его пристрастии к пряной остроте, к красному словцу, о его цинизме. Это неверно. Бабель — не циник. Наоборот. Это человек, уязвленный жестокостью. Он изображает ее так часто потому, что она поразила его на всю жизнь. Бабель знает, что жестокость бывает иногда неизбежна, необходима, а значит, и оправданна. Он такой ее и показывает в

ряде рассказов «Конармии» (например, «Соль»). Но он не может принять это оправдание всем сердцем. И еще раз, и еще раз возвращается к теме жестокости, останавливаясь, как его же Гедали, в горестном недоумении перед ужасной силой ненависти и злобы. «Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой — я так выскажу — от человека только отделаться можно, стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часа, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть».

Не болезненное пристрастие к отвратительным острым сценам движет Бабелем, а внутренняя израненность человека, увидевшего и перенесшего в жизни слишком много жестокого. Ведь автор «Конармии» пережил ребенком ужасный еврейский погром: убийство дедушки Шойла, и раздавленного на щеке голубя, и судороги нервного потрясения. Об этом он рассказал в «Истории голубятни» и в «Первой любви».

Один из критиков-эмигрантов сравнил Бабеля с андреевским Элеазаром, взгляд которого мертвил все, на что он падал. Доля истины здесь есть. Но только доля. Слова Бабеля о жизни, представляющейся ему цветущим лугом, на котором — женщины и кони, не звучат вовсе издевательством. У Бабеля действительно большая любовь ко всему яркому, романтическому, цветущему. И пышность его описаний не служит только для целей контраста, но является и выражением этой любви, этого романтизма. Чистое выражение его мы находим в «Одесских рассказах». «Король» Беня Крик и его сподвижники пленили писателя яркими красками своей жизни, «молдаванским» своим рыцарством, наивным своим великолепием и декоративностью. Пленили как художественный материал. Конечно, нельзя это увлечение художника брать на все 100%. В нем сквозит и заметная ирония. Но все-таки основное в «Одесских рассказах» — это светлый фон, эпическая полнокровность, которая кажется особенно удивительной, когда мы вспоминаем, что, в сущности, Бабель здесь взял почти ту же самую среду, что и Юшкевич. Еврейскому быту — бескрасочному, сухому, абстрактному двойной абстрактностью — города и гетто — Бабель сумел придать эпическую полноту и пышность. Он это делает рядом деталей, вносящих в быт недостающие ему краски, привольность, глубину («Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота»). Он не выдумывает эти подробности. Он лишь отыскивает их, показывает неизвестные, как будто «нетипичные», уголки еврейского быта, города, жизни, изображает их под неожиданным углом зрения. Он первый выходит за пределы еврейского анекдота.

Вяч. Полонский

БАБЕЛЬ

Я подивился искусству живописца,
мрачной его выдумке!

Бабель. Пан Аполек

I

Читаю и перечитываю «Конармию». Удивительная книга, — едва ли не самая яркая за последние десять лет. Она не потускнеет рядом с выдающимися произведениями европейской литературы — так прекрасны иные ее страницы. Меня смущает лишь одна мысль: почему книга называется «Конармия»? Разве в самом деле она написана про походы и подвиги буденовцев? Это было первым недоумением, лишь только я пробежал глазами первые ее страницы.

Она очень не велика, эта книга. В ней 168 страниц, включающих 34 рассказа, острых, как спирт, и цветистых, как драгоценные камни. Первый рассказ называется «Переход через Збруч». Начинается он так:

«Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, — по неувядаемому шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым».

Я предвкушал очарование невиданного зрелища. Я с жадностью читал дальше о пурпурных полях мака, цветущего вокруг, и о полуденном ветре, играющем в желтеющей ржи, о жемчужном тумане березовых рощ и об оранжевом солнце, которое катилось по небу, как отрубленная голова, о нежном свете, который загорается в ущельях туч, и о запахе вчерашней крови прочел я. Я торопливо бежал по строчкам, добежал до заключительной строки, звучавшей торжественно и мрачно. В рассказе оказалось много замечательного, но, к удивлению моему, Конармии в рассказе не было: начдив шесть лишь мелькнул, как сон, и исчез.

«Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь».

Не так много для «Конармии», — подумал и стал читать «Костел в Новограде». С первой же строки автор «отправился... с докладом к военкому, оставшемуся в доме бежавшего ксендза». «Наконец-то я увижу военкома», — думал я. Но время шло, события проходили мимо, рассказ пришел к эффектному концу, а военком не показался; прождали его напрасно. Он прошел тенью где-то в стороне, за кулисами сцены. Я не говорю, что без

военкома было скучно. «Костел в Новограде» оказался превосходным рассказом! В нем не было только Конармии, но зато в приподнятом, патетическом тоне говорилось о пане Ромуальде и о «вкрадчивых соблазнах», обессиливших рассказчика.

«Я вижу тебя отсюда, неверный монах, — в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц».

Все это очень изысканно, — но далеко от Конармии.

Перебрасывая страницу за страницей, вместе с автором «смеясь и ужасаясь», я пришел к заключению, что добрая половина рассказов, вошедших в книгу, суть рассказы не о Конармии. Начдив шесть, которого не нашли мы в «Переходе через Збруч», и военком, которого тщетно ждали в рассказе «Костел в Новограде», и казак Кудря, осторожно зарезавший шпиона в рассказе «Берестечко», и «Пан Аполек», и «Гедали», и «Рабби», и «Сашка Христос» и ряд других — все это связано с Конармией, но это не рассказы о Конармии. Конармия является на сцену, чтобы дать повод для стремительного повествования, охваченного, как рамой, военным эпизодом. Этот прием в поэтике называется обрамлением. Обрамление придает всей книге конармейский характер. Но это только видимость. Конармия не занимает центрального места в книге, хотя большое количество ее страниц действительно изображает труды и дни конницы Буденного. Я выражу свою мысль понятнее, если скажу, что Конармия отразилась в книге, но лишь после того, как прошла сквозь некую призму, быть может исказившую, быть может преобразившую, но во всяком случае отдалившую от реальности те факты действительности, которые наблюдал автор, разделявший с красноармейцами тягости походов.

Я не удивляюсь поэтому резкости, с какой осудил эту книгу вождь той самой Первой Конной, которую будто бы Бабель хотел изобразить в своих новеллах. Буденный, подобно многим, был обманут обманчивым названием: он думал найти верное отражение того, что было, с реальным, отвечавшим действительности, распределением света и тени. Каково же было его разочарование, удивление и, наконец, негодование, когда в «Конармии» он встретил нечто, лишь в отдаленной степени напоминавшее то, что было.

II

Конармия, как рисует ее Бабель, не похожа на Конармию, какую знает мир по ее боевым подвигам. В этом нет еще ничего удивительного: художественное воссоздание действительности может разительно отличаться от действительности. Существо вопроса в том: в чем именно заключены эти отличия? Конармия в

книге Бабеля *обеднена*, а потому извращена по сравнению с действительностью, более широкой, богатой и разнообразной. Я не стану здесь повторять того, что неоднократно говорилось по этому поводу. Автор видел много, а перенес на полотно немногое. Кое-что чрезвычайно существенное для Конармии он отбросил, сгущал краски там, где ему казалось важным, стирая их в местах, где они казались лишними. Оттого-то картина, которую рисует Бабель, не похожа на историческую действительность. Отдельные элементы ее, эпизоды, факты и люди оказались вырванными из действительности; в книге они стали жить самостоятельной жизнью, как настоящая реальность, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. Но таково подлинное искусство: деформируя свои прототипы, извращая их, оно кажется более реальным, чем они; прототипы умирают, искусство остается. С этой стороны справедливы упреки читателей, видящих в «Конармии» реальный и реалистический памятник боевой страды наших славных борцов. Но упреки эти бьют мимо цели. Автор, мне думается, не ставил своей задачей соорудить такой памятник, это во-первых, а во-вторых, упрекая автора в отсутствии того, чего в рассказах нет, недовольные не уничтожают упреками ценности того, что в рассказах есть. А ведь именно то, что есть, и должно быть предметом критических суждений. В таком подходе к рассказам Бабеля (как и ко всяким другим) таится порочность основной посылки. Приняв за доказанное, будто героем новелл, объединенных именем «Конармия», является именно армия Буденного, — читатель требует и упрекает. Но ведь то, что почитается доказанным, нуждается в доказательствах. Ведь буденновской-то армии в «Конармии» нет. В книге есть, конечно, «герой», некий стержень, вокруг которого происходит движение. Но стержень этот — не Конармия. В книге имеется главное действующее лицо. Но лицо это не боец, защищающий Республику Советов. Или, если хотите, он отчасти занимается этим революционным делом. Бежит мимо река жизни, великая борьба и малые дела идут рядом, люди убивают других и погибают сами, совершаются подвиги и злодейства, текут ручьями слезы и кровь, — все течет, все меняется, — лишь этот герой неизменным пребывает на страницах, с первой и до последней. Не о Конармии, а о себе написал эту замечательную книгу человек, прошедший увлекательный и жестокий путь боевой страды. Оттого-то все, что сказал он о Конармии, и все, что ухитрился о ней позабыть, — все это говорит о нем самом, об авторе, о его точке зрения на мир.

III

Стиль Бабеля оригинален. Своеобразие способов выражения отражает, разумеется, своеобразие призмы, сквозь которую видит он мир. Одной из особенностей этой призмы является гиперболизм. Бабель не может без преувеличений. Сравнения его

необычайны. Если на страницах «Конармии» появляется жеребец невиданной» красоты; если на курганах валяются трупы, — трупы эти «чудовищные», а курган «тысячелетний»; заходит речь о сараях — они «неописуемо» мрачные. Все у Бабеля необыкновенно: рессоры на тачанке «небывалые»; ульи «неописуемы», шоссе «неувядаемое»; блеск луны льется с «неиссякаемой» силой; букеты у налетчиков «чудовищные», плечи у них «стальные», глаза «горящие»; стаи птиц в заповедных водах «несметные», рыба плодится там в «непередаваемом» изобилии, и даже грудь у эскадронной дамы Сашки столь «чудовищная», что закидывалась на спину, — так неимоверна эта грудь.

Люди у него говорят с «ужасной» силой или с «необыкновенной» силой, и если в «Солнце Италии» рассказчик хочет придавить рукой оплывший огарок свечи, то делает это с «необыкновенной» задумчивостью, и так далее и так далее.

Все это, разумеется, не случайность. Гиперболизм — особенность духовного зрения Бабеля. Такова его способность видеть мир. Эта особенность сказывается не только в эпитетах, но в характере его пейзажа, в действиях его героев, в самом их характере.

Если Бася из «Одесских рассказов» шьет себе приданое, — по ее раскоряченным «могущественным» коленям ползут «груды» холста, хотя всей этой «груды» хватает на шесть рубашек и шесть панталон, но без «груды» и «могущественных» колен Бабель не может никак, — это для него необходимо как воздух. Он и в самом деле видит все в преувеличенных формах. Когда впервые на его страницах появляется эта самая Бася, дочь «прославленного» налетчика Грача, занимающегося, однако, извозным промыслом, она оказывается «исполинского» роста. Если старухи в рассказе «Отец» купают младенцев, Бабель не может удержаться, что младенцы «жирные» и старухи шлепают их по «сияющим» ягодицам. Все у него небывало, неимоверно, неописуемо, невероятно, как невероятна вся карьера Бени Крика, как невероятен язык Бени, настолько художественно-очаровательный, что его нельзя услышать в действительной жизни. Приподнятая патетика языка, жажда необычайного, пряная красочность описаний, постоянные преувеличения выдают, разумеется, основную черту мировосприятия Бабеля. Это — романтика.

«Одесские рассказы» не кажутся «Одесскими сказками» только потому, что сделаны писателем, обладающим магической силой очарования. Сила художественного внушения (а без способности заражать нет искусства), какою обладает Бабель, исключительна; оттого-то беспрекословно веришь в фантастические похождения одесского налетчика, не сомневаясь в действительности этой нереальной реальности.

В свете романтической призмы становятся понятными лирические отступления Бабеля, экзотическая насыщенность описаний, парадоксальная изощренность фантазии. Можно без труда

подметить случайные признания автора, которые обнаруживают романтическое беспокойство его души:

«По городу слонялась бездомная луна. И я шел с нею вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни». На постое в Будятичах, между боями, валяясь на прелой подстилке среди красноармейцев, он слушает песню эскадронного певца: «Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено». «Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, слепая счастливая баба, клубилось впереди июльским туманом».

Романтичен пейзаж Бабеля, такой странно-стильный, почти театральный, рядом с тачанками, пулеметами и серой солдатской шинелью.

«Обгорелый город — переломленные колонны, врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, — атласного Ромео, — поющего о любви в то время, как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны».

«Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей».

Можно было бы увеличить число примеров, но достаточно напомнить лишь «Пана Аполека», — романтический стиль здесь выражен с яркой законченностью. Романтикой дышат каждая строка описаний, каждая картина Аполека, каждое слово, бросаемое им.

К числу романтических новелл, кроме «Пана Аполека», должны быть отнесены: «Костел в Новограде», «Солнце Италии», «Кладбище в Козине», «Берестечко», «У святого Валента», «Замостье» и, прежде всего и после всего, три миниатюры: «Гедали», «Рабби» и «Сын рабби». Последняя, как концовка, замыкает книгу. Эти три новеллы — самые замечательные произведения романтика Бабеля.

IV

Романтический характер творчества Бабеля не дает, разумеется, никаких оснований для внимания, какое мы этому автору оказываем. Романтика сама по себе не говорит ничего ни за, ни против. Ибо есть романтика и «романтика». Романтика упадка и романтика подъема, романтизм революционный и романтизм, обращающий взоры назад. Интерес Бабеля в том, что он начинает с реакционной романтики, кончает же бурной романтикой революции. А это — существенный успех нашей молодой литературы. Ей не хватает именно романтики, преодоления бытового

реализма, копирующего действительность, неизбежно вырождающегося в натурализм, скучный и мертвый, бескрылый и косный. Нам нужен полнокровный реализм, растущий на нашей земле, питающийся ее соками, но вместе с тем окрыленный тягой к далеким и большим целям. Пафос нашей современности в таком именно устремлении. Сама революция, низвергающая обыденность, романтична по природе. Где борьба — там и романтика. Что именно такого, окрыленного, реализма ищет наш молодой советский читатель — можно заключить по успеху, выпавшему на долю «Цемента» Гладкова. Я не принадлежу к числу тех, кто не замечает некоторых композиционных и стилистических грехов этого большого произведения. Но у «Цемента» есть великолепное достоинство, преодолевающее недостатки: романтика будничного строительства нашей эпохи. Опоэтизировать каждодневный труд, убедительность идеи, восстановить цементный завод, увлечь читателя картиной борьбы на трудовом фронте — это значит преодолеть скучную косность мелких дел, найти в них великое общее, создать романтику буден.

В «Конармии» звучит музыка прошлого — романтика, питающаяся томительными мечтами о невозвратном, но еще громче звучит в ней музыка будущего — романтика борьбы и победы. Это два берега, между которыми пролегает путь Бабеля. Великая роль армии Буденного в литературной (и житейской) истории Бабеля заключалась в том, что «Конармия» была местом, по которому он перешел к нам с «того берега». Оттого так значительны и уместны его романтические новеллы в книге, имя которой «Конармия». Они не близки «Конармии» только при поверхностном знакомстве. На самом деле связь их с военными походами органична. «Гедали», «Рабби» и «Сын рабби», такие чуждые стальному содержанию книги, связаны с нею невидными, но прочными и кровными нитями: «Гедали» — еще целиком на том берегу; «Рабби» — прикоснулся к революции; «Сын рабби» — в революции целиком, соком нервов и кровью сердца.

V

Ни в одном из других произведений Бабеля не звучит так внятно расставание с прошлым, как в рассказе «Гедали». В ритме каждой строки, в подборе слов, в конструкции фраз, в библейской напыщенности диалога звенит уходящая, уплывающая, исчезающая музыка прошлого.

«В субботние кануны, — так начинается «Гедали», — меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха моя в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти

вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!»

«Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых равнодушных стен, старые евреи продают мел, синьку и фитили, — евреи с бородами пророков, с страстными лохмотьями на впалой груди...»

«Вот предо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...»

Лавка Гедали показана лаконично, но с той способностью говорить многое в немногих словах, которая превращает Бабеля в несравненного мастера. Это — почти реальная лавчонка старого еврея, но из-за бытовых мелочей она возникает как символ уходящего еврейства. Старый Гедали изучал когда-то талмуд, любит комментарии Раше и книги Маймонида. Тень прошлого, живой обломок дремучей старины, в дымчатых очках и зеленом сюртуке до полу, в высоком цилиндре, как черная башенка, — он погребен в лавчонке, похожей на коробочку любознательного мальчика. Мальчик вырос и ушел, коробочка сохранилась, а в ней позабытый Гедали. Базар вымер, Гедали остался. «И он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов». Маленький еврей, изучавший талмуд и любящий книги Маймонида, ходит по своей коробочке, потирает белые ручки, щиплет сивую бороденку и беседует. О чем беседует Гедали? О III Интернационале и о великой пролетарской революции, которой он кричит «да», но революция прячется от него и «высылает вперед одну только стрельбу». Он тоже хочет революции, но он хочет сладкой революции, этот маленький Гедали, он хочет Интернационала добрых людей, и он хочет также идти молиться в синагогу, потому, что как же старому еврею быть без синагоги? Гедали не хочет отказаться от синагоги, он хочет признать «сладкий» Интернационал, и еще хочет он, чтобы ему не мешали наслаждаться его собственным граммофоном — так как Гедали любит музыку. Но революция, настоящая, живая, говорит ему:

« — Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция».

Его собеседник, тоже маленький еврей, также изучавший талмуд, любивший когда-то комментарии Раше и книги Маймонида, этот маленький еврей, вместе с Конармией исходивший вдоль и поперек испепеленные войной бескрайние пространства России, подтвердил ему:

« — Она не может не стрелять, Гедали, потому, что она — революция».

И еще сказал он старику:

« — В закрывшиеся глаза не входит солнце, но мы распорем закрывшиеся глаза».

А на вопрос: «Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают?» — «Его кушают с порохом, — ответил он старику, — и приправляют лучшей кровью».

Два еврея, старый и молодой, пошли в разные стороны. Вот повесть об «отцах и детях», рассказанная на трех страницах! Гедали, основатель несбыточного Интернационала, ушел в синагогу молиться. Молодой пошел другой дорогой. Мы встречаем его в новелле «Рабби», где сплелись два враждебных мира. Здесь звучат еще древние слова, как тысячу лет назад. «А за окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном». Из тесной комнаты молодой ушел к себе на вокзал.

«Там на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии, меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

VI

Два мира — умирающий, древний, и новый, мир борьбы, с кровью и порохом, — они живут рядом в этой странной и очаровательной книге. Они отражают друг друга, изредка соприкасаясь, как бы переходя один в другой, застывая в этом противоестественном сплетении. «Гедали» — и «Смерть Долгушова», «Рабби» — и «Эскадронный Трунов» — они не похожи, как день не походит на ночь, как черное не похоже на белое. Тем не менее в книге они показаны рядом, и нельзя было показать их порознь.

«...Помнишь ли ты эту ночь, Василий... — за окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкафа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торами безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...» («Сын рабби»).

Его подобрали на ходу, этого «последнего принца», «потерявшего штаны, переломленного надвое солдатской котомкой». Армии открыли фронт у Ковеля, лавина людей скреблась о подножки уходящего поезда. В них швырнули грудой листовок — и только один протянул за листовкой грязную руку. Его подобрали, и он умер в поезде. Он был партийцем, этот «последний принц», сын чернобыльского цадика. Он любил мать и не мог раньше оставить ее для революции.

« — А теперь, Илья?

— Мать в революции эпизод, — прошептал он, затихая. —

Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт.

— И вы попали в Ковель?

— Я попал в Ковель, — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...»

В сундучке, оставшемся после него, были свалены вместе «мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов».

Какое странное собрание — так удивительно напоминающее книгу, имя которой «Конармия», точно автором ее был Илья Брацлавский. Но Брацлавский умер, а Бабель, «едва вмещающий в древнем теле бури своего воображения», принял «последний вздох» своего брата.

Брат, двойник или «сочиненный» персонаж — нас это не интересует. Мы знаем только, что в «Конармии» так же, как в сундучке Брацлавского, живут рядом «узловатое железо ленинского черепа» и «тусклый шелк портретов Маймонида». Но они жить в мире не могут. «Железо ленинского черепа» отрицает «шелк Маймонида». Маймонид непримирим с Лениным.

VII

Немногочисленные произведения Бабеля, опубликованные за последний год, можно разделить на три цикла: 1) «Одесские рассказы», 2) романтические новеллы «Конармии» о прошлом и 3) конармейские рассказы в той же книге. «Одесские рассказы» представляются нам как бы исходной точкой творческого пути Бабеля. Здесь царит атмосфера самой разнузданной романтики. Автор пленен легендами о головокружительных похождениях рыцарей Молдаванки. Беня Крик, представитель мира романтического, в окружении неустрашимых, живописных, как картинка, бандитов, посрамляет представителей мира мещанского. В этот период рассказы Бабеля далеки от реализма. В них господствует гипербола; язык их прян и насыщен. Они, по существу, невероятны. В них имеется зерно действительности, — но события утрированы, деформированы. Только магия искусства, делающая и невозможное возможным, заставляет читателя не замечать «чарования вымыслов».

Романтика «Одесских рассказов» своеобразна. Она родилась в еврейском предместье большого города: в нищем быту мелких торговцев, ремесленников и бедноты, где так сладки мечты о смелости, об отваге, о широком жесте. Ведь только здесь, в гнез-

де скорби и унижения, могли родиться «сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества», огонь молчаливого и упоительного мщения. В этом смысле в Бене Крике есть что-то «бабелевское». Потому что какой же Беня Крик — бандит: ведь это герой, рыцарь, мститель за поруганную честь, это почти миф, сладостная легенда, — недаром само солнце встает над его головой, как часовой с ружьем! Теперь нет уже того местечкового еврейства, мечты которого опоэтизировал Бабель. Но если бы оно было — с каким восторгом читались бы там эти «Одесские рассказы», дававшие выход мечтательной злобе и горькому презрению. Ведь в «Одесских рассказах», кроме Бени Крика, действуют еще его антиподы: «господин пристав» — олицетворение страшной «железной пяты» — и Тартаковский — такое же олицетворение «капитала». Деньги и власть — вот с какими врагами ведет победоносную борьбу налетчик Беня Крик. Власть, жестокая, могучая, перед которой мелкой дрожью дрожал бедный еврей, — власть, где же сила твоя? Ведь Беня Крик на страницах этого своеобразного эпоса ведет постоянное наступление и побеждает! Беня победил, «господин пристав» посрамлен!

Для современного читателя «господин пристав» — это пустячки, даже вместе с околоточным надзирателем! Но пусть спросит он об этом старого провинциального еврея. «Господин пристав» — всемогущ, как царь. А околоточный надзиратель — перед ним сам господь бог склонил свою голову. В том-то ведь и заключен общественный смысл легенды о Бене Крике, что Беня смело идет против «господина пристава», бросает ему вызов, издевается над ним, под незримые аплодисменты восхищенной Молдаванки. Ведь это она, обиженная и притаившаяся, устами Бабеля прокричала о себе миру, о тоске своего местечкового бытия, о сладости злобы, которая может быть только мечтательной. Если этого не понять — ничего нельзя понять в «Одесских рассказах» и героическом облике доброго вора, неустрашимого рыцаря, защитника бедных, гонителя богатых. Как великолепен Беня Крик, когда на горящей улице бесстрашно отдает приставу честь по-военному и говорит сочувственно:

« — Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, что вы скажете на это несчастье! Это же кошмар!..»

Что из того, что это мечты! Мечтами преодолевался мир, где еврейский мальчик с бьющимся сердцем обходил за версту господина пристава, который так велик, что может устроить погром — и ему за это ничего не будет.

Мир был «мал и ужасен» и походил на «длинный детский сон отчаяния». Об этом нам рассказал Бабель в «Истории моей голубятни». Здесь рождалась потребность в романтическом преодолении его. В данном случае это вполне соответствовало мещанскому естеству местечкового еврейства. *Романтическое* преодо-

ление «ужасного мира» — путь слабых. Пролетариат не искал и не мог искать забвения в «чаровании красных вымыслов». И «злоба» пролетариата не могла быть «мечтательной». Он стремился преодолеть «ужасный мир» не силой мечты, а разрушением его, в порядке не романтическом, а реальном. Здесь лежит основная черта пролетарской романтики. Но у мещанства нет сил, нет и веры в победу. Его терзают страх и испуг — оттого-то бросается он в мир мечты, чтобы из «длинного сна отчаяния» впасть в «длинный сон» радости. Печать этой мещанской, сентиментальной романтики и лежит на «Одесских рассказах». Ее корни — в протестующей мечтательности еврейского мальчика, которого когтями взяла за сердце жизнь, сурово и без жалости. Она обернулась к нему таким страшным ликом, что даже сейчас, когда «детский сон отчаяния» кажется далеким сном, — даже сейчас он не может освободиться от ее гнетущих черт.

В Бабеле есть кое-что от Достоевского, от его мучительства, от сладостей самоистязания, от безжалостного экспериментаторства над душой человека. Подобно Достоевскому, такой на него не похожий, Бабель задумывается над оправданием мирового зла. Пародией именно на Достоевского мне представляется замечательный рассказ «Иисусов грех». Достоевский искал оправдания зла в боге. Вот как отвечает на это Бабель:

« — А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут спаситель.

— Околоточный, небось, потащит, — отвечает Арина.

— Околоточный, — поник головою господь, — я об ём не подумал. Слышь, а ежели тебе в чистоте пожить?

— Четыре-то года? — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо. У тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи».

У господа навертывается на щеки румянец; посрамленный, он смолкает. Иначе ведь и быть не могло: Арина, которой «ни свету, ни выходу», обратилась не по адресу.

«Перед тем как родить, потому что время три месяца уже отчеканило, вышла Арина на черный двор, за дворницкую, подняла свой громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ём, ровно горох. И что это такое — не пойму. И понять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, что я это с тобой исделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, — отвечает ему Арина, — нету».

VIII

Но если не в боге оправдание зла и не в романтическом преодолении его, то где же подлинные пути для разрешения этого вопроса вопросов?

«Конармия» оказалась тем чистилищем, где вопрос получил уже не романтическое разрешение. Тут-то и появляется Бабель, которого мы знаем. В зареве гражданской войны, где эскадронный Трунов расстреливает пленного; где Долгушов приподнимает рубаху и делается видным биение его сердца в развороченной груди; где папаша «режет» сына, а другой сын «кончает папашу»; где надо быть бесчеловечным, чтобы разбудить человечность; где жалость — убивает; где валяются трупы и льется кровь; где нет слез, потому что они выплаканы; где героизм сопутствует жестокости, а над слезами и кровью вьется великое знамя борьбы за человека и человечность, — именно здесь, среди противоречий, в крови и дыму, умирает мечтательный романтик и рождается попутчик пролетарской революции. Книга о «Конармии» и есть повесть о том, как великая и суровая эпоха переплавила мещанскую романтику в романтику революции.

«Конармия» показывает извилистый и трудный путь, каким ее главное действующее лицо пришло к Ленину от Маймонида.

Назовите мне еще одного буржуазного интеллигента, который по доброй воле, потому что «хочется», прошел сквозь гражданскую войну так, как это сделал Бабель. Мелкобуржуазная интеллигенция отшатнулась от пролетарской революции, клеймя ее за кровь и жестокость. Бабель отбросил интеллигентское чистоплюйство. Правда, ему это сделать было легче, чем другим: мир, который разрушала революция, был его врагом. Революция — вот где разгорался огонь молчаливого и упоительного мщения. Бабель не мог отказаться от сладости уже не в мечтах, а на деле разрушать его. Остаться «вне схватки» Бабель не захотел или не смог. Он оказался среди буденновцев.

«Конармия» была для Бабеля той мифической рекой, из которой он вышел возрожденным. Романтизм, становившийся назойливым, однообразная бедность материала, пряность языка, преувеличения, начинавшие приедаться, — все это исчезло. Новая тематика, новые впечатления, новая точка зрения на мир придали некоторую суровость языку, оставив цветистость сравнений. Романтизм как господствующее настроение отошел в сторону, уступив место реализму, острому, крепкому, четкому. От былой романтики остались лишь пафос, приподнятость тона, эффектные сравнения, гиперболизм эпитетов, изысканность языка да лирические отступления. Все это пришлось очень «кстати» в новых его вещах. Все это и придает особую прелесть «Конармии», которая ведь «этап» на творческом пути нашего автора. Книга еще лишена цельности. Она двойственна: в ней борются романтик и реалист. Бабель — друг Гедали и Бабель — соратник

Афоньки Биды; философствующий о хасидизме интеллигент и сотрудник газеты «Красный кавалерист»; Бабель, хранящий памятки еврейского поэта, и Бабель с мандатом агитатора; Бабель, любующийся портретом Маймонида, и Бабель, повесивший у себя портрет Ленина; Бабель, повторяющий строфы «Песни песней», и Бабель, вкладывающий патроны в обоймы своего нагана. Здесь два Бабеля, — оттого в книге два стиля, два мира, две эпохи. Один мир утверждает: все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. Другой говорит: «мать в революции — эпизод», т. е. другими словами: революция — выше матери, больше, чем мать, революция и есть настоящая мать.

В прославленной революции — над бренностью всего остального — пафос «Конармии». Несмотря на то что Бабель, как соглядатай, подсмотрел в ней самое жестокое, кровавое и беспощадное, он не походит на библейского Хама, посмеявшегося над наготой отца своего. Даже дегенерат Кикин и угрюмый кретин Курдюков, даже Прищепа с кровавой печатью его подошв и много других, свирепых и жестоких, — даже они — не хула на революцию. Не потому ли Бабель сгущал краски, чтобы в своих глазах оправдать ее? Не потому ли он делает ее такой горькой, чтобы испытать силу своей решимости идти до конца? Бабель когда-то вместе с Гедали думал, что революция — это же удовольствие!.. «Хорошие дела делает хороший человек, — размышлял Гедали. — Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди». Бабель в свое время не мог не согласиться с Гедали. Он пошел в революцию и смотрел, как ее «кушают с порохом». Он увидел, что революцию делают хорошие люди, что ее делают также злые люди, но все-таки революция — хорошее дело, революция — все-таки «это же удовольствие», и ошибка Гедали заключалась в том, что он хотел революции «сладкой», когда она для него не могла не быть горькой. Но оттого, что горькая, она не делается плохой. Не походит ли Гедали на бородатого ребенка, вздумавшего лечить человечество леденцами?

Не следует думать, что путь Бабеля был прямым, как полет вороны. Он был зигзагообразен и не прям, он был кривым и запутанным, — таков вообще путь человека, который плутал: даже найдя дорогу, он не всегда верит, что она «та самая».

Если Бабель создал «Конармию», то, с другой стороны, именно «Конармия» создала нынешнего Бабеля. «Одесские рассказы» неизмеримо слабее конармейских новелл. Легенды о Бене Крике родились в крошечном мирке, в той самой «коробочке», где, задыхаясь, умирает Гедали. Бабель разделил бы его судьбу: его задушили бы «Шелковые ремни дымчатых глаз». Художник зачах бы без того света, ветра и солнца, которые глотал он в годы гражданской войны. В эти годы Бабель нашел настоящую тематику для своего дарования, а без тематики «Конармии», без опыта, вынесенного из скитаний с казаками, среди стихов, фи-

лактерий и портянок, на развалинах сел и городов, в окружении тифозных и умирающих, расстрелянных и изнасилованных, растоптанных и повешенных, — без такой тематики не было бы Бабеля. «Конармия» дала ему материал поистине драгоценный: то были слезы и кровь. Но, как всякая драгоценность, он давался дорогой ценой.

IX

В новелле «Замостье» в дождливую ночь, когда «над землей летели ветер и тьма» и «звезды были задушены раздувшимися чернилами туч», — в тишине слышно было «отдаленное дуновение стона».

« — Бьют кого-то, — сказал я, — кого это бьют?

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу. Конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..»

Ищет «человека» и автор «Конармии». Оттого так пристален его интерес к отдельной личности. В книге, названной собирательным именем, нет массы. Автор рассматривает людей порознь, поодиночке. Не случайно наиболее замечательные вещи озаглавлены: «Афонька Бида», «Начальник конзапаса», «Смерть Долгушова», «Комбриг два», «Сашка Христос», «Конкин», «Прищепа», «Эскадронный Трунов», «Рабби», «Гедали», «Сын рабби», «Вдова» и т. д. Повествование связано у Бабеля с отдельным человеком, которого он поворачивает во все стороны, рассматривает, изучает. Бабель жадно любопытен к человеку и человеческой судьбе, обязательно страшной и жестокой судьбе человека. Перебросьте страницы, просмотрите рассказы со стороны их тематики, подсчитайте убийства и насилия — можно прийти в ужас: так их непропорционально много в этой небольшой книжке. И просто непонятно, почему т. Г. Горбачеву, автору очень интересной и ценной статьи о Бабеле, кажется, будто новеллы Бабеля «*обычно* возбуждают смех». Бабель — юмористический писатель! — вот заключение, поразительное по своей случайности. Жестокость чаще всего привлекает внимание Бабеля. Какая тут юмористика, если запах «сырой крови» — обычный запах на страницах «Конармии». В обилии ужасов, нагроможденных в книжке, сказался боевой дух гражданской войны. Здесь просвечивает подлинная беспощадность революции, не знающая ни отца, ни матери, все приносящая в жертву борьбе.

У Бабеля беспощадность подчеркнута, потому что революция

предстала ему в виде мстительной, испепеляющей стихии. Он увидел ее с *«одного боку»*. Подобно Гедали, мечтал он о сладкой революции. Но когда дотронулся до ее роз — они кололи в кровь. Он мог вновь уйти к тусклым шелкам Маймонида, но не захотел — оттого-то путь его тернист и кровав, но какая цена попутчику революции, который без боли срывает ее розы? О, если бы революция в самом деле была подобна кондитерскому пирогу, — весь мир мгновенно сделался бы ее попутчиком — и как славили бы ее буржуазные певцы и художники! Но революция сладка только тем, кто, теряя в ней цепи, приобретал все. Она сладка пролетариату и горька буржуазии. Но ведь Бабель пришел не из гущи рабочего класса, а из мелкобуржуазного, провинциального еврейства — и как много должен был он стряхнуть с себя, чтобы перейти на наш берег. Естественно, что прежде чем почувствовать сладость революции, он вкусил ее горечь, — недаром он учил, что революцию кушают с порохом. Бабель шел в революцию с открытыми глазами: заранее дав себе слово ничему не ужасаться, выпить чашу до дна, и что ж тут удивительного, если новеллы его на вкус горьки?

Но вот что достойно внимания: рисуя мучителей, Бабель знает, что они каждую минуту превращаются в мучеников. Жестокость идет рука об руку с состраданием. Существа, лишенные человеческого образа, сменяются образами подлинной человечности. Героизм и сострадание так же просты и обыденны, как холодная жестокость. Они идут рядом — жестокость и героизм.

X

Тематике Бабеля, исключительной по силе, соответствуют качества его как рассказчика. По искусству лаконически развертывать сюжет Бабель не имеет равного в современной литературе. В его новеллах нет ничего равного в современной литературе. В его новеллах нет ничего лишнего; из них нельзя выбросить ни полслова. Сердцевину новеллы всегда составляют какое-нибудь яркое событие, из ряда вон выходящее происшествие, необычный поступок, драматическое положение. Момент высшего напряжения прибрегается к концу и обнаруживается неожиданно и эффектно. Бабель руководится желанием дать материал так, чтобы он воспринимался свежо, — отсюда разнообразие его композиционных схем. Заострить восприятие читателя, вонзиться в его сознание, схватить читателя «за тело, за глотку, за волосы», т. е. подойти вплотную, — этого достигает Бабель с помощью приема, который является, пожалуй, самым для него характерным, — приемом контраста.

Виктор Шкловский заметил как-то, что смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит о звездах и триппере. Это не так или не совсем так. Бабель «ужасается», когда

говорит о пустяках, и «смеется», когда говорит об ужасах. Он спокоен, когда надо волноваться, и говорит ледяным тоном, когда волос становится дыбом. Так спокоен он в «Переходе через Збруч», и весь эффект этого замороженного повествования обрушивается неожиданно на читателя в последних строках, когда еврейка снимает одеяло с «заснувшего» ее папаши. «Мертвый старик лежал там, закинувшись навзничь, глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца». И только в словах еврейки, говорящей о том, как поляки резали его, а он молился им: «убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видала, как я умру», — только в ее словах подчеркивает автор «ужасающую силу». Окаменелое спокойствие перед лицом ужаса составляет существо бабелевского приема. Оттого так потрясают «простотой» наиболее страшные сцены «Конармии».

«И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился...

— А теперь, папаша, мы будем вас кончать», — говорит Сенька отцу.

Этим приемом построено все письмо Курдюкова. Не в одной лишь языковой изощренности причина его силы. Тот же прием мы найдем в большинстве бабелевских новелл. Искусное пользование им позволяет автору приблизить к читателю предмет изображения, сделать его осязаемым — дать почувствовать на ощупь, до последнего волоска, до иллюзии. Все это можно охарактеризовать как стремление к предельной выразительности. Если можно говорить о русском экспрессионизме, — Бабель наиболее яркий его представитель. Если попытаться самым общим словом охарактеризовать особенность его произведений, — этим словом будет экспрессивность, предельная заостренность, максимальная яркость. Образы Бабеля осязаемы до иллюзорности. Нельзя забыть труп Трунова и «рот его, набитый разломанными зубами». Столь же незабываем облик казачки, магически оживленной полнокровной, плотской образностью: «Она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке». Телесность вообще характерна для бабелевской образности. «Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мехом хлебов». Кто не знает призрачность снов, их зыбкую эфемерность? Но приходит Бабель и рассказывает нам, как сидел он и дремал, а «сны прыгали вокруг, как котята». Не странно ли — сон делался пушистым, мягким и теплым. Это сравнение неожиданное, — но в этой неожиданности его сила. Таковы почти все образы Бабеля. Они биологичны, физиологичны, животны. От этой животности, от биологии и эротика Бабеля — какая-то первозданная, человеко-звериная.

Человеческая мысль, как правило, предпочитает двигаться по проторенным путям, по гладко укатанной дороге. Закон эко-

номии сил и средств заставляет людей идти по путям наименьшего сопротивления. Но если бы этот закон сделался господствующим в искусстве — развитие искусства остановилось бы. Бабель, как большой художник, предпочитает ходить трудными путями — напрямик, игнорируя истоптанные тропы. Отсюда смелость его сравнений и неожиданность образов.

Сравнения, восхитительные по своей дерзкой необычности, рассыпаны по его страницам. Только Бабель дает понять, как может «отвратительно» *сиять* чудовищная, розовая опухоль. Он оживляет образ, открывая в нем новые и неожиданные черты. «Тело Сашки, *цветущее и вонючее*, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги, ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги...» Биологичность, рубенсовская насыщенность, противоречивые (по контрасту) эпитеты создают осязательность образа. В сознание наше въелось представление об эстетическом безобразии погромщика. Но приходит Бабель, который лучше чем кто другой знает, что такое погром, и мы с изумлением видим, «как по переулку пробежала женщина с распалившимся *прекрасным* лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым, отчаянным голосом созывала она потерявшихся детей. Шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившегося за ней на кресле». Эта женщина — погромщица. И другого погромщика встречаем мы у Бабеля. «Он разбивал ее (раму) деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны *доброй* улыбкой опьянения, пота и *душевной силы*. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева».

Здесь «контрастность» наименее убедительна, может быть, потому, что дерзость мастера дошла до предела. Но бесстрашие, привычку ходить по непроторенным путям следует рекомендовать всякому художнику. Если «смелость» — закон революции, в такой же мере этот закон присущ и искусству. Там, где нет отважной готовности прорвать фронт привычных представлений, где нет попыток вырваться из плена канонов и заштампованных форм, — там нет движения искусства. Оно живет, когда идет вперед; где нет шага вперед; есть шаг назад. Опасность не только в перепевах предшественников и сверстников; опасны перепевы самого себя. У Бабеля остро чувство и этой опасности: оттого он пристрастен к неповторимому. Это можно заметить в разнообразии композиционных приемов и в богатстве образной трактовки какого-нибудь явления. Я приведу один пример этого постоянного нахождения новых и новых сравнений, с помощью которого луна, многократно захватанная и оттого потускневшая, приобретает свежий блеск на его страницах.

«*Мглистая* луна шлялась по небу, как побирушка». «И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, наверху, как *дерзкая заноза*». «Над прудом взошла

луна, *зеленая, как ящерица*». «Луна висела уже над двором, как *дешевая серьга*». «По городу слонялась *бездомная луна*». «Все убито тишиной, только луна, обхватив синими руками свою *круглую, блестящую, беспечную голову*, бродяжит под окном». «Луна прыгала в черных тучах, как *заблудившийся теленок*».

Достойны внимания не только многообразие и свежесть восприятий. Неразрывна связь конкретного образа с конкретным повествованием. Луна может висеть, как «дешевая серьга», только в рассказе «Мой первый гусь» — и ни в каком другом. Мглистая луна может «шляться по небу, как побирушка», именно в рассказе «Вдова». Здесь образы «луны» связаны с характером, стилем повествования. Луна «зеленая, как ящерица» — в рассказе «Берестечко» — органически связана с романтическим пейзажем, в центре которого — древний замок графов Рациборских, а вокруг замка «луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек». Появление здесь луны в образе «побирушки», или «дешевой серьги», или «прыгающего теленка» — немыслимо. Тут вскрывается глубочайшая, органическая связь каждого отдельного образа Бабеля со стилем повествования, с особенностями пейзажа. На этой детали, лишь мимоходом отмечаемой нами, можно видеть, как тщательно проработаны новеллы Бабеля, на первый взгляд простые и незамысловатые. Но это — та самая простота, которая дается талантам после большого труда. Ее по справедливости называют великой.

Насколько значительно его мастерство, можно заключить по тому, как выполнена в «Конармии» самая трудная задача: дать представление о боях. В «Конармии» боев нет, т. е. они не проходят перед глазами читателя. Тем не менее — ощущение происходящей битвы живет непрерывно. Но это — иллюзия, достигнутая весьма тонкими средствами. Вот как рисует Бабель штыковую атаку: «Ура смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки».

«Великое безмолвие рубки», — а ведь звучней канонады.

Припомните, как воссоздаются сражения нашими баталистами. Сколько шуму! Сколько крови! Назойливо та-та-такают пулеметы, трещат (трещат!) ружейные выстрелы. Читатель обычно перебрасывает трескучие страницы. У Бабеля есть одна строка, от которой вздрагиваешь: «У Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел». Ведь до чего это просто, а как выразительно! Не оттого ли вздрагиваешь, что это выстрел, в самом деле прозвучавший на страницах, но с помощью художественных средств?

XI

Мои заметки не должны быть поняты как дифирамбы писателю. Не менее чем кто-нибудь другой я знаю недостаточную «критичность» нашей критики. Она нередко бранит несправедливо. Еще менее справедливо хвалит, частенько перехваливает.

Литература наша страдает не столько от критической придирчивости, сколько от некритического добродушия. А ведь критика добродушная, хвалебная, дружеская (о недобросовестной я не говорю) более вредна, чем полезна. Критика злая, недружелюбная скорее полезна, чем вредна. Есть доля правды в безоглядной решимости Писарева бить направо и налево: не в самом ли деле: что выдержит — то хорошо, что разлетится в прах — туда ему и дорога! Ведь если кое-что «разлетится» — не будет ли это освобождение литературы от суррогатов, от псевдолитературы, от калек и убогих, которые, как без костылей, не могут жить без дружеских похвал? Неужто настоящая литература нуждается в протезах?

Потому-то я лично предпочитаю критику нелицеприятную и жестокую. Правда, от нее проиграет иной литератор, зато выиграет литература. Но кто сказал, что критика служит не литературе, а литераторам?

Если, говоря о Бабеле, я много места уделил характеристике его положительных качеств, то потому, что он это в самом деле заслужил. Дарованием Бабель обладает редким. Мастерство его выдающееся. Не признать этого — никак невозможно. Но такое признание не означает, что Бабель как художник непогрешим.

Блеск его произведений мешает, разумеется, заметить их недостатки. Бабель ослепляет и увлекает, а между тем он нередко балансирует на краю пропасти: вот-вот сорвется. От великого до смешного — один шаг. Нередко при чтении его новелл испытываешь боязнь за автора. Его романтический пафос, изысканная книжность, древняя культура, «бури его воображения» — все это иногда перехлестывает через край. Отсюда грозящие ему опасности: холодная патетика, изысканная красивость, олеографичность. Эти опасности есть, и о них не следует забывать.

Когда ночь окутывает Левку, как «нимбом», — не слишком ли это эстетно? «И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы», — ведь это стиль незабвенного Аркадия Кирсанова, напыщенный стиль человека, любящего поглядывать в зеркало. «Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана», — все эти «изыски» не могут скрыть натянутости сравнений. Бывает, эстетическая ужимка понравится Бабелю, — тогда мы с удивлением читаем, как он не просто пил чай и кушал печенье у пани Элизы, но «насладился пищей иезуитов». Когда на Бабеля нападает такой стих, — его удивительный язык делается витиеватым и манерным. «Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия».

В стремлении насытить образ до осязательности Бабель иногда перегружает его, и образ никнет, как перезрелый плод. В такие неудачные минуты батько Махно пропускает «сквозь гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки». «Змея ус-

мешки» — это неплохо. Но когда змея делается длинной и пропускается *сквозь гнилые зубы*, — она умирает.

Вот такие именно срывы и манерность я имел в виду, когда говорил о пропасти. Только балансируя на краю, можно уверять, будто в «обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров».

В композиции новелл Бабеля, в уплотненной конструкции фразы, в стремительном развертывании сюжета, в расчетливом пользовании контрастами чувствуется необычайная воля художника. Архитектура — точнейшее из искусств. Это не мешает, однако, лиризму, стихии, всегда стремящейся выйти из берегов, разрывать иногда железо его воли.

«О, Гельсингфорс, — любовь моего сердца! О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица».

«О, Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом».

«О, распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов...»

Здесь лирика беспокоит, как красивая, но назойливая муха.

Можно найти недочеты и в композиционных приемах Бабеля. Стремление к необычайному эпизоду не раз вызывало упреки, что Бабелю грозит анекдот. Доля правды в этих упреках есть: неловкое движение, какой-нибудь перегиб — и значительная вещь может превратиться в рассказ для эстрады. Просто непонятно, как «эстрадники» не заметили «Измены»: «Измена» — граничит с анекдотом, переходит в анекдот; здесь нарушены пропорции, неуравновешены свет и тени. В результате «забавная штучка». А какой же забавник Бабель!

XII

К счастью, недостатки у Бабеля мелки, достоинства — велики.

Он, кроме того, молод как писатель, хотя первые его вещи напечатаны в «Летописи» в 1915 году. «По-настоящему» писать он стал лишь после гражданской войны. Значительная часть новелл, составивших «Конармию», написана в 1920 году, а напечатана совсем недавно. Это значит, что Бабель не спешит публиковать свои работы. Из современных художников — он наиболее ревнивый, заботливый, скупой мастер. Есть в нем что-то от старых гранильщиков драгоценных камней или оптических стекол. Дальний потомок Боруха Спинозы — он не случайно вспоминает однажды «мощный лоб» философа.

Медлителен Бабель не только потому, что — гранильщик алмазов — он не хочет спешить: труд его кропотлив и нескор. Но алмазы-то, кроме того, не валяются на улице. Бабель долго шли-

фует материал, еще дольше его ищет. Пресный материал ему чужд. «Конармия» была для него Калифорнией. В годы гражданской войны он пригоршнями на каждом шагу черпал самую острую тематику. Но войны больше нет, посохли слезы и кровь, и редок нынче случай, когда можно полюбопытствовать, «как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз». А когда под рукой у Бабеля нет драгоценного материала, — даже его изысканное мастерство не придает блеска простому стеклу. Оттого так слаба новелла «Ты проморгал, капитан». Столь же бесцветен «Конец св. Ипатия». Поставив рядом с этими стеклянными безделушками такие вещи, как «У батьки нашего Махно» или «Шевелева», — или любую вещь из «конармейской» цепи новелл, — можно увидеть, какое огромное значение имеет для Бабеля материал, из которого сделаны его произведения.

Про Гюстава Курбе рассказывают, будто он не искал эффектных пейзажей: писал то, что перед глазами; Бабель противоположен Курбе: он не довольствуется тем, что под рукой, ему нужен материал не простой, а особенный, небывалый, исключительный. Чем драгоценней *сам по себе материал*, тем прекрасней будет произведение. Не потому ли после гражданской войны Бабель написал так мало? А то, что написал, — «История моей голубятни» и «Первая любовь», — автобиографично. Но и в этом материале, почерпнутом из детских лет, мы находим те же слезы и кровь, послужившие «Конармии». О киносценарии из «Одесских рассказов» говорить не хочу. Это сосуд, из которого вылито вино.

Трудно сказать, какой зигзаг сделает Бабель завтра. Он весь в будущем. Но мне думается, что путь Бабеля лежит не в возврате к материалу, оставленному позади. «Одесские рассказы», так же как и «тусклые шелка Маймонида» и старые очарования Библии вместе с библейской изысканностью речи в творчестве Бабеля, — пройденный этап. Все это музыка прошлого, к которой возвращаться нет необходимости.

* * *

В советской литературе Бабель по праву занял выдающееся положение. Самое существование «Конармии» является одним из факторов, определяющих развитие литературного искусства. Манера Бабеля, виртуозное владение языком, его художественные приемы, лаконизм, стремительный темп его вещей — отразили не только степень индивидуального уменья и таланта. В быстроте его повествования, в насыщенности изложения, в необыкновенной уплотненности художественной ткани отразился темп нашей индустриальной эпохи, с телефоном, радио, кино, авиацией. Бабель — дитя городской культуры, и его произведе-

ния по методам воплощения являются лучшими образцами литературы современного индустриального города. Бабель установил рекорд литературного мастерства, рядом с которым немыслимо существование «кислого теста» повестей, неторопливых, как арба, и пузатых, как старый комод. В этом смысле автор «Конармии» подслушал пульс своего времени, и здесь у него есть чему поучиться.

1927

С. Буденный

БАБИЗМ БАБЕЛЯ ИЗ «КРАСНОЙ НОВИ»

По́д громким, явно спекулятивным названием: «Из книги Конармия», незадачливый автор попытался изобразить быт, уклад и традиции 1-й Конной Армии в страдную пору ее героической борьбы на польском и других фронтах.

Для того, чтобы описать героическую, небывалую еще в истории человеческую борьбу классов, нужно прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, т. е. быть диалектиком, быть марксистом-художником.

Ни того, ни другого у автора нет.

Поэтому для него неважно, как и почему и за что сражалась, будучи величайшим орудием классовой борьбы, 1-я Конная Красная Армия. Несмотря на то, что автор находился в рядах славной Конной Армии, хотя и в тылу, он не заметил, и это прошло мимо его ушей, глаз и понимания, ни ее героической борьбы, ни ее страшных нечеловеческих страданий и лишений. Будучи от природы мелкотравчатым и идеологически чуждым нам, он не заметил ее гигантского размаха борьбы.

Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет.

Громкое название автору, очевидно, понадобилось на то, чтобы ошеломить читателя, заставить его поверить в старые сказки, что наша революция делалась не классом, выросшим до понимания своих классовых интересов и непосредственной борьбы за власть, а кучкой бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших эту власть.

Примечание. Охотно предоставляя место ценной заметке вождя Красной Конницы, — редакция предполагает в ближайшее время подробно осветить вопрос о творчестве Бабеля. — *Редакция журнала «Октябрь».*

Это старая песня господ Сувориных, Милюковых, Деникиных и пр., которые в свое время до хрипоты кричали, писали и шипели по поводу грубо-оголтелого, вонючего, ненавистного им мужичья, но которые поняли глупость и перестали.

Меня не это удивляет, меня удивляет то, что как мог наш советский художественно-публицистический журнал, с ответственным редактором-коммунистом во главе, в 1924 г. у нас в СССР допускать петь подобные песни, не проверив их идеологического смысла и исторически-правильного содержания.

Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чуждой, противной, но зато он видит со страстью больного садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, «как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы».

Да, с таким воображением ничего другого, кроме клеветы на Конармию, — не напишешь.

Для нас все это не ново, что старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн, Арцыбашев (Санин) и другие, — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся, благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенерации, и нагло называет это «Из книги Конармия».

Неужели т. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале; не говорю уже о том, что т. Воронскому отнюдь не безызвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти.

Илья Эренбург

И. Э. БАБЕЛЬ

После длительного, почти двадцатилетнего, перерыва произведения Бабеля выходят в свет, и молодое поколение, не слыхавшее даже имени этого большого писателя, сможет познакомиться с книгами, которые поразили нас тридцать лет назад.

Первые, еще незрелые рассказы Бабеля были напечатаны в 1916 году. Открыл его А. М. Горький, который до конца своей жизни с любовью следил за его творческим путем. Широкому кругу читателей Бабель стал известен несколько позднее, а именно в 1924 году, когда Маяковский напечатал в «Лефе» несколько новелл молодого автора. Вскоре после этого вышла в свет «Конармия». В 1926 году, когда я познакомился с Исааком Эммануиловичем, он уже успел узнать оборотную сторону славы и скры-

вался от чересчур настойчивых почитателей. «Конармию» перевели на двадцать языков, и Бабель стал известен далеко за пределами нашей страны. В 1928 году Ромен Роллан писал о нем Горькому. В 1935 году Бабель был одним из советских делегатов на Международном конгрессе писателей в Париже. Я помню, как восторженно его встретили Анри Барбюс и Генрих Манн, Жан-Ришар Блок и Уолдо Франк. Для советских и зарубежных читателей он был одним из самых примечательных писателей своего времени. Бабель ни на кого не был похож, и никто не мог походить на него. Он всегда писал о своем и по-своему; от других авторов его отличала не только своеобразная писательская манера, но и особое восприятие мира. Все его произведения были рождены жизнью, он был реалистом в самом точном смысле этого слова. Недавно мне в руки попал его дневник 1920 года — в то время Бабель был в Первой Конной армии. В тетрадку молодой автор наспех заносил свои военные впечатления. Есть в «Конармии» новелла «Гедали», в которой показан старьевщик-философ. Иному читателю эта новелла может показаться романтическим вымыслом, но дневник объясняет происхождение «Гедали»: третьего июля 1920 года в Житомире Бабель встретил героя своей новеллы и записал: «Маленький еврей-философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят». Есть в «Конармии» другой рассказ — «Начальник конзапаса». Здесь Бабель даже не изменил фамилии героя, в своем дневнике тринадцатого июля 1920 года он записал: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр(асные) штаны с серебр(яными) лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот(кие) седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях...» — Три дня спустя: «Приезжает Дьяков. Разговор короток: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую — 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь». Теперь, пожалуй, такое точное воспроизведение действительности назвали бы «очерком». Между тем рассказы Бабеля нас всегда изумляют, порой кажутся граничащими с фантастикой. Он замечал то, мимо чего другие проходили, и говорил так, что его голос удивлял. Есть писатели, которые стремятся описать обычное необычно. Другие хотят обычным голосом рассказать о необычном. Бабель рассказывал необычайно о необычайном. Длинную жизнь человека, в которой исключительное, как эссенция водой, разбавлено буднями, а трагичность смягчена привычкой, Бабель показывал коротко и патетично. Из всех литературных жанров он облюбовал новеллу. Он как бы освещал прожектором один час, иногда одну минуту человеческой жизни. Он выбирал те положения, когда человек наиболее обнажается; может быть, поэтому темы любовной страсти и смерти с такой настойчивостью повторяются в его книгах.

Он писал очень медленно, был чрезвычайно строг к себе; ос-

тавил он три тоненькие книги рассказов и две пьесы. За малым исключением его книги показывают два мира, его поразившие, — дореволюционную Одессу и поход Первой Конной, участником которого он был.

Детство и отрочество Бабель провел в Одессе. Он любил родной город и накануне революции писал: «В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума. В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и невообразимого света луна над темным небом... В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания».

Беня Крик, этот гангстер юга, бандит и мечтатель, королева контрабандистов Люба Казак, рассеянные, близорукие чудаки и лихие жулики, острословы и охотники за счастьем не родились в кабинете литератора: они окружали подростка Бабеля. «История моей голубятни» была сначала пережита мальчиком, а потом рассказана зрелым и мудрым мастером.

До революции Одесса считалась родиной анекдотов. В советское время она дала русской литературе плеяду одаренных писателей: Бабеля, Багрицкого, Ильфа, Петрова, Катаева. Их всех объединяют яркость, юмор, ощущение горячей, вязкой, крепкой жизни.

В «Конармии» нет адвокатской защиты революции, да революция в таковой и не нуждалась. Герои «Конармии» подчас жестоки, порой смешны; в них много бурного, весеннего разлива. Однако правотой дела, за которое они сражаются и умирают, проникнута вся книга, хотя ни автор, ни герои об этом не говорят. Для Бабеля бойцы «Конармии» были не теми схематическими героями, которых мы встречали в нашей литературе, а живыми людьми, с достоинствами и пороками. Если в прошлом веке некоторые писатели из-за деревьев не видели леса, то мы знавали советских писателей, которым лес мешал разглядеть деревья. В «Конармии» есть поток, лавина, буря, и в ней у каждого человека свой облик, свои чувства, свой язык. Горький писал, что Бабель «украсил» своих героев «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев», и действительно трудно без душевного волнения читать «Соль» или «Смерть Долгушова».

О той любви, которую старые католики называли «плотской», а современные пуритане именуют «животной», Бабель писал откровенно, без лицемерной стыдливости. «Угрюмый тусклый огонь желанья», о котором говорил Тютчев, привлекал к себе Бабеля, потому что этот огонь всегда освещал не маску человека, а его лицо. Любовь Бабеля к Мопассану не может быть отнесена к писательской манере французского автора. Если го-

ворить о сходстве Бабеля с иностранными писателями, то вспоминаются скорее американские авторы двадцатых — тридцатых годов нашего века: Хемингуэй, Колдуэлл, Стейнбек. Как и они, Бабель стремился не рассказать о человеке, а показать его, как они, избегал авторских рассуждений и придавал большое значение диалогу. Однако, насколько я знаю, Бабель был равнодушен к американской литературе, а Мопассана он обожал и не раз при мне горячо спорил с теми французскими писателями, которые не разделяли его любви к автору «Милого друга». Ценил он Мопассана за то, что тот показал силу любви; ценил его непосредственность; «Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть — все знает: громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной зноем дороге. Вот и все».

Хотя Бабель написал две пьесы и в последние годы работал над романом, он был прежде всего мастером короткой новеллы. В эпоху, когда рождались «романы-реки», в эпоху инфляции слов он пуще всего боялся многословья; он умел на двух-трех страницах сказать то, что, казалось бы, требовало целой книги. Диалог в его рассказах настолько своеобразен и ярок, что порой одна фраза раскрывает душевный облик человека.

Жена богатого барышника, выходя из театра, потрясенная игрой итальянского трагика, упрекает своего мужа: «Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Дворник Кузьма рассказывает мальчику, что его деда убили во время погрома: «Деда вашего тюкнули, никого больше, он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...»

Видя умирающего бойца, красноармеец Грищук сетует: «Зачем бабы трудаются? Зачем сватання, венчання, зачем кумы на свадьбах гуляют... Смеха мне, смеха мне, зачем бабы трудаются...»

Новеллы Бабеля ослепительны; как некоторые живописцы нашего века, он искал ярких цветов. Он не боялся чрезмерности и свое отношение к искусству показал в рассказе «Ди Грассо»: в нем описана игра сицилийского трагика, который, пренебрегая чувством меры, побеждает зал. Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался Гоголем украинских рассказов, жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властью затер Грицко...». Привыкшим к русской прозе, сдержанной, стыдливой, образы Бабеля могут показаться экзотичными, как птицы тропиков. Если говорить о литературной генеалогии гипербол Бабеля, то правильней всего вспомнить раннего Гоголя.

В начале тридцатых годов в творчестве Бабеля наметился перелом: он начал искать тот путь, по которому пошел Гоголь после украинских рассказов. Он часто говорил, что писал прежде чересчур цветисто, злоупотреблял образами, что нужна большая простота. По прекрасному рассказу «Нефть» мы можем догадываться, какими бы были последующие произведения Бабеля. В 1916 году Горький посоветовал начинающему писателю получше изучить жизнь, Бабель семь лет не давал ничего в печать, хотя продолжал работать. Период молчания возобновился: с 1936 года почти не появлялось его произведений, а работал он много. Как всегда, он был строг к себе. Он работал над романом, над новыми рассказами.

. . . .

Бабель умер в 1941 году в возрасте сорока семи лет.

Он был невысокого роста, коренаст, носил всегда очки, под которыми то лукаво, то печально светились очень выразительные глаза. Поражал в нем необычайный интерес к жизни, его увлекали самые различные вещи. У него было много друзей, людей разных профессий. Меньше всего он походил на профессионального литератора. Он мог часами выслушивать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Любил скачки, бега, никогда не мог пройти равнодушно мимо лошади. Он писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Он знал много языков, был человеком большой и сложной культуры, но никогда книги не заслоняли для него живой жизни. В 1935 году я описал в газете выступление Бабеля на парижском конгрессе: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски свободно, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Бабель был изумительным рассказчиком, и обидно, что никто его рассказов не записывал. Зимой 1938 года в Москве он часто приходил ко мне и рассказывал, рассказывал... Я думал тогда, что ему удастся все описать. Судьба решила иначе.

Он любил хорониться от близких, от друзей, любил «разыгрывать» людей. Его жизнь иногда напоминала ходы крота. Он скрывался, чтобы иметь возможность спокойно работать. Несколько месяцев он прожил в пригороде Парижа, снимая комнату у старой француженки, которая считала его злоумышленником, двойником Бени Крика, на ночь запирала его, как арес-

танта, чтобы он ее не зарезал. Это смешило Бабеля, но комната ему нравилась: тихо, можно писать.

Он любил спокойствие, а прожил жизнь беспокойно, воевал, много ездил, узнал все надежды, все горе своего времени. Революцию он встретил как осуществление того, что было ему дорого, и до смерти сохранял высокие идеалы справедливости, интернационализма, человечности.

Слово «друг» можно, как все слова, толковать по-разному. Бабель знал, что такое дружба, был он человеком большого душевного благородства, никогда не предавал друзей. Для меня большое счастье, что в течение долгих лет он поддерживал меня своей дружбой. В 1932 году я написал роман «День второй». Исаак Эммануилович приходил ко мне. Мне было бы горько, если бы я никогда не смог бы об этом рассказать...

Рассказы И. Бабеля будут еще долго читаться и перечитываться. Это — высокое искусство. И есть нечто сближающее Бабеля со всеми великими русскими писателями от Гоголя до Горького: гуманизм, стремление отстоять человека, оградить его радости, его надежды, его короткую, но неповторимую жизнь. В рассказе «Гедали» старик говорит: «И я хочу интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории...» Таковы были и чаяния самого Бабеля. Он жил в высокое и очень трудное время. Он не только верил в будущее, он за него боролся. Один из лучших своих рассказов тридцатых годов «Карл-Янкель» он закончил словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня. — Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

Читатели Бабеля с благодарностью будут думать о нем. Он мечтал об их счастье, за него боролся.

ОБРАЗЫ БАБЕЛЯ В ИСКУССТВЕ

Пьеса Бабеля «Закат» неоднократно ставилась на сценах советских и зарубежных театров. Впервые она была поставлена режиссером В. Федоровым на сцене Бакинского рабочего театра (премьера — 23 октября 1927 г.). В роли Менделя Крика — арт. Н. Соколов. Сильной стороной спектакля стала его прямая антимещанская направленность: режиссера привлекла «социальная значимость пьесы». Как остросоциальную пьесу поставил «Закат» и режиссер А. Грипич в Одесском русском драматическом театре (премьера — 25 октября 1927 г.). В интервью одесскому еженедельнику «Театр-клуб-кино» (1927, № 18) Грипич назвал «Закат» «крепкой драматургической постройкой», которую надо «взять на крепкий зуб постановочного приема». Решенный в стиле «гиперболического реализма» спектакль звучал как современная трагедия об отцах и детях. 1 декабря 1927 г. состоялась премьера «Заката» в Одесском украинском театре (Держдрама). По свидетельству критиков, режиссер В. Вильнер поставил спектакль «в бытовом разрезе».

В Москве постановку «Заката» осуществил режиссер Б. Сушкевич на сцене МХАТ-2 (премьера — 28 февраля 1928 г.). Театр акцентировал философскую проблематику драмы, несмотря на стремление режиссера вести спектакль в сатирическом плане борьбы с мещанством. Критика отмечала внутреннюю противоречивость спектакля. А. Мацкин писал, что, несмотря на сильный актерский состав и отличную игру, «...события в пьесе происходили где-то вдалеке, за тридевять земель, в зоне полного отчуждения, вне всякой эмоциональной связи с текущим днем. Картинность, яркое зрелище, а струна не звенит, чувство безмолвствует, холодок пробивается внутрь после аплодисментов, завершавших спектакль (Мацкин А. Как можно сыграть Бабеля. «Театр», 1988, № 4, с. 60).

По мотивам пьесы и двух одесских рассказов осуществлена постановка музыкального спектакля «Закат» в Рижском русском драматическом театре (премьера — 31 марта 1987 г.). Свою версию пьесы предложил Московский академический театр им. В. Маяковского (премьера — 15 января 1988 г.).

Бабелю принадлежит киноповесть «Беня Крик», написанная специально для кино (опубликована в журн. «Красная новь», 1926, № 6). В ее основу положены «Одесские рассказы». Одно-

временно в одесском журнале «Шквал» (1926, № 22—27) сценарий был опубликован как «кинороман» под названием «Карьера Бени Крика». Текст сценария написан в расчете на эстетику немого кино.

Сценарий Бабеля привлек внимание кинематографистов. Известно, что С. Эйзенштейн собирался снимать «Беню Крика» на первой кинофабрике Совкино, но ввиду изменившейся ситуации Бабель передал сценарий на одесскую фабрику ВУФКУ, где постановку фильма осуществил режиссер В. Вильнер.

«Беня Крик» вышел на экран в январе 1927 г. «Мне как постановщику, — заявил режиссер корреспонденту одесской газеты в день премьеры фильма, — приходилось все время отделываться от воздействия насыщающих одесский воздух романтических легенд о «благородном налетчике» Мишке Япончике и ориентироваться на необходимость затушевывания какой бы то ни было бандитской героики... Мы стремились уйти не только от романтики, но также лишить картину выдвинутого на первый план героя» («Вечерние Известия». Одесса, 1927, 18 января). В рецензии Альцеста подчеркивалось, что кампания против фильма, начавшаяся задолго до его рождения, была поспешной и необдуманной, лента Вильнера менее всего заслуживала упрека в апологии хулиганства и романтическом смаковании похождений известного налетчика («Вечерние Известия». Одесса, 1927, 19 января). «Фильм, снятый по сценарию Бабеля, разрушал легенду о Мишке Япончике», — писал критик Д. Маллори в журнале «Советский экран» (1927, № 7). Главную роль в фильме сыграл артист Ю. Шумский.

Сам Бабель считал фильм неудачным.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Жужа Хетени

ЛАВКА ВЕЧНОСТИ
(К мотивной структуре рассказа «Гедали» И. Бабеля)

Рассказ «Гедали» несомненно является одним из самых впечатляющих, самых веских и самых закодированных рассказов «Конармии», тем не менее, насколько мне известно, критическая литература освещала лишь его отдельные моменты, лишь частично.

Не забывая, что это — рассказ в цикле, я считаю, что для начала целесообразно исходить из маленьких единиц, ибо анализ мотивной структуры — что является темой настоящей статьи, — весьма облегчает временное, но неизбежное отвлечение от проблематики части в целом. Линейный разбор, чуть ли не close reading поможет определить, вдоль каких силовых линий располагаются мотивы смысловой структуры, почти без исключения построенной Бабелем с математической систематичностью.

Оказывается, что в первых трех абзацах первой (описательной) половины рассказа доминирует понятие смерти, тления, печали. Здесь и воспоминания об умершем дедушке, и смерть базара, и отвлеченная смерть, как элемент сравнения — «гранит мостовой чист, как лысина мертвеца». Подчинена этому общему тону и предметная среда: евреи продают мел, синьку, фитиль. Мел — это белый цвет мертвеца и народного траура, синька связана и с белым (белить белье) и с небесным голубым, цветом святости — стоит только посмотреть на такие слова в окружении, как звезда, пророк, синагога, а дальше, в рассказе «Сын рабби», «голубой шелк Торы»; а фитиль ассоциирует временно горящее пламя жизни, кроме того, перекликается с субботней свечой в первом абзаце.

Дважды упомянутая робкая звезда предвосхищает ту первую вечернюю звезду, которая появляется в середине второй (диалогической) половины рассказа. Понятие звезды в рамках этого рассказа прочно связано с еврейским ритуалом. Несмотря на то что выражения «удача пришла ко мне позже», «она мигает и

гаснет» в контексте явно отсылают к таким фразеологизмам, как звезда удачи и путеводная звезда, все-таки звезда во второй части вливается в женский образ невесты-королевы: «И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота» — и здесь еще раз встречаем небесный синий цвет. (Метафоричная фигура невесты-королевы взята из еврейской молитвы, читаемой накануне субботы.)

Поэтические средства сами собою приводят нас к очень важному аспекту рассказа. Дело в том, что при появлении этой первой звезды наступает еврейская суббота, ибо еврейский день начинается с вечера, что и является поворотным пунктом в этом рассказе. Радостное ожидание дня, начала, которое в поэзии и вообще в европейском восприятии прикреплено к рассвету, по еврейскому временному аспекту связано с закатом. Этот вопрос встанет очень остро, если посмотрим на конфликт Гедали и рассказчика. «Заходит суббота», — говорит Гедали. «Сегодня пятница», — отвечает рассказчик. Они по-разному смотрят на время, следовательно и на мир. Напряжение усиливается по принципу дихотомии в тексте: внутреннее раздвоение рассказчика отражено так, что вслух он произносит выше цитированную фразу, а в описательных частях, причем в таких ключевых позициях, как первое и предпоследнее предложение, пишется: «в субботние кануны...», «наступает суббота». В описаниях заката зато доминирует смерть и конец (европейский временной аспект) см. «нежная кровь», «опрокинутая бутылка», «запах тления», и это опять уравновешивается метафорой юной субботы — значит, дихотомия как принцип продолжает действовать в течение всего рассказа. Не менее проблематично представлен этот вопрос в следующем сочетании: «И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница...»

Не имея возможности здесь более подробно развернуть проблематику рассказчика, отмечу только, что в этом месте наблюдается, во-первых, конфликт Гедали и рассказчика, во-вторых, внутренний конфликт рассказчика, во-третьих, конфронтация авторского текста и текста рассказчика, во-четвертых, противопоставление рассказчика как одного из ипостасей тогдашнего автора и писателя, смотрящего назад.

В момент появления первой звезды, как было сказано, в еврейских домах зажигаются субботние свечи. В рассказе наблюдается своеобразная градация света. Свеча выступает в картине ушедшего детства, домашнего уюта. Звезда вбирает в себя более обобщенные сферы религии и веры. Самый яркий свет излучает солнце: «В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...» В этой метафоре революция связана с насилием и со слепящим ярким светом. Такое значение этого мотива подтверждается в конце рассказа «Рабби», где рассказчик возвращается в агитпоезд и его

ждет «сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции». Этот слепящий свет противопоставляется полутемному, закатному миру еврейской среды.

Эту среду как нельзя лучше передает каталог вещей Гедали, симметрично расположенный в 4-м и 6-м абзацах.

лавка древностей	пуговицы
золоченые туфли	мертвая бабочка
корабельные канаты	глобус
старинный компас	череп
чучело орла	мертвые цветы
охотничий винчестер 1810	пестрая метелка из петушиных перьев
сломанная кастрюля	умершие цветы

Легко дается первый вывод: лавка древностей, чучело орла, охотничий винчестер, сломанная кастрюля, мертвая бабочка, мертвые цветы и череп присоединяются к уже заданному в первых абзацах тону смерти, в ее тихой и нестрашной форме. Вторая группа слов вырисовывается следующим образом: корабельные канаты, старинный компас, глобус; они восходят опять к первому абзацу, к образу корабля. («Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...») Корабль воплощает волны воспоминаний и мечтаний детского мира. Эти две группы слов сцеплены одним звеном: глобус и череп, рядом стоящие в тексте, соединяют своим фактурным совпадением (шарообразностью) общее с единичным, космическое с личным, человеческим. Скоро будет показано, что такое соединение чрезвычайно важно.

Поразительно, что вне этой системы, на периферии каталога находятся именно те предметы, которые описаны в Дневнике Бабеля как реалии при встрече с маленьким еврейским философом, имя которого не упомянуто. Запись от 3.6.1920: «Базар в Житомире... здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу. — Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький философ. Невообразимая лавка. — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду, и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова. Бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р.».

Золотые туфли в тексте цикла стали золочеными, как бы подчеркивая суету сует этого мира, а петушиные перья могут присоединиться к чучелу.

Внешность Гедали оформлена по тому же двойному принципу, по которому строится каталог вещей. Мотив детства, или здесь правильнее будет говорить: мотив детскости передают уменьшительные формы: ручки, бороденка, его цилиндр как башенка; эпитеты — маленький (3 раза), крохотный, мальчик; и предметы вокруг — коробочка, водица. С другой стороны, из

этого мальчика может выйти профессор. Этот контрапунктирующий мотив закодирован прежде всего в имени старого Гедали, означающего на иврите Большой (ср., напр., «маленький хозяин Гедали»). Его сюртук до полу (с тремя костяными пуговицами, внушающими смерть), черный цилиндр, дымчатые очки показывают фигуру, по полному праву владеющую выше описанными предметами. Это, может быть, волшебник, или мудрец из другого века, знающий тайны смерти и располагающий властью над ней. Глаза Гедали ворожащие — эту волшебную силу мы уже встретили в первом абзаце («бабушка ворожила узловатыми пальцами», «как кораблик на заколдованных волнах»). Если же взглянуть еще раз на предметы Гедали в свете его фигуры, оказывается, что их первая группа представляет собой не просто смерть, а тление вообще. Здесь нет ничего страшного, кровь нежно льется, запах тления легок, пустота вечера розовая. Гедали воспринимается существом, стоящим выше смерти, живущим вне мира сего, в сфере вечности, вневременности. Бабочка, цветы, перья, птицы, с одной стороны, конечно, относятся к миру детства мальчика-ботаника, но с другой стороны, они вырванные из самой природы элементы красоты, перенесенные на хранение в вечность.

Ощущение этой атмосферы вечного усиливает соединение в фигуре Гедали полюсов бинарной оппозиции «ребенок — старик», более того, «младенец — старик» (ср. «белые ручки», «мягкие ладони»). Это соединение по праву отсылает нас к мифическим фигурам вроде беременной старухи, упомянутой Бахтиным как пример вечного циклического повторения в гротескном изображении. Оттенок гротеска налицо и в изображении Гедали: стоит только обратить внимание на петушиные перья, на парадокс выражения «основатель несбыточного Интернационала», а дальше, в рассказе «Рабби» на сравнение «как пестрая птичка»; в рассказе «Сын рабби» — «смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра». Это последняя фраза, слиянием фактов гиперболизирующая фигуру Гедали (ведь перья были не на цилиндре), показывает, насколько условны описания Бабеля.

Какова же функция этой равновысокости двух тем, темы детского и темы вечного-мудрого, кроме вышеуказанных?

Гедали «потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему». Поглаживание бороды уже в первом абзаце было обозначено как жест молитвы, углубления в святые тексты, и здесь этот жест адекватен потому, что невидимый голос, слетевшийся сверху, может принадлежать богу. А божий голос слышат только избранники, пророки и апостолы (ср. Мф 17:5, Мк 9:7, Лк 9:35, Деян 9:5). Апостольские ассоциации придают его философии универсальное значение — это не трогательная теория чудака, а философия веры, которая, по словам Библии, «есть осу-

ществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Идеи Гедали снова весьма амбивалентны. Осуществление мира красоты и добра может задумать либо по-детски чистая, ничего не знающая душа, либо мудрец, все переживший, живущий уже вне времени. Здесь и наивность, и высокие стремления человечества; здесь и чудачество, и святость.

В одной из аксиом Гедали повторяет «да» и «нет», он требует однозначности. Проблематика «да — нет», «или — или», волнующая человечество уже много веков, опять-таки коренится в Библии (и, между прочим, особое место занимает в философии гностиков, в их учении о Логосе): (ср. Мф 5:37, Кор 1:18 — 19, Иак 5:12, аналогично Откр 3:15 — 16).

Гедали делает акцент на Интернационале добрых людей, сладкой революции, как на хорошем деле хороших людей. (Отметим, насколько отличается эта формулировка от текста дневника, в котором говорится о добром правительстве.) Этот принцип со своей отвлеченностью и ударением на моральной эсхатологии соответствует библейскому миропониманию, прекрасно описанному в гимне апостола Павла о долготерпящей, милосердной любви (Кор 1:13), в конце которого прославляется как раз детская чистота. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, так же лицо к лицу и по-детски рассуждаем: прямолинейно следуют друг за другом тезисы и выводы, и эти логически чисто построенные ряды являются одновременно изречениями мудреца о желанном порядке мира.

Гедали возвышен в этом рассказе как апостол мессианской революции, которая накормит каждую душу, и здесь подразумевается не значение «лицо» и «паек» в буквальном смысле, а именно душа человека, которая от этой сладкой революции должна получить в первую очередь удовольствие, вероятнее всего духовное удовольствие, т. е. веру.

Земная радость и вера в правильность земной жизни стояли в центре идеологии мессианского движения еврейской религии, хасидизма, основанного в XVIII в. Это движение, которое, по словам Гедали, «все еще стоит на перекрестке ветров истории», за два века истории потеряло свои свободные черты, перестало быть свободным, открытым, толерантным, но по-прежнему проповедовало мессианскую веру в спасение всего человечества (и не только избранного народа, и не только верующих). За эти идеи погибает сын рабби, за осуществление земной радости, за спасение человечества, ибо для него эти идеи воплощает революция. Он, собственно говоря, исполняет свой долг на земле как «последний принц хасидской династии». Его бунт против застывшей религии отца прекрасно отражается в каталоге его вещей. Мученичество Ильи и ассоциация со спасением мира подчеркнуты

дважды: во-первых, его имя отсылает к пророку Илие, эсхатологической фигуре; во-вторых, описание его жалкого тела перекликается с изображениями снятия Христа с креста. Подчеркнута также его физическая слабость, противопоставленная силе казаков, характерная и для Гедали, и для рассказчика, и еще для определенного круга героев (данная проблематика освещена мною в статье «Носил ли Лютов очки?»). Чистая духовность Ильи показана жестом, когда он один протягивает руку за листовкой.

С Ильей читатель знакомится в рассказе «Рабби» («В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони»). Смешение картин еврейской культуры с христианской тропикой — нередко встречающийся прием в «Конармии» — однозначно присваивает Илье и Гедали звание «апостолов» и близость слов «рыбак» и «апостол» ставит на этом особое ударение. Дважды упомянут Спиноза, что выделяет бунт Ильи против еврейского общества (Спиноза был отлучен от еврейской общины), а эпитет «монахиня» свидетельствует о том, что он всю жизнь свою посвятил службе одной идее.

В то время как Аполек является художником жизни, Сидоров — лишь террористом-политиком, Галин всего лишь агитатором, Гедали является единственным философом в цикле. Он не дает никакой политической программы, лишь показывает вечные, независимые от времени ценности человечества: доброту, мир и радость, о чем и мы можем до сих пор вместе с ним вздыхать: «Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача!»

1985—1988

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ ПО ТВОРЧЕСТВУ И. БАБЕЛЯ

1. Человек в огне гражданской войны (по произведениям А. Фадеева «Разгром» и И. Бабеля «Конармия»).

2. Картина народных страданий в «Конармии» И. Бабеля.

3. Библейские мотивы и их значение в произведениях И. Бабеля.

4. Своеобразие раскрытия темы гуманизма в «Конармии» И. Бабеля.

5. Речевые характеристики героев в «Конармии» И. Бабеля.

6. Правда гражданской войны в «Конармии» И. Бабеля.

7. Нагульнов из «Поднятой целины» М. Шолохова и Сидоров из рассказа «Солнце Италии» («Конармия») И. Бабеля.

8. Своеобразие композиции и ее роль в раскрытии авторской позиции в «Конармии» И. Бабеля.

9. Образ рассказчика в «Конармии» И. Бабеля.

10. «Ты не знаешь, что ты любишь», — говорит революция (Своеобразие восприятия революции и гражданской войны персонажами в произведениях И. Бабеля).

11. Проблемы нравственности в «Конармии» И. Бабеля.

12. Мастерство писателя в раскрытии характеров героев (по произведениям И. Бабеля).

13. Роль пейзажа в произведениях И. Бабеля.

14. Символический смысл библейских образов в «Конармии» И. Бабеля.

15. Восприятие революции и гражданской войны теми, для кого они совершаются.

16. Стилевое своеобразие рассказов И. Бабеля.

17. Трагедия человека в гражданской войне (по «Донским рассказам» М. А. Шолохова и «Конармии» И. Э. Бабеля).

18. Трагедия души человеческой в «Конармии» И. Бабеля.

19. Трагедия семьи в гражданской войне (по рассказу И. Бабеля «Письмо» и др.)

20. Гуманизм творчества И. Бабеля.

21. Рождение человека «нового типа» в огне революции и гражданской войны (по произведениям «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Как закалялась сталь» Н. Островского).

22. Язык и стиль произведений И. Бабеля.

ТЕЗИСНЫЕ ПЛАНЫ СОЧИНЕНИЙ

ОБРАЗ РАССКАЗЧИКА В КНИГЕ И. БАБЕЛЯ «КОНАРМИЯ»

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин,
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано...

И. Эренбург

I. Трагическая судьба И. Э. Бабеля — отражение судьбы многих его героев и современников.

1. Можно ли отнести книгу И. Бабеля «Конармия» к автобиографическому жанру.

И. Бабель прибыл в Первую Конную армию в 1920 году как корреспондент газеты «Красный кавалерист» и участвовал в польском походе. Писатель жил среди простых казаков и красноармейцев, вместе с ними терпел голод, холод, бытовую неустроенность, тяготы военной жизни. Он своими глазами видел страдания крестьян и горожан, над которыми издевались, которых грабили и убивали как белые, так и красные. В книге описаны реальные события их непосредственным участником и очевидцем, и в этом смысле она автобиографична (рассказы «Мой первый гусь», «Переход через Збруч», «Начальник конзапаса»).

2. Рассказчик — литературный герой: писарь, корреспондент, боец Первой Конной армии. В новелле «Пан Аполек» юродивый художник, обращаясь к нему, называет его «пан писарь». Из рассказов «Вечер», «Сын рабби» мы узнаем, что рассказчик — корреспондент газеты «Красный кавалерист». В некоторых рассказах он представлен как рядовой кавалерист («Аргамак», «Путь в Броды», «После боя» и др.).

II. Рассказчик в «Конармии». Эволюция характера.

1. Представление о рассказчике складывается постепенно, на протяжении всей книги. Он меняет должности и меняется сам.

2. Дневники И. Бабеля, которые он вел с 1920 года, находясь в рядах Первой Конной, свидетельствуют о том, что он целиком «жил жизнью своих боевых товарищей — победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясали великодушие, насилие... погромы, смерти...» (И. Эренбург).

3. Герой — рассказчик «Конармии» живет одним желанием — стать своим, слиться с этой массой людей.

Из рассказа «Мой первый гусь» мы узнаем, как был встречен герой в дивизии. Начдив Савицкий при первом знакомстве закричал, смеясь: «Какой паршивенький! Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки...» Чтобы утвердиться в новой среде, рассказчик убивает гуся и в грубой форме приказывает хозяйке зажарить его. После этого один из казаков говорит: «Парень нам подходящий». В рассказе «Аргамак» та же проблема стоит перед героем. Ему снится один и тот же сон, что он едет верхом и никто на него не смотрит. «Что это значит? ...что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть».

4. Цель достигнута? Признали своим, слился.

Пройдет время, и герой научится ездить на коне, как все. В конце книги рассказчика начинают принимать за своего. Из рассказов «Чесники» и «После боя» мы узнаем, что зовут его Кириллом Васильевичем Лютовым. И еще просто Лютычем. А в рассказе «Эскадронный Трунов» читаем про казака, который раньше служил у Махно. Казак поздоровался с Лютовым за руку и спросил: «...зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?» И хотя Лютов не трогал Трунова (тот был расстрелян с вражеского самолета), но казаки уже считают, что Лютов на такое способен.

5. Цена, которой куплено признание своим, — разрушение личности, душевный надлом.

а) «Изнемог, обессилел этой борьбой с самим собой...» («Конармия»).

б) «Почему у меня непроходящая тоска?.. Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде» («Дневники»).

III. Гуманизм героя «Конармии»

На наших глазах в «Конармии» безответный очкарик превра-

щается в солдата. Но он не принял и не примет жестокости войны, в которой участвует. Эволюция не коснулась его гуманистических принципов. Еще в рассказе «Мой первый гусь» герой переживает убийство гуся. В рассказе «Эскадронный Трунов» он не дает убивать пленных поляков. Рассказ «После боя» показывает, что Лютов не может убивать и в бою. Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, говорит: «...виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?» Рассказ «Вечер» показывает кризис мировоззрения главного героя, разделяющего цели революции и гражданской войны, но не принимающего методы, которыми они совершаются. «Против луны... сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов... я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...»

ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. БАБЕЛЯ

Стиль — это человек.
Ж. Л. Бюффон

I. Особенность манеры письма, творческого почерка, ритма, интонации рассказов И. Э. Бабеля — отражение его личности, судьбы. (По воспоминаниям И. Эренбурга он напоминал «жовиального (жизнерадостного) одессита, хлебнувшего в жизни горя».)

II. Трагическое и комическое в произведениях И. Бабеля («Первая любовь», «Как это делалось в Одессе», «Король» и т. д.).

III. «Высокое» и «низкое» в творчестве И. Бабеля («Вечер», «Пан Аполек», «Костел в Новограде», «Ди Грассо»).

IV. Афоричность языка («подкладка тяжелого кошелька сшита из слез», «глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность», «страсть владычествует над мирами», «и победа Короля стала его поражением» и т. д.).

V. Фольклорная основа юмора И. Бабеля. Городской фольклор в «Одесских рассказах». Поэтизация Бени Крика и «аристократов Молдаванки» («Король», «Как это делалось в Одессе», «Фроим Грач» и др.).

VI. Языковая палитра рассказов И. Бабеля. Красочность, эмоциональность авторской речи и речи персонажей:

1. Авторская речь («А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре», «Участок исправно пылал с четырех сторон», «...под дулами дружелюбных браунингов»).

2. С помощью речевых средств автор передает свое отношение к персонажам: «Нужны ли тут слова? Был человек, и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?» («Как это делалось в Одессе»).

VII. Роль пейзажа в произведениях И. Бабеля.

1. Создание через пейзаж эмоционального и бытового фона произведения («Вечер давно уже стал ночью, небо почернело и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады». «Отец»).

2. Контраст гармонии природы, ее естественной, благодатной красоты с «безобразными» общественными отношениями.

3. Философичность пейзажных зарисовок у И. Бабеля («...Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони»).

VIII. Емкость, наполненность фразы в новеллах И. Бабеля.

«Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя» («Гюи де Мопассан»).

IX. Язык И. Бабеля своеобразен, обладает особой индивидуальностью. Это один из элементов стиля писателя, по которому мы можем сразу определить авторство. Произведения И. Бабеля не спутаешь ни с кем. Стиль и содержание рассказов слиты воедино, через язык передается гуманистическое мировоззрение писателя, его мечта о счастье людей, о высоком предназначении человека и преображающей силе искусства. Долг писателя он понимал очень высоко и хотел, чтобы «в новом мире нашлось место и для некоторых старых вещей — для любви, для красоты, для искусства».

ГУМАНИЗМ ТВОРЧЕСТВА И. БАБЕЛЯ

I. Проблема человека на войне в раннем творчестве И. Бабеля.

Первый опыт И. Бабеля в изображении войны (цикл рассказов «На поле чести»). Изображая первую мировую войну,

И. Э. Бабель обнажает ее ужасающий лик. Сочувствие автора всецело на стороне жертв. Он поднимает свой голос в защиту «маленького человека». Писатель страстно осуждает войну и ее последствия для человека и общества.

II. «Ненавижу войну!» (название дневников И. Бабеля). Осуждение братоубийственной войны в книге И. Бабеля «Конармия».

1. Трагическая правда гражданской войны в рассказах «Переход через Збруч», «Смерть Долгушова», «Эскадронный Трунов», «Письмо», «Иваны» и др.

2. В огне гражданской войны человек погибает не только физически, но, в первую очередь, нравственно, духовно («Афонька Бида», «Конкин», «Вдова»).

3. «Пролетарский гуманизм» и Гуманизм. Сопоставление эпизодов из романа А. Фадеева «Разгром» (смерть Фролова и конфискация свиньи у бедного корейца) и рассказов И. Бабеля «Смерть Долгушова» и «Начальник конзапаса». Ситуация изначально антигуманна, следовательно, решение ее гуманным путем невозможно. Вывод И. Бабеля — нельзя ставить человека перед таким выбором, следовательно, нет — войне, которая провоцирует подобные ситуации.

4. Философский смысл рассказа «Гедали». Революции, гражданские войны и гуманизм:

а) «Ты не знаешь, что ты любишь... я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

б) «Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди...»

в) «И я хочу Интернационала добрых людей...»

5. Роль библейских сюжетов в «Конармии». Противопоставление нравственных идеалов христианства жестокостям войны («Гедали», «Пан Аполек»).

III. Человек и война — понятия несовместимые, как жизнь и смерть. «Конармия» — это не хроника событий гражданской войны, а книга о страданиях человеческой души, исступленно ищущей истины в несправедливом, истекающем кровью мире. Всякая война, в особенности гражданская, в равной мере гибельна для обеих воюющих сторон — вот итог размышлений И. Бабеля о трагических событиях своей эпохи.

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА «НОВОГО ТИПА» В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(По произведениям «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Как закалялась сталь» Н. Островского)

I. Писатели, которые «к штыку приравняли перо».

А. Фадеев, И. Бабель, Н. Островский и другие — составляют целое поколение писателей, принесших в литературу опыт революции и гражданской войны.

II. Иерархия духовных ценностей рождающегося советского человека.

1. Оправданная и осознанная ненависть к старому миру (и даже к тому, что можно было бы и не ненавидеть).

2. Преданность освободительной революционной идее (и некритическое отношение к ней).

3. Действие, долг и честь (и непродуманность последствий, догматизм).

4. Моральная чистота (и слепота).

5. Отношение к личному счастью (принесение в жертву идее личного счастья и счастья близких людей).

III. Пророческий реализм Бабеля.

1. Гражданская война как трагедия народа.

2. Деградация человеческой личности под воздействием непрерывных «великих переломов».

3. «Нет пророка в своем отечестве». «...мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей — для любви, для красоты, для искусства».

IV. Новые мехи для нового вина.

1. Лирическая исповедь поколения и ее особенности.

а) Романтическая приподнятость героев и повествования.

б) Исповедальное слово автора.

в) Нескрываемая любовь автора к своим героям.

г) Автобиографическая канва произведений.

2. Монтаж разнородных сцен и напряженная динамика повествования, обусловленная напором небывалого жизненного материала.

3. Психология героя дается через его действие.

4. «Нелитературная» и «непрофессиональная» свежесть восприятия и передачи впечатлений.

V. Историческая обреченность поколения, сделавшего революцию. Трагические судьбы авторов и героев. «Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте...» (предсмертное письмо А. Фадеева).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сопоставьте стихотворения М. Волошина о революции и гражданской войне («Русская революция», «Красногвардеец», «Гражданская война» и др.) с рассказами из «Конармии» И. Бабеля.

2. Сопоставьте на выбор произведения о гражданской войне М. Шолохова, А. Фадеева, М. Булгакова с «Конармией» И. Бабеля. Найдите сходство и различие в изображении гражданской войны и человека на этой войне.

3. Проследите по рассказам «Конармии» процесс становления характера главного героя. Что в нем изменилось и что осталось неизменным? Какими художественными средствами показывает И. Бабель эволюции главного героя?

4. В «Конармии» много рассказывается о лошадях. «Конь — он друг», «Конь — он отец... бесчисленно раз жизню спасает». Проанализируйте, как в произведении через отношение к лошадям раскрываются характеры героев.

5. Раскройте своеобразие разрешения нравственных и этических проблем в «Конармии» И. Бабеля.

6. Чьими глазами видит читатель события эпохи, изображенной в «Конармии» И. Бабеля.

7. В чем своеобразие проблемы насилия в «Конармии» И. Бабеля и в «Разгроме» А. Фадеева.

8. В рассказе «После боя» читатель узнает, что главный герой ходил в бой с незаряженным оружием. Как вы оцениваете этот поступок? Предательство, гуманизм или что-то другое?

9. Какова тема спора главного героя с Гедали (рассказ «Гедали»)? На чьей стороне в этом споре автор? Какова ваша позиция в этом вопросе?

10. Что вы видите общее и в чем различия в изображении войны в «Севастопольских рассказах» Л. Толстого и в «Конармии» И. Бабеля?

11. Сопоставьте эпизод гибели Фролова в «Разгроме» А. Фадеева и Долгушова в «Конармии» И. Бабеля. Что в них общего и чем они отличаются?

12. «Нравственно все, что полезно революции...» или «Нравственно все, что полезно человеку...». Какое разрешение находит эта дилемма в новеллах И. Бабеля?

13. Чьи стихи о И. Бабеле? Как они отражают суть его творчества?

ОЧКИ БАБЕЛЯ

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин,
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано:
Ссыхались корни векового вяза,
Взрывалось изумленное зерно.
Его ругали — это был очкастый.
Что вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убили Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

14. Сопоставьте «Конармию» И. Бабеля и те страницы «Доктора Живаго» Б. Пастернака, которые посвящены партизанскому отряду. Проанализируйте отношение К. Лютова и Ю. Живаго к происходящим событиям.

ДОСУГ

ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ И. БАБЕЛЯ

1. Макар Нагульнов, герой «Поднятой целины» М. Шолохова, изучает английский язык с целью совершить мировую революцию. В «Конармии» И. Бабеля тоже есть герой, изучающий иностранный язык. Кто этот герой? Из какого рассказа? Какой язык он изучает? Как он собирается начать революцию в чужой стране?

2. Кто такой Кирилл Васильевич Лютов?

3. Восстановите названия рассказов из сборника «Конармия»: «Переход через...», «Костел в...», «Начальник...», «Пан...», «Солнце...», «Мой первый...», «Путь в...», «Учение о...», «Смерть...», «Комбриг...», «Сашка...», «Жизнеописание Павличенки...», «Кладбище в...», «История одной...», «Афонька...», «У святого...», «Эскадронный...», «Продолжение истории...», «После...», «Сын...».

4. На каких должностях служил рассказчик из «Конармии»?

5. «Пусть кроткое забвение поглотит память о..., предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом». О ком эти слова?

6. В «Конармии» рассказывается о юродивом художнике пане Аполеке, который на росписях в костеле и на иконах в ликах святых изобразил лица живых людей, своих знакомых. Кто был изображен на росписях в костеле:

а) В виде одного из волхвов, благословляющих новорожденного Иисуса?

б) В виде апостола Павла?

в) В виде Марии Магдалины?

г) Чье лицо изображено на иконе «Иоанн Креститель» в доме ксендза?

д) Чье лицо было изображено на иконе «Богоматерь» в доме ксендза?

7. Юродивый художник пан Аполек предложил рассказчику нарисовать его портрет в виде... В виде какого святого предложил художник нарисовать портрет «пана писаря» и почему?

8. «Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки». Кто и кому говорит эти слова?

9. «Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек, пострадавший по ученой части...» Кем, о ком и в какой ситуации сказаны эти слова?

10. «Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху...» Что попросил сделать раненый?

11. «И тогда я потоптал барина моего Никитинского... Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость...» Какой рассказ? Чьи слова?

12. Кто, чтобы уклониться от службы в Красной Армии, симулировал глухоту, а потом в результате проверки на самом деле оглох? Как называется рассказ?

13. «Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом... и поклонился ему в пояс... — Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл... При станичниках, дорогих братьях обещаю тебе, Степан...» К кому обращается Афонька Бида? Какой рассказ?

14. «Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов: «...Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевших захудалый вид...» Кто писал? Что? Почему? Какой рассказ?

15. «На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу... бывший цирковой атлет... — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Чей портрет? Какой рассказ?

16. «Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал

избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты». Чей портрет? Какой рассказ?

17. «Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел... в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами». Чей портрет? Какой рассказ?

18. «Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области». Чье это жизнеописание? По какому поводу? Какой рассказ?

19. «Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия... прошел к коновязи. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину...» Кто это? Какой рассказ?

20. «...виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг ... и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?» Кто и кому говорит эти слова? Какой рассказ?

21. В рассказе «Пан Аполек» главному герою юродивый художник сообщает о случае из жизни Христа, которого нет ни в одном евангелии. О каком случае идет речь?

22. В каких литературных жанрах работал И. Э. Бабель?

23. В каких произведениях И. Бабель впервые обратился к теме войны и показал ее губительные последствия для человека и общества?

24. Кто был прототипом Бени Крика из «Одесских рассказов» И. Бабеля?

25. О ком из известных писателей И. Э. Бабель выразился следующим образом: «Писать умеет, только писать ему нечего»?

26. «...У меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» По какому поводу говорил И. Бабель такие слова?

27. В своей автобиографии И. Бабель вспоминает, что в 1916 году М. Горький отправил его «в люди». Сколько лет он пробыл «в людях»? Какие профессии сменил?

28. «...когда в Одессе прогорела итальянская опера... Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал...» Кто приехал вместо Шаляпина? Какой рассказ?

29. Каков был репертуар сицилийского трагика ди Грассо на гастролях в Одессе? (рассказ «Ди Грассо»).

30. Какого великого художника герой рассказа «В подвале» сделал современником Спинозы?

31. Кого газета «Одесские новости» назвала «самым удивительным актером столетия»?

32. Как сделался Беня Король зятем человека, «у которого было шестьдесят дойных коров без одной»?

33. Что обещал Беня Крик, сватаясь к дочери Эйхбаума?

34. Что выносит на берег «пенистый прибой одесского моря»?

35. Какую музыку играл оркестр на свадьбе сестры Бени Крика?

36. Кого называет И. Бабель «аристократами Молдаванки», как они выглядят?

37. О ком из героев «Одесских рассказов» это сказано: «...Это грандиозный парень... тут вся Одесса пройдет перед вами... Это эпопея, второго нет...»?

38. В чем проявилась «волшебная сила искусства» в рассказе «Ди Грассо»?

39. Кто был истинным главой сорока тысяч одесских воров, по мнению одного из руководителей одесской Чека?

40. Где прошло детство И. Бабеля?

41. Почему мальчика в рассказе «Карл-Янкель» назвали Карл-Янкель?

42. По каким признакам корректор «Одесских новостей»

Ефим Никитич Смолич догадался, что герой рассказа «Пробуждение» — сочинитель?

43. Что вместо нот ставил во время скрипичных упражнений на пюпитр герой рассказа «Пробуждение»?

44. Какова была судьба скрипки, на которой родители заставляли упражняться юного героя рассказа «Пробуждение»?

45. В каком рассказе герой сравнивает себя с Достоевским на том основании, что оба писали свои сочинения ночью?

46. Кто из героев И. Бабеля в ответ на совет приобрести очки говорит: «Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник»?

47. О ком из писателей И. Бабель говорит, что фраза у него «свободная, текучая, с длинным дыханием страсти»?

48. В каком стиле была убрана гостиная в доме Бендерских? Чьи картины висели на стенах? (рассказ «Гюи де Мопассан»).

49. Какой рассказ Мопассана пересказан И. Бабелем в кульминационной сцене рассказа «Гюи де Мопассан»?

50. Кто из исторических деятелей жил в Париже на улице Данте?

51. Название этого рассказа И. Бабеля совпадает с названием цветка. Какой это рассказ?

52. О каких трусах и трусихах идет речь в рассказе «Сулак»?

53. Кто из героев «Одесских рассказов» перешел на страницы пьесы «Закат»?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

1. Сидоров в рассказе «Солнце Италии» изучает итальянский язык с целью поехать в Италию и начать там революцию с убийства короля Виктора Эммануила.

2. Псевдоним И. Э. Бабеля, герой некоторых рассказов «Конармии».

3. «Переход через Збруч», «Костел в Новограде», «Начальник конзапаса», «Пан Аполек», «Солнце Италии», «Мой первый гусь», «Путь в Броды», «Учение о тачанке», «Смерть Долгушова», «Комбриг два», «Сашка Христос», «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча», «Кладбище в Козине», «История одной лошади», «Афонька Бида», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», «Продолжение истории одной лошади», «После боя», «Сын рабби».

4. Писарь, корреспондент газеты «Красный кавалерист», красноармеец.

5. Пан Ромуальд, помощник ксендза.

6. а) В виде волхва — ксендз.
б) В виде апостола Павла — хромой выкрест Янек.
в) В виде Марии Магдалины — еврейская девушка Элька.
г) На иконе «Иоанн Креститель» — пана Ромуальда, помощника ксендза.
д) На иконе «Богоматерь» — пани Элизу, экономку ксендза.

7. В виде блаженного Франциска. Святой проповедовал равенство в нищете. Равенство в нищете видел художник как финал гражданской войны.

8. Савицкий, начдив шесть, говорит герою, от имени которого ведется повествование.

9. Это слова квартирьера, приведшего героя, от имени которого ведется рассказ, к хате, занятой казаками.

10. «Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов. — Вот документ, матери отпишешь, как и что...»

11. Рассказ «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча». Начдива шесть Павличенко.

12. Дьяк Агеев. Рассказ «Иваны».

13. Под Афонькой убили коня Степана. Рассказ «Афонька Бида».

14. Писал командир первого эскадрона Хлебников. Заявление о выходе из компартии. Потому что партия не может вернуть

ему белого жеребца, которого забрал начдив Савицкий. Рассказ «История одной лошади».

15. Дьякова. Рассказ «Начальник конзапаса».

16. Савицкого, начдива шесть. Рассказ «Мой первый гусь».

17. Герой, от имени которого ведется повествование. Рассказ «Вечер».

18. Жизнеописание Никиты Балмашева. Он пишет объяснительную записку следователю. Раненые Балмашев и двое его товарищей пытались силой получить свое оружие и обмундирование из кладовки госпиталя. Рассказ «Измена».

19. Пашка Тихомолов. Рассказ «Аргамак».

20. Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала говорит герою, от лица которого ведется повествование. Рассказ «После боя».

21. Пан Аполек рассказывает пану писарю, что Христос был женат и имел ребенка. Но этот факт якобы скрыли попы.

22. В жанре публицистики, новеллы, драматургии, кинодраматургии.

23. Цикл рассказов «На поле чести» («Дезертир», «На поле чести», «Семейство папаши Мареско», «Квакер»).

24. Мишка Япончик, знаменитый одесский налетчик.

25. О В. Набокове (по воспоминаниям И. Эренбурга).

26. По воспоминаниям И. Эренбурга, И. Бабель любил поэзию, дружил с поэтами, а литературной среды не выносил: «Когда мне нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой».

27. Семь лет (с 1917 по 1924 г.) солдат, служба в ЧК, в Наркомпросе, в продотрядах, воевал против Юденича, в Первой Конной армии, работал в одесском губкоме, в типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и Тифлисе и т. д.

28. Сицилианский трагик ди Грассо с труппой (Рассказ «Ди Грассо»).

29. «Король Лир», «Отелло» В. Шекспира, «Нахлебник» И. Тургенева, сицилианская народная драма.

30. Рубенса.

31. Трагика ди Грассо.

32. «Тут все дело в налете». В результате налета владелец коров Эйхбаум согласился заплатить требуемую сумму, за что получил удостоверение с печатью о неприкосновенности. В ночь налета Беня увидел дочь старика Эйхбаума — Цилю. «И победа Короля стала его поражением».

33. Обещал похоронить на первом еврейском кладбище у самых ворот и поставить памятник из розового мрамора, бросить специальность налетчика и стать компаньоном Эйхбаума. «Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции».

34. «Нездешнее вино: пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима» — т. е. «все благороднейшее из нашей контрабанды».

35. «Оркестр играл туш... Туш — ничего кроме туша».

36. Налетчиков, друзей Бени Крика, «они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури».

37. Фроим Грач в одноименном рассказе.

38. После просмотра народной сицилианской драмы растроганная жена Коли Шварца потребовала от мужа вернуть главному герою золотые часы. («Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы».)

39. Фроим Грач.

40. В Одессе.

41. Карлом в честь Карла Маркса, как хотел отец. Яшей, по решению бабушки.

42. «Я так и знал, что ты пописываешь, у тебя взгляд такой...»

43. Книги Тургенева или Дюма.

44. «...скрипка моя опустилась на песок у волнореза».

45. «Вдохновение».

46. А. Ф. Керенский. «Линия и цвет».

47. О Мопассане в рассказе «Гюи де Мопассан».

48. В древнеславянском стиле. Картины Рериха.

49. «Признание».

50. Дантон.

51. «Иван-да-Марья».

52. На Украине так называют кроликов.

53. Мендель Крик и его дети Беня, Левка, Двойра.

ГОТОВЯСЬ К УРОКУ

Н. Тралкова

УРОК ПО РАССКАЗУ И. БАБЕЛЯ «ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ»

Рассказ начинается двумя предложениями, выделенными в абзац и являющимися экспозицией к последующему изложению. Ими задается ритм — жесткий, динамичный, — создается ощущение неизбежности развития действия: «Штаб выступил из Крапивино...» Абзац предельно насыщен фактами: донесение о взятии города, перемещение штаба и обоза по шоссе, «построенному... Николаем Первым». Здесь же заданы пространственные границы: Новоград-Волынск — как этап на пути от Бреста до Варшавы — и временные: рассвет (потом день — ночь). Этот же абзац вводит в текст и мотив смерти — «на мужицких костях», — который будет ведущим в рассказе. Формы глаголов прошедшего времени — «донес», «выступил», «растянулся» — фиксируют грань перехода «настоящего» в «прошлое». Весь последующий текст (кроме последнего абзаца) «монтируют» глаголы настоящего времени, как бы задерживая читателя на этой грани: настоящее — прошлое; есть — нет; жизнь — смерть. Упоминание имени императора Николая Первого активизирует в памяти читателя образ человека, виновного во многих человеческих жертвах, жестокого, «кровавого», а также вносит в рассказ ретроспективу, позволяющую раздвинуть временные рамки повествования и, в ракурсе прочтения всего романа, соотнести эпохи.

Бабель создал эпическое полотно, используя фрагментарную композицию художественного текста: каждый рассказ закончен и уникален, все вместе они связаны образом главного героя.

«Начдив шесть» — только номер оставила война человеку — символ обезличенности мира. С первых строк в рассказ врывается война.

Ритм повествования замедляется во втором абзаце. Гармония в природе, казалось, ничем не нарушаема. Мир цветной и тихий: пурпурный мак, девственная гречиха, желтеющая рожь, тихая Волынь, жемчужный туман, цветистые пригорки. Глаз пооче-

редно останавливается на пространственных деталях, радуясь и отдыхая. Но следующее предложение заставляет вздрагивать: «Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами». Остановившееся было время вновь устремляется вперед, что подчеркивается глаголом движения «катится». Мотив смерти, зазвучавший в первом абзаце, предстает в зримом образе «отрубленной головы», соотносимом со словосочетанием «нашими головами» в пределах одной фразы. «Нежный свет» затмевается «штандартами заката» и остается лишь зрительным воспоминанием. Гармоничный пейзаж контрастирует с описанием переходящего Збруч войска. Появление человека вносит хаос в природу, ведущий в конечном счете к смерти.

«Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу». Это прощание с гармонией не нарушаемой ничем жизни.

Стремительно наступает ночь: почерневший Збруч, лунные змеи, черные квадраты телег, зияющие ямы. Динамику развития действия, суету движения подчеркивают короткие простые и бессоюзные сложные предложения. Молчаливая природа стонет, шумит, гудит, свистит, гремит от соприкосновения с теми, кому не до красоты, не до отдыха. «Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд... Кто-то тонет и звонко порочит богородицу».

Войско — «мы». По сути, весь эпизод — попытка отделить «я» от «мы». Страшно, жестоко, аморфно и неумолимо это «мы».

Третий абзац открывает «я» рассказчика — здесь он появляется впервые как отдельное лицо.

Пространство сужается: Новоград — дом евреев, комната. Мотив смерти (и антитеза ему — жизни) поддерживается образом беременной женщины (дающей жизнь новому человеку) — с одной стороны, и описанием результатов погрома — с другой. Экстремальность ситуации выражена в предложении, где перечисляются «детали» разгрома: на полу «человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на Пасху». Война перемешала низости и ценности, война поставила под сомнение ценность самой человеческой жизни. Возникает антитеза «человек — вещь»: человек уподоблен вещи (евреи), человек хуже вещи. Показательно повторенное три раза местоимение «я» и возникающая антитеза «я — вы» («Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева...»). Мучительный процесс самоосознавания только начался — и тогда, когда времени на длительную работу мозга нет. «Пугливая нищета смыкается над моим ложем» — слово «нищета» воспринимается в прямом и в переносном значении: нищета духа. Последующее изложение усиливает мотив смерти до ее персонификации в образе мертвого старика.

«Все убито тишиной...» Луна в контексте — символ безумия. Безумен и сон главного героя — и знаменателен в то же время.

Зависимость человека от другого, от приказа прихоти обстоятельств и самосуд, который «покрывает» война, — нравственные проблемы, обнажающие суть отношений «человек — человек». Какова цена жизни? Кто ответит за содеянное? Во сне «начдив шесть» обретает страшное лицо — Савицкий — он назван, он реальность. Страшный сон: пробита голова, пули «всажены» в глаза, «оба глаза... падают наземь». Савицкий — бес смерти. Он неожидан, неуправляем, мгновенен. Его неистовство (человека, доведенного до бешенства) приводит к безвинным жертвам. Мертвый старик — персонифицированная смерть — близкая, каждодневная, неизбежная. Она в доме, она рядом, она — везде. Бабель показывает лицо старика крупным планом.

Последний абзац — монолог беременной женщины — крик души человека живущего, пока живущего. Бабель утверждает уникальность, единичность и неповторимость человеческой жизни. Горечь утраты отца, ужас от зрительного образа — упрек людям в насилии, обезличивании, очерствлении. Антитеза «жизнь — смерть» поддерживается образами «отец — дочь», «беременная женщина — мертвый старик».

С точки зрения композиции, интересно отметить разработку диалога. Выраженный формально в репликах, он не становится собственно диалогом, разговором. Реплики главного героя, Савицкого, беременной женщины как бы тонут в пустоте. Прием может быть расценен как попытка передать разорванность отношений между людьми на войне. Последний абзац (монолог) отличается тем, что обращен не столько к главному герою, сколько к читателю. Открытость обращения формально выражена многоточием в конце. Показательно и то, что только в последнем предложении употреблен глагол в форме будущего времени (единственный раз).

Логика развития образа рассказчика:

«Мы» — «Я»? — Я.

Кинематографический принцип лежит в основе композиции, построенной на антитезах: природа — человек, вещь — человек, человек — человек, жизнь — смерть.

Помимо образа главного героя, все главы романа Бабеля «Конармия» связывает традиционный в русской литературе образ дороги — символ движения, пути, выбора, поисков.

Название рассказа «Переход через Збруч» симптоматично: символизирует некий «переход» лирического героя из одного состояния в иное, грань «жизнь — смерть». Рассказ, будучи законченным художественным произведением, выступает экспозицией по отношению к тексту всего сборника.

Вопросы к уроку

1. Два мира (сакральный и земной) в рассказе Бабеля.
2. Мотив дома и бездомья.
3. Антитеза как принцип композиции.
4. Сон — явь — бред.
5. «Переход» как проблема выбора героем поступка.
6. Цвет как художественный прием в рассказе.
7. Составить киносценарий (вариативность финала).
8. «Я» и «Мы».
9. Ритмическая организация художественного текста.
10. Особенности диалога в рассказе.

Ф. М. Штейнбук

ЦЕНА БРАТОУБИЙСТВА

Размышления словесника над страницами «Конармии» И. Э. Бабеля

В новых программах по литературе при изучении темы «Советская литература в 20—30-е гг.» рекомендуется рассматривать разные идейно-художественные позиции советских писателей в освещении революции и гражданской войны («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Чевенгур» А. Платонова). На страницах журнала периодически печатаются материалы о творчестве Фадеева и Платонова, об их отношении к этой противоречивой эпохе. Ниже публикуем статью, знакомящую читателей со взглядами И. Э. Бабеля, отразившимися в его «Конармии».

Введение «Конармии» И. Э. Бабеля в программу общеобразовательных школ — дело безусловно важное и нужное и в отношении ее художественных достоинств, и с точки зрения изображения значительных исторических событий, преломленных в человеческих судьбах. Знакомство с этим произведением дает возможность не только оценить коллизии революционной войны и преодолеть представление о ней как о победно-романтическом триумфальном шествии советской власти, но и заставляет задуматься над многими проблемами, сохранившими свою актуальность по сегодняшний день. Кроме того, изучение творчества Бабеля — это еще и элемент в процессе литературной реабилитации писателя, подзадержавшейся по сравнению с его политической и правовой реабилитацией.

Трагическая судьба И. Э. Бабеля, расстрелянного 27 января 1940 г. в Москве, была предопределена: автор «Конармии» пережить террор 30-х годов не мог. Поэтому, читая и перечитывая книги этого писателя, мы должны помнить, что они были оплачены по самому высокому счету — кровью.

Перелистывая страницы его интереснейшей биографии, невольно задаешься вопросом: мог ли Исаак Эммануилович предположить, что после «десяти дней, которые потрясли мир», на его долю выпадут многочисленные испытания, взлеты и падения, которые закончатся пулей в застенке того государства, за создание которого он боролся?

Необычный жизненный путь Бабеля свидетельствует о том, что это была личность неординарная, находившаяся в постоянном движении и поиске. Позволим себе привести здесь лишь краткий перечень того, где и в качестве кого он побывал всего за 8 лет (с 1917 по 1925 г.): солдат на румынском фронте, чекист, служащий Наркомпроса; участник продовольственных экспедиций 1918 г., борьбы с Юденичем в составе Северной армии, войны с белополяками в составе Первой Конной; выпускающий в 7-й советской типографии в Одессе, репортер в Петрограде и Тифлисе...

Какие же черты личности Бабеля и события, связанные с его биографией, нашли отражение в его творчестве? Во-первых, все то, о чем он пишет, представляет собой абсолютно реальные, непридуманные факты, и лучшим примером тому служит «Конармия». Во-вторых, по свидетельству людей, хорошо знавших Бабеля, его отличало удивительное, почти детское, а потому искреннее и ненавязчивое любопытство, которое к тому же имело совершенно определенную направленность. Писателя интересовало все, «что превышает норму, что принято называть гиперболичным; жизнь у ее истоков, не укрощенная, не приукрашенная; первобытность необузданных чувств, первозданность страстей» (И. Бабель в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 83). В-третьих, постоянное стремление Бабеля к совершенству: «необузданность чувств и первозданность страстей» он заковывал в железную, отточенную, минимально краткую и максимально выразительную словесную и композиционную форму. Например, рассказ «Любка Казак» переписывался двадцать два раза. Сам Бабель как-то в беседе с молодежью заметил, что его жизнь можно было бы назвать «историей одного причастия».

Итак, откроем «Конармию». По нашему мнению, это типичный для литературы 20-х и 30-х гг. роман в новеллах. И коль скоро перед нами роман, мы не можем ограничиться анализом отдельных рассказов и персонажей. Следует прежде всего обратиться к главному герою — кандидату прав Петербургского университета, прикомандированному к штабу одной из дивизий Первой Конной, Кириллу Васильевичу Лютову, который в сюжетной структуре произведения занимает место литературного рассказчика.

Нашего героя мы впервые встречаем во время наступления армии, при переходе через реку Збруч. Позади остается вся предшествующая жизнь, впереди ждет жизнь неизведанная. Об этой-то новой жизни Лютова его собственными устами и рассказыва-

ется в «Конармии», а момент перехода через Збруч является своеобразной композиционной завязкой.

В основе сюжетного конфликта лежат попытки Лютова стать равноправным бойцом Конармии, превратиться в истого красного кавалериста, который не выделялся бы в общей массе конников своей неуклюжестью, даже какой-то чуждостью остальным. Отсюда мытарства героя. Да и как же могло быть иначе, если широко образованный, интеллигентный человек, во многом идеалист и романтик, попадает — совершенно сознательно, надо заметить, — во-первых, в круг людей малообразованных, невежественных, попросту одичавших от многолетней бойни, а во-вторых, в боевую обстановку, которая закономерно поставила его перед выбором: либо уйти, либо слиться с остальными. Его «интеллигентским глазам... часто бывало больно смотреть, не мигая, в раскаленную топку, где в пламени ворочались побежденные... победитель душил побежденного, и целые пласты старой... культуры превращались в пепел: (Рейснер Л. Избранное. М., 1965, с. 507).

В конечном счете подвижничество Лютова увенчалось успехом, хотя в определенный момент он уже было отчаялся: «...Я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...» («Вечер»). Этот эпизод следует рассматривать как кульминацию романа, так как после этого взрыва отчаяния дела героя медленно, но верно продвигаются к положительному завершению: он завоевывает значительный авторитет среди конармейцев, о чем можно судить и по тому, как они называют его — «Лютыч», — и по тому, что обращаются к нему, как к третейскому судье, в случае каких-либо затруднений («Чесники»). Более того, когда Лютов находит в себе мужество и силы в накаленной боевой обстановке противиться расстрелу пленных, он добивается своего. Это — развязка: герой преодолел, конечно до известного предела, пропасть, отделявшую его от бойцов Первой Конной.

И здесь принципиально важно понять, что судьба героя — это не частный случай, касающийся отдельно взятого представителя интеллигенции, но колоссальное по силе обобщение, пожалуй, важнейшей в произведении проблемы интеллигенции и революции.

Надо заметить, что Бабель, если бы речь шла лишь о композиционной необходимости этого образа, мог бы и вовсе обойтись без него, доказательством чему служит, например, отсутствие до рассказа «Мой первый гусь» идентификации рассказчика как Кирилла Васильевича Лютова. Вполне вероятно, что у писателя до какого-то момента и не возникала мысль о таком герое, но логика идейно-художественного осмысления материала, который был положен в основу «Конармии», закономерно привела его к необходимости обращения к характеру интеллигента, выполняющего функции не только объединяющего фабулу и сюжет

центра, но и в известной степени противовеса многим героям, которыми заполнены страницы произведения.

И еще одна мысль в подтверждение сказанного: представим себе на минуту, что Лютова в книге нет; тогда перед нами будет не что иное, как разрозненные картинки калейдоскопа событий гражданской войны. В этом случае «Конармии» — в том виде, в котором она существует как факт литературы, — не получилось бы.

Поскольку главная проблема нами обозначена, то возникает вопрос: только ли дикие нравы, царившие в действующих войсках, превращали жизнь Лютова в цепь ужасающих страданий? Можно ли обвинить героя в «мягкотелости» и «чистоплюйстве», не вписывающихся в атмосферу, пропитанную жестокостью и насилием?

Да, такие мысли могут прийти в голову (и приходили в свое время). Обвинения в «клевете» и «бабьих сплетнях» брошены Бабелю С. М. Буденным в статье «Бабизм Бабеля из «Красной нови» (октябрь, 1924, № 3). Хотя в одной из публикаций журнала «Огонек» (1989, № 3) — в статье Юрия Геллера «Сталинский нарком» — ситуация в Конармии представлена на основе документов вообще вопиющая, о чем свидетельствует, например, тот факт, что «в сентябре 1920 г. ...целую дивизию Конармии за бандитизм осудил трибунал! Зачинщиков расстреляли. Дивизию условно расформировали, конармейцам предложили смыть вину кровью».

Но Бабель создает свой художественный мир, и поэтому, если относиться к его произведению непредвзято, то нельзя не заметить, что описание ужасов войны не самоцель. Отношение кандидата прав к происходящему, попытка примирить в сознании отвращение к насилию и представление о его неизбежности, о том, что «Интернационал... кушают с порохом и приправляют лучшей кровью...», — вот то противоречие, которое является основополагающим для коллизии романа.

При этом следует обратить внимание на такой факт: книга, казалось бы, о войне, но батальные сцены в ней практически отсутствуют, точнее, обозначены лишь на уровне констатации: «Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель...» («Комбриг два»); «мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась повсюду» («Афонька Бида»); «И по знаку комдива мы пошли в атаку, в незабываемую атаку при Чесниках» («Чесники»). Там же, где в книге все-таки стреляют, это связано лишь с конкретными образами («Эскадронный Трунов», «Конкин»), а детального описания боевых действий мы здесь не найдем. И объяснение этому может быть только одно: «Конармия» — не хроника, это роман о человеческой душе, мятущейся, ищущей истины в несправедливом, истекающем кровью мире.

Таким образом, становится понятным противоречивое отношение к этой книге. Причина его кроется в том, что главный

герой, прекрасно понимая, какие неправедные и страшные дела творятся вокруг, тем не менее стремится к тому, чтобы «казаки перестали провожать глазами» его и его лошадь, и страстно желает «вымолить у судьбы простейшее из умений — умение убить человека». А раз так, то и отношение, тон, которым описываются казаки, позволили Горькому в свое время заявить, что Бабель «украсил» конармейцев «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев» в «Тарасе Бульбе». Только вот «правдивости», несмотря ни на что, Бабелю все-таки не простили.

Мы намеренно уходим от детального рассмотрения образов конармейцев, обозначая лишь общие моменты, их касающиеся. Это объясняется тем, что хотя они, несомненно, заслуживают внимания, но анализ их характеров не представляет особой сложности.

Ну в самом деле, так ли уж непостижимы образы Прищепы, Кудри или Левки, чтобы учитель не мог самостоятельно решить вопрос о том, кто есть кто?! Другое дело, что проблематика книги, связанная, помимо Лютова, и с ними, может вызывать определенные затруднения. Поэтому следует остановиться подробнее на взаимодействии пафоса и геройного мира романа.

Одна из самых важных проблем, нашедших решение в «Конармии», — проблема человека на войне. В этой связи уместно и интересно будет обратиться к истории создания романа. Дело в том, что первым опытом Бабеля по изображению войны и связанных с нею последствий и для людей, и для всего общества в целом является не «Конармия», а цикл рассказов «На поле чести».

Этот цикл, опубликованный в июне 1920 г. в первом номере одесского журнала «Лава», состоит из четырех рассказов, посвященных событиям первой мировой войны. Автор предуведомляет, что источником этих «заметок о войне послужили книги, написанные французскими солдатами и офицерами, участниками боев на германском фронте, в частности, книга Гастона Видаля «Figures et anecdotes de la grande guerre»[1]. Книга Видаля вышла в Париже в 1918 г. В ней 35 рассказов-очерков. Бабель использовал из них 11-й и 15-й. Первый лег в основу бабелевских рассказов «На поле чести» и «Дезертир», второй дал сюжет «Семейству папаши Мареско».

В рассказах Бабеля дана иная, чем в первоисточнике, интерпретация фактов, заимствованных у Видаля, а именно: Бабель лишает описываемые события героического ореола, обнажает ужасающий лик войны. Сочувствие автора целиком на стороне жертв — патетический тон рассказов Видаля уступил манере бесстрастной или язвительно-иронической.

Четвертый рассказ — «Квакер» — не имеет отношения к со-

---

[1] «Персонажи и анекдоты великой войны» *(фр.)*.

чинению француза. Содержание его усиливает гуманистический пафос цикла. Квакер Стон погиб, добывая овес для лошади, и его смерть не более нелепа, чем миллионы других смертей. Таким образом, Бабель страстно осуждает империалистическую бойню, выступает в защиту «маленького человека».

Для автора-гуманиста вышеизложенная позиция является совершенно естественной. И как тут не вспомнить Барбюса и его «Огонь», «На Западном фронте без перемен» Ремарка; наконец, Хемингуэя с его «Прощай, оружие!», т. е. все те произведения, в которых последовательно и однозначно реализуется в художественных образах отношение нетерпимости к войне.

Но вот ведь что получается: как только речь заходит о войнах революционных, а следовательно, справедливых, то акценты тут же смещаются, и уже герой, сражающийся в справедливом, по мнению автора, стане, наделяется всеми мыслимыми добродетелями. Он неподвластен развращающему влиянию войны, а сама война со стороны окопов, в которых находится главное действующее лицо, выглядит делом безусловно благородным.

В этом отношении весьма показательны образ Роберта Джордана из романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», «Как закалялась сталь» Островского, фурмановского «Чапаева». Если же тот или иной герой все-таки наделяется какими-то негативными качествами (таков, например, Морозка у Фадеева), то его мужество, беззаветная преданность борьбе за правое дело и очевидная симпатия автора, компенсируя любые нравственные недостатки, предопределяют результат читательского восприятия.

Таковы, вне всякого сомнения, и герои Бабеля, будь то Конкин, Иван Акинфиев, Колесников, Афонька Бида, Никита Балмашев «со товарищи» и даже «дама всех эскадронов — Сашка». Ведь что с того, что Иван Акинфиев — изощренный садист, коль для него «власть совецкая — кровиночка горькая» и он готов убить Лютова за то, что последний ходил в атаку, не стреляя по противнику?

Что с того, что Сашка мародерствует, жульничает по мелочам и «хлопочет под всем эскадроном», если «пить чай» с теми, кто побежал в бою, она категорически отказывается?

Мы далеки от мысли, что все эти люди заслуживают осуждения, потому что не их вина в том, что они такие, какие есть: ведь культура и нравственность не даются с рождением, они вырабатываются в течение всей жизни, а какая жизнь была у этих конармейцев, прекрасно видно из той же книги Бабеля. Но мы решительно против того, чтобы одни и те же явления определять в зависимости от идеологического принципа «свои — чужие».

По этому поводу возникает еще один вопрос: так что же такое гуманизм — абсолютный императив или двуликий Янус? Согласиться с этим «или — или» и остаться объективным нельзя. Но, может быть, объективность здесь неуместна? Во всяком случае,

поведение Лютова не оставляет сомнений в том, что принципиальность в данном вопросе немыслима.

Если в жизни дело обстоит таким образом, что, попадая в подобную ситуацию, даже человек культурный не способен в полной мере устоять на принципах гуманизма (с одной стороны, Лютов протестует против убийства пленных и оскорбления религиозных чувств католиков, а с другой — поджигает кучу соломы на полу дома для того, чтобы вынудить хозяйку покормить его), значит, война одинаково гибельна в нравственном отношении для обеих воюющих сторон.

И еще о гуманизме. При анализе романа А. Фадеева «Разгром» особое внимание обращалось на два эпизода: смерть тяжелораненого Фролова и конфискация свиньи у бедного корейца, обрекавшегося тем самым на голодную смерть. Комментарий к этим событиям был однозначен: они оправданы высшей целью, за которую борется отряд Левинсона, а переживания по этому поводу Мечика признавались лицемерными и порочными.

Бабель в «Конармии» создает несколько похожих ситуаций. Остановимся на самой, пожалуй, выразительной из них.

Телефонисту Долгушову вырвало снарядом живот, «кишки ползли на колени, удары сердца были видны». Долгушов, оставаясь в сознании, просит Лютова «стратить» на него патрон, потому что «наскочит шляхта — насмешку сделает», но Лютов отказывается выполнить просьбу обреченного. На то время случился поблизости Афонька Бида — он и добивает умирающего Долгушова, а затем едва не убивает Лютова за то, что «очкастый» «пожалел» несчастного.

Как же оценить все эти действия персонажей? Ведь здесь высшую цель и за уши не притянешь, перед нами, если так можно выразиться, тест на гуманизм в чистом виде.

Не добить Долгушова нельзя, но тем не менее Лютов этого сделать не может, это делает Бида. Кто же из них поступил гуманно? Что ж, ответить на этот вопрос можно только следующим образом, вопрошать об этом кощунственно, потому что даже намека на гуманизм здесь нет. Лютов и Афонька поступают бесчеловечно и иначе поступить не могут. Ситуация изначально антигуманна, а, следовательно, ее разрешение гуманным путем не представляется возможным.

Название дневников Бабеля — «Ненавижу войну» — свидетельствует само за себя. Так почему же писатель не провел последовательно эту мысль в своем художественном произведении?

Все дело в том, что война и те, кто принимает в ней участие, даны через призму восприятия Лютова, а его взгляд субъективен, что вполне естественно. Более того, такое отражение событий представляет собой единственно возможную интерпретацию трагической правды войны: совершенно невероятно, чтобы человек, сражаясь в чьем бы то ни было стане, сумел сохранить индифферентный взгляд на вещи. Но это как раз и является еще

более усугубляющим свидетельством дикой противоестественности войны. Иными словами, Бебель как личность, как писатель, как гуманист напрочь отвергает войну, но, не желая поступаться правдой, преподносит картину событий в том виде, в котором ее воспринимает непосредственный участник описываемого. Однако сознание этого участника перемалывается в жестоких и кровавых жерновах бойни, и это совершающееся насилие над личностью еще сильнее утверждает в сознании читателей авторский идеал: «Нет — войне!»

Человек и война — понятия взаимоисключающие, как жизнь и смерть. Но смерть отменить нельзя. А войну? Так ли уж она неизбежна? Книга Бабеля с огромной художественной силой утверждает пацифизм как необходимый элемент общечеловеческого мышления, ибо за братоубийственные войны человечество платит слишком высокую цену, уничтожая на полях сражений веками выращиваемые семена гуманистической нравственности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Б а б е л ь И. Э. Статьи и материалы. Под ред. Б. К. Казанского и Ю. Н. Тынянова. Л., 1928.

Б е л а я Г. Трагедия Исаака Бабеля. — Б а б е л ь И. Сочинения в 2 т., т. 1. М., 1991.

В е л и к а я Н. И. Своеобразие видения жизни в «Конармии» И. Бабеля. — Ученые записки (Дальневосточный университет), т. 22, 1968.

Воспоминания о Бабеле. Сост. А. Н. Пирожкова и Н. Н. Юргенева. М., 1989.

Г о р б а ч е в Г. О творчестве Бабеля и по поводу него. — Звезда, 1925, № 4.

Е с а у л о в И. А. Рассказ И. Бабеля «Пан Аполек» как эстетическое целое. — Эстетический дискурс: Межвузовский сб. научн. тр. — Новосибирск, 1991, с. 135—144.

Ж о л к о в с к и й А. К., А м п о л ь с к и й М. Б. Бабель / Babel. М., 1994.

И в а н о в а Т а м а р а. Глава из жизни. Воспоминания. Письма И. Бабеля. — Октябрь, 1992, № 5—7.

К а ц и с Л. Герой Бабеля и эволюция еврейского мира: К типологии творчества писателя. — Литературное обозрение, 1995, № 1.

К о г а н Э. Работа над «Конармией» в свете полной версии «Планов и набросков». — Литературное обозрение, 1995, № 1.

К р а с н о щ е к о в а Е. «Самые интенсивные пять минут». — Литературная учеба, 1980, № 5.

Л е в и н Ф. М. И. Бабель. Очерк творчества. М., 1972.

Л е й д е р м а н Н. «И я хочу интернационала добрых людей». — Литературное обозрение, 1991, № 10.

Л и в ш и ц Л. От «Одесских рассказов» к «Закату». — Памир, 1974, № 6.

Л и в ш и ц Л. Материалы к творческой биографии И. Бабеля (Из опыта советской литературы). — Вопросы литературы, 1964, № 4.

М а р к и ш Ш. Бабель и они (глазами отщепенца). — Знамя, 1994, № 7.

М а ц к и н А. Как можно сыграть Бабеля. — Театр, 1988, № 4.

М а р к и н А. С. С. Буденный и И. Бабель: к истории полемики (Об оценке литературной критикой первых публикаций писателя). — Научные доклады высшей школы. Филол. науки. 1990, № 4, с. 97—102.

О д е с с к и й М., Ф е л ь д м а н Д. Бабель и хасидизм. — Литературное обозрение, 1995, № 1.

П о в а р ц о в С. История создания, проблематика и сценическая судьба драмы И. Бабеля «Закат». Проблемы русской литературы. Омск, 1974.

П о в а р ц о в С. Мир, видимый через человека (Материалы к творческой биографии И. Бабеля). — Вопросы литературы, 1974, № 4.

П о в а р ц о в С. Хроника литературной реабилитации. — Вопросы литературы, 1991, № 6.

С м и р и н И. И. Бабель в работе над книгой о коллективизации. — Филологический сборник, вып. VI—VII. Алма-Ата, 1967.

С м и р и н И. «Одесские рассказы» И. Э. Бабеля. Труды кафедры русской и зарубежной литературы (Казахский ун-т), вып. 3, 1961, с. 42—62.

С м и р и н И. (совм. с Синявским А.) На пути к «Конармии»: Литературные искания Бабеля. — Литературное наследство, т. 74. М., 1965.

Ф р е й д и н Г. Революция как эстетический феномен. — Новое литературное обозрение, 1993, № 4.

Ш е н т а л и н с к и й В. «Прошу меня выслушать...». Последние дни Бабеля. — Знамя, 1994, № 7.

Э в и н с К. Кровное и скрытое: «Конармия» и конармейский дневник Бабеля. — Литературное обозрение, 1995, № 1.

Э й д и н о в В. О стиле Исаака Бабеля. — Литературное обозрение, 1995, № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ 1925—1938 гг.

Серия «Школа классики» — ученику и учителю

Исаак Эммануилович Бабель

ИЗБРАННОЕ

Редактор *А. С. Гурова*
Художественный редактор *И. В. Белов*
Технический редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *И. В. Андрианова*

Сдано в набор 10.03.96. Подписано в печать 14.06.96.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Школьная».
Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 36,0.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 7380.

«Олимп». 105318, Москва, а/я 103
Изд. лиц. ЛР № 07190 от 16.10.91

Издательство АСТ. 129085, Москва, Звездный б-р, 21
Изд. лиц. ЛР № 01372 от 16.04.96

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.


И. БАБЕЛЬ